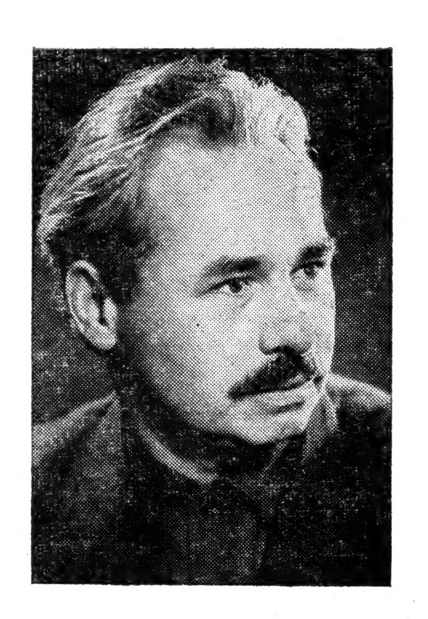


ВИКТОР БАНЫКИН • ШАГАЮЩИЕ ДЕРЕВЬЯ

Саша.

Поздравляем тебя с
окончанием 3-го класса!
Желаем успехов в учебе
и пионерских делах!

28/V-1971г. Родительский
комитет класса.





Виктор Баныкин • ШАГАЮЩИЕ ДЕРЕВЬЯ

РАССКАЗЫ · ПОВЕСТЬ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МОСКВА 1971

В новый сборник Виктора Баныкина, автора многих книг, входят повесть и рассказы, написанные за последние годы.

В первом разделе, «Колючее объятие», объединены рассказы о человеке, о неповторимой красоте русской природы. В рассказах много познавательного, они полны тонкого лиризма, доброго внимания к людям, к их чувствам, мыслям и мечтам.

Знакомясь со вторым разделом, «Озорная звездочка», читатель как бы побывает вместе с автором в Западной Африке, Франции, Италии, Турции, познакомится с нравами, бытом наших близких и далеких соседей.

В повести «Откровения Зои Ивановой» В. Баныкин создает обаятельный образ нашей современницы.

Художник Г. З. Перкель

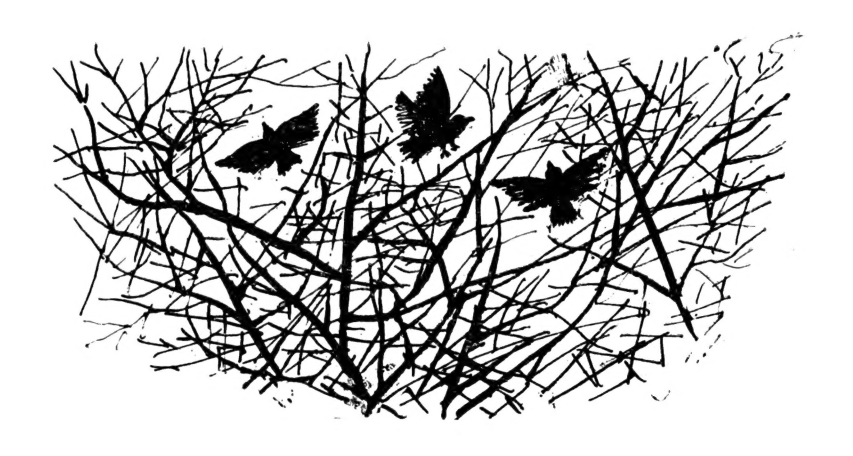


КОЛЮЧЕЕ ОБЪЯТИЕ • РАССКАЗЫ

Люблю я русский пейзаж, на его фоне как-то лучше, ясне чувствуешь и смысл русской жизни, и русскую душу.

М. В. Нестеров





СЛЕДЫ НЕВИДАННЫХ ПТИЦ

Вчера весь день в голубой, потеплевшей выси плавилось ясное мартовское солнце. И с пудовой сосулищи, свисавшей с крыши над моим окном, вкось летели и летели обжигающе-огнистые искры.

А ночью завернул мороз, посорил снежком. Вышел утром в сквер погулять перед работой, а под ногами тоненько так ледок похрустывает. Березки же, клены и рябины стояли неузнаваемые.

Шагал не спеша по тропе, глядел влево, глядел вправо, и всюду одно и то же: со всех сторон меня окружали хрустальные деревья. И денек начался серый, как бы продымленный, а ветки на рябинках и березках так и горели, так и горели радужными огоньками. Стоило же дунуть ветерку, и по роще проносился тихий малиновый звон.

«Ну, ну! — подивился я, останавливаясь.— Вот тебе и наяву сказочный хрустальный лес».

Тут меня кто-то дернул за рукав. Оглянулся, а это соседский Петька. Он всегда по дороге в школу делает крюк, чтобы пробежать сквером.

— Дядя Витя,— вполголоса зачастил Петька,— послушайте... И вправду, как серебряные колокольцы звенят!

Кивнул я Петьке. Подумал: «Славный растет человек этот соседский Петька! Всего лишь во второй класс ходит, а природу... не всякий взрослый понимает ее так, как он».

Нагнулся, застегнул Петькино пальтишко на верхнюю пуговицу и негромко так присвистнул. Вся круглая Петькина рожица расцвела в просяных веснушках.

«Теперь уж не миновать весне,— сказал я себе, не зная чему радуясь.— Раз у Петюшки появились веснушки, значит, конец скоро снегу!»

А Петька в это время вздохнул, поморгал длинными, точно щеточки, ресницами.

— Ладно уж, пойду я,— сказал он.— А то на первый урок опоздаю.

Через полчаса и я вернулся домой. В полдень ко мне в комнату нежданно-негаданно ворвался Петька.

— Извините, пожалуйста,— сказал он взволнованно и серьезно. И покашлял в кулак. Точно так же делал его отец — шофер автобазы, когда начинал волноваться.

— Выкладывай, что у тебя там за пожар? — спросил я Петьку.

— Из школы, дядя Витя, а тоже через сквер... Прохожу из школы через сквер и что, думаете, вижу? А вижу я следы. Много-много разных следов на снегу. Я таких никогда в жизни еще не видел!

Петька снова кашлянул в лиловато-пунцовый кулак. Добавил:

— Может, вы сходите на минуточку со мной в сквер? А, дядя Витя? А вдруг к нам прилетели... из дальних-дальних стран... птицы? Никогда нами не виданные птицы?

Бросил я на стол ручку, рассмеялся.

— Пойдем,— сказал.— И верно: а вдруг прилетели?

Пришли с Петькой в сквер. Глянул я на деревья, а они плачут. Осевший наст, ночью припорошенный свежим снежком, весь-то весь в дырках. И не только он дырявый, но и заслеженный. Будто по снегу прошлась не одна птичья стая.

— Ведь я правду говорил, дядя Витя? — все тем же взволнованным голосом спросил меня Петька.— Глядите, сколько разных следов!

Вот четкие крестики — ровно голуби топтались под березками-сестрицами. Вот еле приметные царапины... синицы или воробьи здесь сидели? А вот... какая же крупная птица в этом месте разгуливала? Пока я так гадал, с наклоненной веточки отвалилась ее ледяная оболочка. Отвалилась и упала в снег прямо перед Петькиным носом,

острым как у Буратино. И тотчас на зазернившемся снегу появился отпечаток птичьей лапки.

Покосился тут я на Петьку. Улыбнулся.

— А ведь здорово, правда? — спросил он. «Здорово» и «правда» — самые любимые Петькины слова.

— Здорово! — кивнул я.— Теперь уж мы с тобой знаем, какие невиданные птицы из дальних стран прилетают в марте в наши края.

ХРУСТАЛЬНАЯ ЧАША

Бродили мы как-то с Петькой в сосновом бору. В нашем бору не только весной или летом, но и зимой хорошо. Есть чему подивиться. А уж в такой красный мартовский денек, как нынче, и подавно одно удовольствие гулять.

Торопыга Петька, убегавший все время вперед, то и дело кричит:

— Дядя Витя, летите ко мне ракетой!

Подойдешь к лупоглазому, сияющему Петьке в черном шубняке, подпоясанном радужным кушаком, спросишь:

— Ну, что у тебя тут?

— Ай сами не видите? Вон, вон на сосне... Правда, голова лося?

Посмотришь на огромную сосну, дымно-сизой вершиной упиравшуюся в синее-синее небо, и ахнешь. Из-за широкой колючей лапы выглядывает лосиная морда. Словно искусный художник изваял эту гордо вскинутую голову. А потом взял и взгромоздил ее на крепкую сосновую лапу.

— Правда, здорово? — шепчет Петька.— Обыкновенный ком снега, а вот, гляди ты!..

Проходит минута-другая, и мой Петька, насмотревшись вдоволь на лосиную голову, бежит дальше по скрипучей засиненной тропинке. А некоторое время спустя снова машет рукой: «Скоренько сюда!»

Подхожу. Полянка. Небольшая, но такая уютная, солнечная полянка. Бриллиантовыми зернами искрится подтаявший снежок. А в глубокой ямке вокруг старой, прочерневшей сосны, точно в хрустальной чаше, мечет золотые искры светлая прозрачная водица.

Петька стоит на краю полянки с прижатым к пухлым губам пальцем. «Ни гугу!» — говорят его широко распахнутые, чуть строгие глаза.

И я молчу. Разве нужно тут что-то говорить? Я только смотрю на звонко, уже по-весеннему тенькающих синиц, слетевшихся на водопой. Шустрые синицы вприскочку подбегают к хрустальной чаше. Повертят туда-сюда белощекими головками и начинают пить.

Вдруг с ветки стоявшей рядом молоденькой сосенки сорвалось и упало краснобокое яблоко. Петька чуть не вскрикнул от удивления. Но быстро сообразил: не яблоко спелое сорвалось с дерева, а красногрудый снегирь прилетел напиться талой жгучей снежницы.

Волшебная хрустальная чаша! Сколько еще птичьего народа утолит из нее свою жажду!

ХРАБРЫЙ РУЧЕЙ

Сергею Воронину

Зимой все реки замерзают. Даже Волга. А ведь Волга — всем российским рекам мать! Но морозы — они и красавицу Волгу не щадят.

И казалось бы: может ли противиться морозам какой-то там никому не известный ручеек-ниточка, петляющий по лесному оврагу к Волге?

А знаете, может! Есть на моей родине такой храбрый ручеек. Когда, случается, гощу зимой у родных в Поволжье, я, почитай, каждый день хожу в лесок к этому своему ручью. И если нет снежных заносов, спускаюсь на дно оврага к ледяному припаю и подолгу засматриваюсь в голубое озерцо на ключи-живуны, бьющие из-под земли.

Но бывает и так: с вечера завьюжит, заголосит тоскливо в печной трубе непогодица. И всю ночь куролесит, хлещет в окна пригоршнями колючего снега. А к утру все стихнет и ударит мороз.

Проснешься ночью и слышишь, как в стынущей немотной тишине потрескивают у пятистенника углы.

«А ведь, наверно, за тридцать перевалило,— подумаешь, переворачиваясь на другой бок.— Неужели-таки замерз в лесу мой ручеек?»

И снова крепко заснешь.

Утром глянешь в окно на градусник и поежишься. Синий столбик замер у цифры «34». А снегу, снегу намело! До самого подоконника поднялся хребтистый сугроб. Про-

хожие бредут серединой улицы, едва не черпая валенками сыпучий снег, пока еще голубой в утренних сумерках.

Опять поежишься и пойдешь на кухню теткины блины есть.

На кухне тепло: в печном челе азартно стреляют сучки, бушует веселое пламя. Сидишь за столом, крутишь в трубку хрустящий промасленный блин, а у самого ручеек из головы все не выходит: неужто осилил мороз, умертвил живую бьющуюся ниточку?

Ну, и сами понимаете, что остается делать после завтрака: потеплее одеться — да на лыжи. И в лесок.

Он чернеет на пригорке, за городом, утонувшем в сугробах. На востоке, чуть правее бора, в морозной розовато-сиреневой дымке лениво всходит морозное солнце.

Еще никто в это дремотно-тихое ознобное утро не был в лесу: ни лыжни, ни цепочки следов на снежном покрове. И бор кажется вымершим. Даже не слышно вороньего карканья. Тишина. Глухозимье.

Но чу... Откуда этот звон? Останавливаюсь. Постороннему человеку может показаться: где-то рядом, вон за теми соснами, укутанными в дорогие собольи шубы, поет... жаворонок. Это в тридцати-то градусный мороз?! Но я-то знаю: то звенит бегучий, неподвластный здешним трескучим морозищам ручеек!

И я снова пускаюсь в путь. На краю оврага торможу палками лыжи. Чуть ли не весь овраг передут снегом. Лишь по самой его середине как бы прочерчена невидимой рукой заледенелая бороздка. И над ней курится парок.

А там, под снегом, будто под надежной пуховой периной, звенит и булькает, перекатываясь через пороги и порожки, неугомонный этот ручеек. Спешит он к Волге — матери своей, закованной в ледяные оковы.

Кто знает, возможно, храбрый ручеек все еще из года в год надеется, что он поможет когда-нибудь Волге сбросить с себя ледяные оковы?

СНЕЖНАЯ ВАННА

В феврале то и дело сыпал и сыпал с бельмястого неба снежок — лебяжий пух, да и только.

И леса и перелески вокруг города стояли по-празднич-

ному нарядные. Каждая веточка на дереве, каждый кустик будто выкованы из серебра.

Иду утром через лесок в соседнее село, а впереди, низко над запорошенной дорогой, пролетает стайка крупных розовогрудых снегирей.

Вдруг одна из птах отстает от стайки и шлепается в сугроб, как на пуховую перину. Вынырнула, взмахнула крыльями и снова — уже с головой — зарылась в задымившийся сверкающими искорками сугроб.

Я останавливаюсь и смотрю на резвого снегиря до тех пор, пока он не кончает принимать снежную ванну.

ГЕРАСЬКИНО ЗАЙМИЩЕ

Собираясь в это воскресенье за город, долго колебался: брать или не брать лыжи? И лишь в последнюю минуту перед уходом на вокзал решил — возьму! В ту же минуту был решен и вопрос, куда ехать. В Покровку! Уж больше двух недель не заглядывал я на Гераськино займище в Покровском лесу — дивное прибежище для отдыха, открытое мной в позапрошлом году.

Когда-то давнехонько, сказывали покровские старожилы, на светлой веселой прогалине сиротливо жалась к березам — в ту пору статным, как девицы,— убогая избенка лесника Герасима. Сам Герасим — одинокий нелюдимый дед — умер в двадцатых годах, дряхлая избенка его, оставшись без присмотра, вскорости развалилась, а вот займище так и зовут с тех пор Гераськиным.

На этом всегда веселом займище стояла особняком, чуть впереди других деревьев, старая-старая сосна, наверно, прабабушка Покровского леса. В гости к великанше я каждый раз отправлялся с радостью.

Уж много лет назад приметил: первыми весну встречают одинокие деревья. Стоя сами по себе на опушках и полянках, они с жадной неутолимостью вбирают в себя опаляющее тепло мартовского солнца. И жаркое тепло это топит, плавит вокруг комля дерева ноздреватый снег. Потому-то у одиноких деревьев всегда раньше, чем у других, образуются озерца светлой, будто слеза, студеной воды.

Вот по весне и тянет, тянет меня всегда неудержимо к одиноко, в гордой отрешенности стоящим деревьям.

Прошлой весной, кажется в начале марта, у старой сосны на Гераськином займище наткнулся я на пучеглазого лягушонка. Сидел он преспокойненько на обсохшей кочке, торчащей из лужицы. Нежился лягушонок в солнечном тепле, без страха поглядывая на жесткие сугробы, излучающие нестерпимое сияние. А на ветру-то было, похоже, градусов десять мороза!..

Выходя в Покровке из вагона электрички, я и сейчас уже думал о Гераськином займище, о старой сосне. Чем они меня в эту весну порадуют?

От станции и до самого леса дорога обрыхлела и как бы немного прокоптела. А кое-где по обочине обнажились даже лобастые булыжины.

Деревья стояли не шелохнувшись, словно охваченные неземной задумчивостью, страшно далекие от всего суетного, мелочного, недолговечного. И вот тут-то, подойдя к опушке, я не пожалел, что взял с собой лыжи.

Хрупкая, будто бы из тончайшего стекла, затвердевшая корочка снега, отливая на солнце то янтарно-лазоревым, то бирюзово-васильковым еле уловимым блеском, тотчас со звоном проваливалась, едва на нее ставил ногу. Глубокий же след молниеносно наполнялся водой цвета купороса.

Но под лыжами ненадежнейший этот наст еще держался. Лыжи легко скользили по хрусткому снегу, полосатому от длинных тонких теней, отбрасываемых деревьями.

На мохнатых еловых лапах еще кое-где белели пушистые снежные комки, похожие на притаившихся горностаев. Но вот березы и осины стояли все-то все голые. Утихли снегопады, лиственные деревья стряхнули со своих ветвей последние пушинки, застыв в робком ожидании близкого тепла.

Между деревьями носились синицы, овсянки. Попадались на глаза и снегири, еще не отлетевшие на север. Птичья братия гомонила уже по-весеннему — звонко, задорно.

На полпути к Гераськиному займищу дорогу мне перебежала ватажка шумливых мальчишек. У каждого из пареньков на загорбке болталось по две-три дуплянки, связанных между собой шпагатиной.

— Далече путь держите, молодцы? — спросил ребят.

— Здрасте! — вразнобой закричали, не останавливаясь,

мальчишки.— Мы, значит, в двенадцатый квартал... Пернатым домики будем вешать!

Крикнул вдогонку:

— А не рано?

Замыкавший ватажку долговязый паренек в форсистой кепчонке, сдвинутой на ухо, вдруг приостановился:

— Завтра двадцатое. Разве это рано? Синицы... они уж места для гнезд присматривают.

— Чеши, Тимоха! — выкрикнул кто-то из мальчишек.

И долговязый, взмахнув палками, припустился догонять приятелей.

«Да-а, — невесело вздохнул я, все так же неторопливо продолжая свой путь через лес.— Тут тебе не Москва... тут вся весна на виду!»

Дышалось легко-легко: воздух был свеж и бодрящ. Ровной снежной целине, казалось, нет ни конца ни края. Но мартовское солнце и здесь, в самой чаще Покровского леса, уже поработало на славу.

С южной стороны у каждого деревца появились голубые воронки. И с каждым часом они будут шириться. А совсем скоро, ну через какие-нибудь три-четыре дня, тут появятся первые проталины...

Вскоре между поредевшими деревьями как-то необыкновенно ослепительно засияло солнце.

«Ну, вот и Гераськино займище»,— подумал я. Но чтобы выйти на поляну, надо было свернуть вправо и обогнуть густые заросли красной вербы, уже поспешившей выпустить пушистые «барашки». Они, эти «барашки», густо осыпали тонкие гибкие прутья и походили на язычки свеч, только не оранжевые, а льдисто-серебристые.

Кончились заросли. Протянул руку, чтобы отвести в сторону последнюю ветку, преграждавшую путь на поляну, ветку кроваво-пунцовую в отличие от других. И, не сделав еще шага, поднял глаза на кряжистую сосну — прабабушку Покровского леса. Вся-то она сверху донизу была обласкана солнцем — янтарно прозрачным, великодушно щедрым.

А под огрузневшими ее лапами, зелеными с прочернью, на пегой от прошлогодней хвои проталине, большой, с детское рваное одеяло, резвилось трое зайчишек. Зайчишки первого в эту весну помета.

Кажется, более удобного, более безопасного пристани-

ща для потешных зайчат нельзя было сыскать во всем лесу. Стоило ушастому малышу прижаться к просохшей уже земле, затаиться на миг-другой, и его пушистая шубка слилась бы с порыжелой хвоей. Даже самый зоркий хищник принял бы зайчонка за навозную кучку.

«Заячий детсад! — вдруг пришло мне в голову.— Ейей, заячий детсад! Только вывески не хватает».

Не знаю, сколько там минут простоял я на опушке, не спуская глаз с резвившихся зайчат. Врезался мне в память самый крошечный из этой троицы — прыткий шарик с туго загнутым кверху ржаво-рыжим мохорком-хвостиком.

Но вот что-то недоброе почуяли малыши. Почуяли и мгновенно брызнули в разные стороны.

Пропали зайчишки, будто их вовсе и не было на проталине под старой сосной. Но я долго еще не двигался с места, все ждал: не появятся ли снова потешные зверята?

ХИТРАЯ ПИЧУГА

Подойдешь зимним утром к окну, глянешь на вздыбившуюся напротив десятиэтажную махину, а синицы — вон они — уже бойко прыгают по бесчисленным подоконникам. Не боятся, любопытницы, заглядывать и в распахнутые форточки. А если за окном болтается авоська с кульками, то непременно проверят: не найдется ли чего-нибудь на завтрак?

И это происходит в Москве. Зимой, в бескормицу, синицы покидают леса. Смелые, бедовые, они поселяются даже в больших городах. Голод не тетка, приходится ко всему привыкать.

Я подкармливаю синиц в зимнюю пору. Каждый день на подоконник высыпаю горсть-другую то конопляных, то подсолнечных семян. А к прочной шпагатине привязываю кусочек свиного сала.

Синицы — словно нюхом чуют — тотчас начинают слетаться к моему окну. Иной раз даже драку между собой затеют: каждой хочется поскорее схватить лакомое семечко. Расхватав семена, принимаются за сало.

Потешно смотреть на резвую птаху, акробатом повисшую вниз головой на шпагатине. Кусочек сала раскачивается, а синице и горя мало. Колючий январский ветер шерстит на птахе ее пушистую шубку, точно пересчитывает

перышко за перышком, а она знай себе долбит острым клювом окаменевший на морозе розовато-перламутровый кусок.

Этой зимой, как никогда, досаждали ветры. Не успеешь высыпать на подоконник горсть семян, а уж их и в помине нет, будто корова языком слизнула. Прилетят синицы: скок, скок по голому подоконнику, а поклевать нечего.

Соседская девочка Катя, председательница школьного кружка юннатов, посоветовала:

— Возьмите коробку... ну, допустим, из-под обуви. Понятно?

— Пока не очень-то понятно,— ответил я, гася в глазах улыбку. Так и чудилось: девчонка подражает любимой учительнице, эдакой представительной, уравновешенной особе.

Катя слегка заалелась.

— Ну, чего же тут непонятного? В коробке прорежьте отверстия... вот так. Потом обвяжете ее веревочками. А корму насыплете, опускайте коробку на веревочках за окно. Теперь понятно?

Наутро глаз с окна не спускаю: прилетят ли синицы? Не примут ли они картонную коробку на подоконнике за каверзную западню? А синицы тут как тут. Прыгают, нахохлившись, вокруг коробки, заглядывают в окошечки.

Долго увивались птахи возле кормушки. Наконец одна из синиц — самая, наверно, отчаянная,— вспрыгнула на кромку прорезанного в коробке отверстия. И вся-то в ниточку вытянулась, пытаясь схватить клювом семечко. Не дотянулась. Спрыгнула на подоконник, прошипела сердито на смирную, раскурунившуюся подружку. А потом вдруг — была не была! — проворно юркнула в кормушку. И сразу же выпорхнула с семечком в клюве.

Через несколько дней синицы так освоились с моей кормушкой, что некоторые из птах даже с лету ныряли в ее окошечки.

Однажды меня поразил такой случай.

Разлетелась шумливая сытая стайка. И тут — откуда ни возьмись — опустилась на подоконник маленькая, общипанная синица с обвисшим хвостиком. Малышка эта вертелась вокруг коробки и так и сяк. И в одно оконце заглянет, и в другое, и на крыше кормушки посидит, подозрительно оглядываясь по сторонам. Прыгай не прыгай, а

есть хочется. И вот, набравшись духу, мы́лькнула пичуга в коробку.

«Давно бы так, дурашка!» — подумал я с облегчением. Уж очень мне что-то стало жалко эту одинокую несчастную синицу.

Немного погодя, выглянув в окошечко, малышка выронила из клюва на подоконник круглое черномазое семечко. И снова скрылась в коробке. А через миг опять показалась ее гладкая головка с белыми щечками. И в этот раз обронила синица на подоконник семечко. Так она делала несколько раз.

А когда выпорхнула из кормушки, отряхнулась и, зажав между лапками одно из выброшенных на подоконник семечек, принялась спокойно его расклевывать. Прикончив первое, взялась за другое.

«Ай-яй-яй! Ну и хитра же ты!» — теперь уж весело подумал я.

И я потом не раз и не два видел общипанную синицу, почему-то отбившуюся от своей стайки. Она всегда появлялась под вечер, когда ее резвые бойкие сородичи разлетались кто куда.

Выбросив из кормушки на подоконник несколько крупных семян, она спокойненько, не торопясь принималась за работу. И уж в сумерках — опалово-серых, с переливчатыми голубеющими искорками — улетала на покой: невзрачная, общипанная, но такая разумная, такая самостоятельная.

ГАЛКА

Шел я раз по улице чужого города. В феврале это было. Шел и все никак не мог насмотреться на липы и клены, опушенные белыми хлопьями.

Лишь присмотревшись повнимательнее к невесомому наряду выстроившихся шеренгой деревьев, можно было заметить, что белизна их чуть-чуть засинена.

«Синина эта неспроста,— подумал я.— Ее в снега весна подпустила. Она теперь не за горами».

И тут как раз в серой, нависшей над городом кошме образовалась голубая промоина. В нее-то и брызнули ослепительно дымные лучи. И снег на деревьях загорелся мириадами искр.

— Мама, мама, а дерева... смотри, какие они! — закричал маленький мальчик в красном теплом комбинезоне, похожий на игрушечного космонавта. Он только что вышел вместе с матерью из магазина «Игрушки».

— Весна, сынок, скоро,— сказала, улыбаясь, женщина и бережно взяла малыша за правую руку. В левой он держал длинноносого петрушку.

Немного погодя, правда, голубеющую промоину на небе затянуло грязно-синей пеленой, а перед глазами закружились легкие белые пушинки. Но хорошее настроение меня не покидало весь день.

Проходя не спеша мимо старинного, такого уютного с виду, двухэтажного дома, я невольно как-то обратил внимание на шагавшего впереди меня пожилого человека с толстой суковатой палкой.

Возле красивого особняка старик остановился и что-то положил на подоконник окна с открытой форточкой. Положил, улыбнулся в обвисшие пепельные усы и зашагал дальше, постукивая по тротуару тяжелой своей палкой.

«Интересно, а что этот усатый дедок положил на подоконник?» — подумал я, укорачивая шаг.

Вдруг у того же окна с распахнутой форточкой приостановилась бежавшая мне навстречу краснощекая девушка с портфелем. Из портфеля она вынула конфетку в оранжево-синей обертке.

— Галя, Галочка! — негромко позвала кого-то девушка.

И, торопливо подсунув под вязаный клетчатый шарф выбившуюся на висок рыжеватую прядку, шагнула к подоконнику.

Я тоже подошел как можно ближе к девушке, мучаясь желанием заговорить с ней. Но тут в форточке показалась гладко-черная галка. Свесив вниз голову, птица внимательно посмотрела на подоконник.

— Чего же ты раздумываешь? — все так же ласково спросила девушка галку.

«Кр-р-р!» — ответила та и, опустившись на подоконник, взяла в клюв конфетку в оранжево-синей обертке.

— Умница! — похвалила девушка галку.

Птица взлетела и скрылась в форточке. Через минуту-другую она опять спрыгнула на подоконник, чтобы взять оставленную стариком шоколадку.

— Извините, я приезжий,— наконец-то набравшись ре-

шимости, заговорил я, обращаясь к девушке.— Вы мне не объясните...

— А тут нечего и объяснять.— Внезапно девушка смутилась. Взмахнув портфелем, она сбивчиво пробормотала: — Ой, а я в институт опаздываю!

И побежала по тротуару, еще недавно старательно подметенному дворником, а сейчас слегка припорошенному белыми-белыми хлопьями.

Я проводил девушку взглядом. А увидев на противоположной стороне «Гастроном», перешел наискосок улицу.

Когда я вновь приблизился к приметному уже мне окну на первом этаже, от него только что отошла полная очкастая женщина в поношенной котиковой шубе.

Рядом с ее гостинцем я положил на подоконник и свой.

БОРЬБА ЗА ГНЕЗДО

В то сырое хмуроватое утро мне нездоровилось. И решил я не выходить в этот день из скучного гостиничного номера, надеясь, что авось завтра полегчает. На другой день предстояла поездка по делам газеты в дальнее село этого глубинного района Приуралья.

Так думал я, прислонившись плечом к косяку окна. Открывающийся же из окна вид удручающе действовал на нервы.

Посудите сами: кого мог привести в восторг захламленный старыми разломанными ящиками двор в придачу с прочерневшими от копоти подтаявшими сугробами? А по другую сторону узкого двора высилась глухая кирпичная стена склада. Наверно, и здорового человека такой «пейзаж» привел бы в полное уныние!

Глядя на срывающиеся с крыши склада тяжелые капли, я со вздохом сказал себе: «Только бы в постель не слечь. Худо, ой как худо на чужой стороне болеть».

Потом я прошел к столу и долго листал вкось и вкрив испещренный записями блокнот. В голове шумело, и я никак не мог сосредоточиться.

Перечеркнув через полчаса десяток вымученных строк начатого очерка, я снова подошел к окну.

Взгляд мой привлекла стайка возбужденных голубей, то взлетавших, то опускавшихся на кромку крыши склада — как раз напротив моего окна.

Приглядевшись, я заметил под карнизом крыши глубокую отдушину в стене. Очень и очень удобна она была для устройства гнезда. За эту отдушину, оказалось, и шла ожесточенная борьба между голубями.

Стоило одному сизарю сунуться головой в лаз, как к нему подлетали два или три сородича. Они до того остервенело клевали захватчика, что из бедняги летели перья. И он отступал, отлетая в сторону изрядно потрепанным.

Тогда в отдушину пытался забраться один из драчунов, но и ему крепко доставалось.

По краю карниза — чуть в стороне — сидели нахохлившиеся голубки и смирнехонько так взирали на поединок своих возлюбленных.

«Который из сизарей победит?» — подумал я, наблюдая за воинственно настроенными голубями.

Конца же поединка так и не дождался: раздался звонок, и я поспешил к телефону. Лишь часа через два вспомнил про сизарей.

Остановившись у окна, я увидел такую картину: из углубления отдушины выглядывала довольная голубка. А над ее головой, на самой кромке ржавой крыши, сидел воркующий победно голубь. Шальной мартовский ветер задирал сизарю хвост, но он не обращал на это никакого внимания. Он сторожил покой своей подружки.

«Утвердятся нынче на новом месте, а с утра и гнездо начнут вить,— подумал я.— Весна спешит, торопит всех».

И на душе у меня вдруг посветлело.

МАРТОВСКИЙ КЛЕЙ

Как-то в самом начале марта мне позвонил из Подмосковья приятель Сергей — учитель сельской школы. В трубке гудело, потрескивало, булькало. Можно было подумать: приятель находится где-то на краю света, а не в пятидесяти километрах от Москвы.

— Слушай, ты! — бодро орал приятель, стараясь одолеть все эти дикие подвывания, рожденные несовершенной телефонной техникой.— Слушай, Виктор, когда ты соберешься за город? Не знаю, как там у поэтов... Алло, алло! Перестаньте долдонить!

— Слушаю, продолжай,— закричал в трубку и я.— Чего ты поэтов вспомнил?

— Не знаю, как поэты называют этот начальный период марта,— продолжал Сергей,— но я его окрестил так: поэзия синих теней! Непременно жду тебя в следующий выходной!

И он, этот милый чудак, едва кончив говорить, сразу же повесил трубку. Товарищ, видимо, боялся, как бы я не стал отнекиваться, ссылаться на занятость. А мне и самому уже давно не терпелось махнуть за город.

«Поеду, поеду!— говорил я себе, глядя в окно на тихий наш дворик с мрачными, прочерневшими от копоти сугробами.— Придет воскресенье, и поеду. Надоел мне этот чумазый снег!»

И вот наступило воскресенье. На редкость солнечный, тишайший морозный денек.

«Повезло!— радовался я, собираясь на поезд.— Такими красными днями не часто радовала нас в последнее время погода».

Всю дорогу, пока электропоезд мчался по искристо-белым полям с маячившими вдали сиреневыми и черными перелесками, я сидел у окна и улыбался.

Мелькнет тонюсенькая, с виду такая беспомощная, березка у желтой будки стрелочника, терпеливо перенесшая все зимние невзгоды, и у тебя теплеет на душе, и хочется по-дружески кивнуть стройному деревцу. Но березка стремительно унеслась назад, а впереди показался рыжий лоскут землицы на обдутом всеми ветрами бугре, один-разъединственный пока еще среди бескрайней снежной целины.

— Ой, земля!— ахнула вдруг сидевшая напротив меня девчурка — беленькая, ничем не приметная, с косицами-прутиками, торчащими в разные стороны из-под сдвинутого набекрень малахая. Ахнула и тотчас вся просияла, заалелась и стала на диво милой.

А еще минутой позже с замиранием сердца смотрел я на шустрого мальчишку в красном пушистом свитере, лихо, с ветерком, летевшего с крутой солнечной горки в густо засиненную лощину.

«Прав приятель — в этой синеве теней столько весенней поэзии!»— подумал я, провожая взглядом уносившуюся

назад глубокую лощину, как бы старательно обрызганную синькой.

В Радищеве я сошел. Глянул вокруг и на миг ослеп от нестерпимого сияния. Снега горели, как в январе. И все же во всем чувствовалась весна: и в сочной зелени елок, уже сбросивших с себя белые шубы, и в яркой красноте кустарника, дыбившегося за пристанционной изгородью, и в прохватывающем ветерке — бодрящем, колючем, и в этих вот удивительно синих тенях. Ну, разве не поразительно: даже голая серо-бурая ветка сирени, выглядывающая из сугроба, даже она отбрасывала длиннущую ультрамариновую тень.

Вдруг как бабахнет, точно бомба взорвалась. Это искристыми бисеринками рассыпался у самых ног ком снега, сорвавшись откуда-то сверху.

Поднял голову, а надо мной покачивается слегка ветвистая ольховая лапа. По стволу же дерева, чуть сгорбившегося, тоже стоявшего за изгородью, там и сям отпечатались темные сочные пятна. Нате-ка вам: светлой слезой потекли снежные кулачки, застрявшие в развилках ветвей. А у подножья ольхи, на сыпучем снегу, должно быть еще вчера гладком, без единой морщины, были разбросаны лазурные блюдца. Вот снова с ветки сорвался снежный ком, и у комля дерева появилось новое лазурное блюдце-вмятина.

«Рушится зима,— подумалось мне,— рушится, хотя впереди будут еще и морозы, и метели... всякое еще будет. И все же скоро конец зимушки!»

Но это еще не все, чем поразило меня расчудеснейшее мартовское воскресенье.

Ледок на деревянной платформе малолюдной станции кое-где подтаял от прожигающих его в упор солнечных лучей, и платформа курилась еле приметным златокудрым парком. Колючий же ветришко тотчас подсушивал проталинки.

Шагал я не спеша по пустынной плешивой платформе, а подошвы ботинок — то ту, то эту — будто клеем прихватывало. Мне даже подумалось: замешкайся на миг-другой, и прихватит подошвы так, что и шагу не шагнешь.

Усатый стрелочник с кирпичным тавром во всю щеку, провожая меня усмешливым взглядом, сказал:

— Это март шалит: клею подпустил!

БЕССТРАШНАЯ ОЛЯПКА

Пока я смотрел на противоположный, обрывистый берег Иргиза, местами обнажившийся от сыпучего, такого здесь белого снега, пока любовался кипением незамерзающей быстрины, как раз на самом повороте речки, товарищ мой уже спустился под откос, волоча за собой резиновый мешок с рыбачьим снаряжением и пешню.

Денек начинал разгуливаться. Рыхлая, как бы продымленная насквозь пелена, низко нависшая поутру над землей, теперь поднялась выше. И кое-где в ней появились прорехи с рваными краями, в которые проглядывало не очень-то веселое, но все же голубеющее небо.

Когда я спустился под берег к другу, он сказал ободряюще:

— На мороз повело!

И сунул мне в руки пешню:

— Иди туда вон... Поближе к полынье долби лунку. Там всегда отменный клев. А я пока приготовлю нам с тобой мормышки и все прочее.

Себе он уже продолбил лунку.

Отойдя шагов на сто, а возможно, и дальше от заядлого рыбака, я тоже принялся тукать по звенящему, с зеленоватым отливом льду тяжелой тупоносой пешней.

Уже попахивало весной — пока еще самую малость. Еле уловимы они, первые весенние запахи! Обнаженная на крутоярах земля, светлые проталины, в которые непременно заглядится солнце, если оно и вырвется лишь на минутку из плена свинцовых туч, беспокойные южные ветры, страстное карканье ворон, кувыркающихся в вышине... Вот они — первые весенние запахи, первые весенние приметы.

Вдруг я увидел небольшую короткохвостую птаху, пролетевшую мимо меня в сторону полыньи. Я посмотрел ей вслед. Птичка с лету нырнула в быстрину.

«Что за дьявольщина!» Я потер кулаком глаза и снова уставился на плескучие, отливающие синевой, холодные волны.

В это время птаха вынырнула из полыньи, держа в клюве извивающегося малька. Усевшись на обледеневший сугроб поблизости, она принялась расклевывать рыбешку.

Я верил и не верил своим глазам. Позвать товарища я не мог: наверняка бы мой крик спугнул эту куцую белогрудую птаху. А она, расправившись с добычей, опять нырнула в быстрину.

«Ну-ка подойду поближе к полынье... авось не ухнусь»,— сказал я себе. И, глядя под ноги на крепкий лед, тут и там передутый снежной крупой, не спеша направился к рябившей тускло воде. Птаха как нырнула в пучину, так и пропала.

«Утонула, наверно, отчаянная!.. Разве ж можно так долго быть под водой?»—думал я, пока осторожно, то и дело пробуя ногой крепость льда, шел к быстрине.

Вода в полынье была на диво прозрачной. И когда я заглянул в нее, то в первый миг даже отшатнулся слегка, пораженный увиденным.

Странная птица, считавшаяся мной уже погибшей, бегала по дну Иргиза, бегала резво, взмахивая темными крылышками. Она охотилась за юркими рыбешками!

Глядел зачарованно, забыв обо всем на свете. Вот бесстрашной птахе удалось-таки схватить зазевавшуюся плотвичку, и она молниеносно вымахнула из полыньи.

Заметив меня, птичка не опустилась на заледеневший сугробик, а отлетела чуть подальше. Устроившись на коряжине, она снова принялась расправляться с добычей.

Тут меня кто-то тронул легонько за плечо. Оглянулся, а рядом — приятель. Стоит и щерится во все лицо.

— Оляпка,— зашептал он на ухо мне минутой позже.— Птица-водолаз... Оперенье у нее густо смазано жиром. Потому-то и не боится водяной купели.— Помолчав, так же шепотком добавил: — По глазам вижу: никогда еще такой диковинной птицы не встречал!

Я утвердительно кивнул головой.

ПРУТИК

На исходе январь. Ночью выпал снег, а с утра— оттепель. С крыш капает и капает, как в марте.

В скверике возле заколоченного досками киоска «Мороженое» топчутся на снегу смирные голуби.

Сюда приходят с газетными кульками сердобольные старушки из ближайших домов и кормят сизаков хлебными крошками, пшенной кашей и мочеными сухарями.

Но в это утро у облезлого голубоватого киоска не замечаю следов... Нет отпечатков ни от резиновых бот «прощай молодость», ни от стоптанных башмаков с железными истертыми подковками.

На чистом нетронутом снегу одни лишь крестики. Крестики тут, крестики там... Особенно их много у запорошенного снежком порожка, служившего голубям столом-кормушкой.

В сторонке от сизокрылой стайки замечаю жуково-черную голубку. В клюве у нее — тонкий прутик. Тихая, как бы застенчивая, голубка эта переступала с лапки на лапку, печатая на отсыревшем снегу забавные крестики.

Голубка не собиралась никуда лететь, но прутика своего не бросала. Лишь изредка, не выпуская из клюва, передвигала прутик — как это она далала?— то чуть вправо, то чуть влево.

По всему было видно: для гнезда облюбовала заботливая голубка этот гибкий тонкий прутик.

ВЕСЕННЯЯ ПЕСЕНКА

Всю ночь вьюжило. И еще утром порывами налетал резкий баламутистый ветер, передувал в лесу дороги, бросал в лица прохожих большие пригоршни иглистого снега.

Низко над деревьями висело мутное, в лиловых кровоподтеках небо, не сулившее ничего доброго. Раза два сквозь плотную серую пелену пыталось пробиться к земле немощно бледное солнце, да так и не пробилось.

До конца зимы еще десяток дней. Впереди еще много метелей и буранов. И все же — вопреки календарю — я слышал в это непогожее февральское утро весеннюю песенку.

«Цвинь, цвинь! Цвинь, цвинь!»—вдруг разнеслась по безмолвному лесу дерзкая веселая песенка.

Смотрю влево, смотрю вправо... порхают с ветки на ветку озабоченные воробышки, а звонкая песенка все не смолкает и не смолкает.

Неужели, думаю, это синица-вещунья возвестила миру о скором приближении весны?

Так и есть. На одинокой искривленной сосенке, окруженной невысокими березками, прыгала на суку, вертелась

туда-сюда прехорошенькая синица. Прыгала и знай себе распевала:

«Цвинь, цвинь! Цвинь, цвинь!»

Вот как услышал я в феврале первую весеннюю песенку.

ЗАБОТЛИВЫЙ СКВОРУШКА

Николаю Михайловичу Ромадину

Ночью по земле прошелся легкий морозец. Он посеребрил игольчатую травку, затянул прозрачным ледком лужи.

Но вот настало утро, поднялось над землей ясное апрельское солнышко. Жаркие лучи растопили и тонкий ледок, и седокудрый иней. И закурилась парком пригретая земля.

Дед Иван, известный на всю округу плотник, еще до завтрака пришел в сад с лопатой. Сад начинался сразу же за осевшей на один бок избой с причудливой — прямо-таки марсианской — антенной над крышей. Деревца дружно сбегали под откос к речке Быстринке.

Быстринка тоже дымилась парком — веселым, прозрачно-перламутровым. А по извилистому берегу щетинились кусты краснотала, окутанные там и сям зелеными облачками — только что распустившимися листиками-коготками.

Щурясь, сухопарый дед Иван из-под руки глянул на речку. Из воды, как раз на самом стрежне, высунулся черный крокодил с огромной разинутой пастью. Казалось, крокодил вымахнет сейчас на берег, и уж тогда... Улыбаясь в сивые усы, дед сказал вслух:

— И в самом деле на большущую крокодилу похож этот вяз. Санюшка-то и того, пужается...

С весны у деда Ивана гостил пятилетний внучек Санька. Вот он-то и боялся упавшего по осени в Быстринку дерева.

Все так же добродушно ухмыляясь, дед поплевал на мозолистые, в глубоких бороздках ладони и принялся копать землю.

Землю-кормилицу дед любил с детства. Он, русский человек, родился и вырос в деревне. И прожил долгую свою жизнь на этой вот земле. Каждая яблонька, каждая

вишенка, каждый кустик смородины были посажены тут дедом Иваном. А избы односельчан, протянувшиеся вдоль по берегу Быстринки? Все они, бревнышко к бревнышку, собраны его же сильными и ловкими руками. И осанистые петухи, и звезды, и разные замысловатые узоры, украшавшие на радость людям карнизы и наличники окон,— тоже его, дедова, работа.

Перевернув жирный, лоснящийся на солнце пласт чернозема, дед Иван старательно разбивал его ребром лопаты, высветленной до зеркально-льдистой синевы. А потом снова на полный штык вонзал острую лопату в слежавшуюся землю.

Увлеченный работой, он не сразу заметил крупного, черно-жукового скворца.

Скворец, ни чуточку не боясь деда Ивана, смело прыгал с глыбы на глыбу, собирая червей. Иной раз он прямо из-под лопаты ловко выхватывал лимонно-желтым клювом извивавшегося червяка.

И, отлетев в сторонку, клал надкусанного червяка на приметную лишь ему одному кочку. Затем так же поспешно возвращался к деду. Вертя туда-сюда вороной головкой со стальным отливом, скворец зорко высматривал новую добычу. Вот из разбитого лопатой пласта чернозема показывался лиловато-малиновый червячок, и скворец, живо схватив его, летел к облюбованной кочке.

Когда же червяков скапливалось штук шесть-семь, он забирал их в клюв и грузно летел к стоящей под окнами избы липе. В голых ветвях высокого дерева, у самой вершины, голубел ладный такой скворечник.

Проходило сколько-то там минут, и скворец опять появлялся у ног старательного деда.

— Ого, пожаловал! — сказал приветливо дед Иван, заметив наконец-то скворца.

Сдвинув на затылок старый заячий малахай, он вытер рукой испарину с покатого лба. И уж теперь пристально посмотрел на желтоклювого красавца с гладкой радужной грудкой.

— Здорово живешь? — продолжал дед.— Давненько мы с тобой не виделись... с прошлой весны.

Повернув набок головку, скворец выжидательно уставился на деда Ивана блестящей бусиной глаза. И тоже словно спрашивал: «А ты как живешь-можешь, дедок?»

Понимающе хмыкнув, дед Иван опять поплевал на залубенелые ладони и взялся за лопату.

Часа через два из дома выпорхнул внучек Санька. Шаркая по дорожке подошвами резиновых бабкиных бот, Санька нерешительно подошел к деду, опасливо косясь немигающими добрыми глазами на черный ствол затонувшего в Быстринке дерева.

— Деда, пойдем кашу есть,— пропищал тоненько внучек, дергая деда Ивана за мохрястую полу дубленого полушубка.— Бабушка наказывала, чтобы ты не мешкал. Пойдем, деда!

Санька еще раз покосился на огромного «крокодила», выставившего из журчащей колокольцами воды устрашающе зубастую пасть, и прижался к деду.

Крякнув, дед укоризненно сказал:

— Ох и чудак же ты, Сань! И всего-то робеешь, даром что в городе живешь. Глянь-ка вот на сковорушку, он ни перед кем не трусит.

Все так же прижимаясь к деду, Санька насупился. И серьезно-пресерьезно покосился из-под белесеньких бровей на скворца, подбиравшего с земли сложенных в кучку червяков. Потом спросил, провожая взглядом полетевшую к дереву чернокрылую птаху:

— А он куда червей-то таскает?

— Куда? — чуть помедлив, переспросил дед Иван и погладил Саньку по розовой упругой щеке.— Домой к себе, куда же еще... там подружка на яичках сидит, птенчиков выводит. Сковорушка и таскает ей пищу. Заботливый сковорушка, ничего другого не скажешь!

Тут на крыльцо вышла горбатая бабка и нараспев прокричала:

— Эй, мужики! Домой топайте! А то каша простынет!

ВОИН

Я приметил его еще издали. Видавшая виды «Волга» пылила, вихляя из стороны в сторону по обдутой весенними ветрами дороге.

— Неделю назад тут даже тракторы по уши застревали,— вдруг сказал неразговорчивый шофер, вглядываясь пристально в смотровое стекло. И устало вздохнул.

«Богатырь? Воин? Поверженный исполин? — думал я, разглядывая стоявший на берегу речки Сок, неподалеку от деревянного моста, старый тополь.— Израненный, искалеченный великан, весь-то в ссадинах и рубцах... Вот уж вдоволь пошумел он на своем веку!»

И хотя у дерева словно бы кто-то безжалостно отсек и вершину-голову, и распростертые в стороны могучие ветви-руки, он до сих пор гордо, независимо богатырствовал над раскинувшейся во все концы света степью. Наверно, и с той, заречной стороны с нечетким сейчас, в маревой дымке, горизонтом он был приметен за многие километры.

— Остановите, пожалуйста, машину,— попросил я шофера.

Вблизи могучее это дерево и совсем поражало своим молчаливым величием. В три, а может, и в четыре обхвата ствол его был весь как бы перекручен, и тут и там на нем виднелись глубокие трещины, узловатые наросты.

Это сумасшедшие зимние бураны и весенние, валившие с ног ветры пытались когда-то согнуть в три погибели молодой тополек. Но он не поддался стихиям. Выстоял. Рос и крепчал. Не раз ударяли в него молнии. Не дрогнул молодой тополь и под губительным огнем. Залечив раны, рос и мужал, все глубже и глубже пуская в землю крепкие корни, все выше и выше поднимал над степью свою буйную курчавую головушку. Вблизи великана всегда высокой стеной стояла колосистая пшеница.

Но шли и шли годы неумолимой, нескончаемой чередой. Раньше, говаривали дедки, извилистый Сок чуть ли не до глубокой осени бороздили неторопливые грузные барки и увертливые лодочки. Теперь же только в пору весеннего половодья мыкаются по Соку трескучие моторки. А в начале июля речушку вброд переходят пугливые телята. Отшумели и березовые колки по крутым бережкам. Лишь кое-где топорщится сейчас по кручам мелкая поросль неприхотливого тальника.

Подкатила и к тополю его старость. Налетел однажды на степь ураганной силы ветер. Прильнули к земле травы, понесло по дорогам облака едучей пыли и колючие шары перекати-поля.

Много бед натворил ураган. В битве с ним старый тополь лишился самого ветвистого своего сука. Но однору-

кий инвалид и не думал сдаваться. Прошло еще лет пять, а возможно, и все десять. И вот как-то в зимнюю пору, во время затяжного бурана, бушевавшего чуть ли не целую неделю, столетний великан потерял и последнюю свою «руку».

И опять не покорился злой, жестокой судьбе могучий тополь. Подоспела весна, и еще гуще зазеленела его вершина. И птичья братия, как всегда, весело щебетала, прыгая с ветки на ветку, радуясь доброму солнцу, радуясь шелестящей упруго молодой листве.

— Прошлой осенью молоньей обрезало дереву вершину,— заговорил шофер. Он тоже вышел из машины и стоял неподалеку от меня, сложив на округлившемся брюшке руки, как бы присутствуя на похоронах дальнего знакомого.— Я из Кошек тогда возвращался. Вершинка-то как есть поперек дороги лязнулась. Пришлось мне в сторону ее оттаскивать.

Шофер вздохнул, поправил фуражку.

— Я тогда сказал себе: «Конец пришел старику». Ан нет... Гляньте-ка туда вон... Видите? Почки уже забурели на кустиках... которые кверху топорщатся.

И это было правдой. Набухли, забурели на тополе почки. А как обогреет ласковое солнце зазябнувшую в зимнюю стужу землю эту, такую нетребовательную, такую ко всем невзгодам притерпевшуюся, и брызнут тогда из почек молодые клейкие усики.

— Ну как, поехали? — спросил немного погодя шофер.— А то недолго и опоздать в райком на совещание.

Последним отошел я от старого тополя. И пока шофер не смотрел в мою сторону, провел ладонью по его залубеневшей, в морщинах и боевых шрамах коре.

ВЕСЕННИЙ ДУШ

Март каждый день преподносит сюрпризы. Еще третьеводни валил и валил безудержно снег — липкий, недолговечный. В ночь же ударил мороз. Да не какой-то там вряшный, а пятнадцатиградусный! И держался он стойко чуть ли не до обеда. Но в полдень с юга потянуло сладимо-пресным ветром, и зима отступила снова.

Открыл форточку, и в комнату вдруг впорхнула песенка, точно зазвенел колокольчик: «Синь-синь-синь!» При-

слушался. Пела овсянка. В скверике напротив дома пела. Как и синицы, овсянки кормились в зимнюю пору в городе. Только в стужу им было не до песен.

Затаил дыхание и все слушал и слушал звонкий колокольчик, пробивавшийся сквозь несмолкаемый гул машин и ребячий гомон.

Смолкла вскоре овсянка, а на душе все еще было радостно и тревожно.

К вечеру сызнова слегка подтянуло, загуляла по улицам змеистая поземка, но смутное беспокойство, ожидание чего-то нового, чего-то радостного не покидало меня.

Опускались трепетно-синие, прозрачные сумерки — весенние сумерки, под ногами хрупал ноздреватый, посеревший снежок, лопались со звоном матовые льдинки, а я все шагал и шагал по улицам и переулкам, сам не зная куда...

А вот нынче с утра солнце. Весь день неистовствовала капель. Вышел во двор, а у водосточной трубы на жарком по-летнему припеке искристая лужа. И стайка возбужденных голубей. Тесня друг друга, голуби лезли под самый раструб, из которого бойко стекала светлая талая водица.

Заняв место под раструбом, голубка блаженно распускала то одно, то другое крыло, подставляя его под журчащую резво, сверкающую струйку.

Стоял в сторонке, глядел на голубиную стайку, принимавшую мартовский душ.

«Теперь и до тепла рукой подать, раз голубей потянуло купаться»,— думал я. Подумал и о том, какие сюрпризы готовит нам завтрашний денек? Ведь в марте что ни день — то новость.

ХОЗЯИН

Сережа — сын лесника Степаныча — сидел в конце лодки за кормовиком. Сидел прямо, ловко работая веслом, и, как положено капитану судна, зорко смотрел по сторонам, жмуря от нестерпимого солнечного света свои круглые карие глаза — не по-детски сейчас серьезные.

Такого буйного разлива давно не помнил даже отец Сережки — бывалый, не словоохотливый человек, знавший волжскую пойму как свои пять пальцев.

Вертлявая речушка, петлявшая по лугам и к осени чуть ли не совсем пересыхавшая, в весеннее это половодье расхлестнулась на диво широко, затопив и березовую рощу, и Волчий луг. А километра полтора ниже деревни Борковки она уже по-панибратски обнималась с самой Волгой.

Наша лодка проплывала то мимо тонких осинок, засмотревшихся в зеркало разлива — чистое, без единого изъяна, то вблизи одевшихся первой травкой островков, таявших прямо на глазах, то неподалеку от зарослей тальника, дрожащих под напором упругих струй, искрящихся огнистыми брызгами.

Где-то на гриве крякали, надрываясь, сразу две утки. А когда лодка поравнялась с высоким старым осокорем, над нашими головами вдруг застучал дробно дятел.

С острова Большака, отделявшего речушку от коренной Волги, ветер доносил колдовские запахи. Пахло и последним снежком, в потайных волчьих яминах истекающим слезой, и клейкими почками, пустившими зеленоватенький дымок, и, само собой, лиловыми колокольцами — нашими первыми весенними цветами.

В ногах Сережки лежало два мешка, туго стянутые сыромятными ремешками. В одном мешке сидел присмиревший барсучишка, в другом — большом, брезентовом — четыре русака. Трех матерых зайцев Сережка спас час назад. Они панически метались по крохотной косе, теперь уж, наверно, скрывшейся под водой. Четвертого паренек снял с проплывавшего мимо лодки бревна. Этот вот четвертый, с виду такой робкий и тихий, до крови оцарапал Сережке руку, когда тот схватил его за длинные, в рыжеватых подпалинах уши.

С трудом запихав вырывавшегося буяна в жесткий мешок, Сережка стянул его поспешно надежным ремнем. А уж потом только полизал языком кровоточащую ссадину. И снова как ни в чем не бывало взялся за кормовик.

— Папане прошлой весной матерый белячище вот даже так — до самого мяса — полоснул когтями,— сказал он минутой позже.— Цельный месяц папаня с забинтованной рукой ходил.

Глянул вперед и тотчас добавил:

— Приналягте на весла. Тут ух какое течение!

И я изо всех сил priналег на весла. Сережка помогал мне своим широким кормовиком.

От напряжения упругие щеки паренька разгорелись, а над тонкими, в ниточку, дегтярно-черными бровями проступили светлые капельки.

Вскоре лодка вошла в спокойную, прямо-таки сонливую заводь. Сережка расстегнул ворот у дубленого полушубка и вытер варежкой лоб. Улыбнулся:

— Не спешите теперь.

Мимо нас — то справа, то слева — проплывали грязно-серые пятачки — не затопленные еще бугорки и бугорочки. На одном островерхом бугре торчал ивовый куст. В развилке куста сидела, нахохлившись, ворона, следя пристально за крысиной мордой, высунувшейся из воды.

— А крысу спасать разве не будем? — спросил я Сережку. Спросил с самым серьезным видом.

Паренек кулаком сбил наехавшую на брови шапку.

— Была бы моя воля... я бы всех крыс переморил! Даже в придачу с мышами! — сказал он, сердито сверкнув белками.— От этих грызунов один сплошной вред!

Внезапно Сережка перебросил кормовик с правого борта на левый и сильно, рывками, заработал им, направляя послушную нашу лодочку к невысокому замшавелому пеньку.

Оглянувшись назад, я увидел на стоявшем в воде пеньке маленького, сжавшегося в комок зайчонка. Зайчонок дрожал от холода.

— Сушите весла! — подал команду Сережка, когда лодка поравнялась с замшавелым пеньком. И, привстав, ловко схватил за шиворот перепуганного насмерть зайчонка.

Теперь глаза паренька светились безмерной добротой.

— Экий шельмец, совсем застыл! — проворчал ласково Сережка и сунул живой пушистый комочек себе за пазуху.— Отогревайся, заинька, а вернемся домой, я тебя молочком напою.— Покосившись застенчиво в мою сторону, прибавил: — Ему ведь, чай, от роду денечков пять. Мамка, поди, покормиться убежала, а тут вода подкатила к гриве. И отрезала глупыша от мамки.

Я смотрел на Сергея. Смотрел и думал с теплым, ра-

достным чувством: «Хозяин. Растет молодой хозяин! Такому, когда подрастет, Степаныч смело может доверить свое большое хозяйство».

СКАЗАНИЕ О ДРЕВНЕМ ТЕРЕМЕ И ЛУКЕ БЕСКОРЫСТНОМ

В мае по просьбе одной московской газеты мне довелось поехать в командировку в Старую Руссу. Свою корреспонденцию я написал на месте же, послав ее в Москву авиапочтой. В запасе у меня было еще предостаточно времени, и я отправился в знаменитый город-музей, находившийся поблизости, чтобы подивиться его древним кремлем и другими не менее древними памятниками великого русского зодчества.

Моим экскурсоводом по городу чуть ли не с тысячелетней историей был местный старожил — сотрудник областной газеты, большой ценитель древности. На мое счастье, Серафим Максимович Дедушкин в данный момент находился в отпуске, и он целых три дня, не уставая, водил меня от одного живописного древнего храма к другому, не менее древнему, не менее величественному.

А к концу последнего дня, тихого, насквозь золотого от обилия льющихся с неба умиротворенно-ласковых лучей неистового майского солнца, Серафим Максимович — узкоплечий, тщедушно-сутулый с виду человек с впалой грудью и густой окладистой бородой Николая-чудотворца, смущающий своими глазами с дьявольски-задорным блеском,— сказал чуть насмешливо и чуть загадочно:

— Нуте-с, скажите-ка напрямки: не утомил вас бородатый сумасброд? Нет?.. Это честно?.. Тогда, может, прокатимся за город? Не пугайтесь, не более километров семь до того места... я бы выразился: святого из святых. К счастью, не все дотошные туристы про тот уголок знают. А вы, как я полагаю, не пожалеете о потерянной паре часов.

Я тотчас согласился. Неподалеку от собора, который мы только что внимательно осмотрели, стоял старый, первого выпуска, «Москвич» Серафима Максимовича, и мы, усевшись в этот «скрипучий рыдван» — по меткому выражению его хозяина, покатили по булыжной мостовой вон из города.

Сразу же за последними постройками потянулись небогатые северные поля, зеленые холмы, хмуроватые ельнички. Поля тянулись до самого горизонта с редкими кучевыми облаками, показавшимися мне до предельной крайности одинокими, никому-то не нужными.

В этих местах, по народному преданию, располагались когда-то в седую старину на отдых полчища хана Батыя, собиравшегося сокрушить твердыню русского православия.

И снова сквозящие бирюзой перелески, снова поля, снова невысокие, манящие к себе горушки. Дорога все время виляла то вправо, то влево.

«Где же это Боголюбово, до которого, Серафим Максимович сказывал, всего-то-навсего километров семь? — недоумевал я, оглядываясь по сторонам.— Мы, наверно, все десять отмахали».

А через несколько минут дорога круто свернула влево за березовую жидковатую рощицу, и внезапно перед нами показалось село с белокаменной восьмиглавой церковью.

На площади у сельсовета неутомимый Серафим Максимович остановил своего пропыленного «Москвича» с вмятинами и шрамами, словно он только что вырвался из-под яростной бомбежки. Выключив мотор, Дедушкин бодрым шагом направился к резному, с витыми балясинами крыльцу.

Было воскресенье, к тому же давно завечерело, но Дедушкина это не смутило. Взбежав на крылечко, он решительно распахнул дверь и гулко прокричал в полутемные прохладные сени:

— Лукич, ты не спишь?

Чуть погодя, кряхтя и охая, в дверях показался однорукий старик в посконной косоворотке, лаптях и модных очках в круглой пластмассовой оправе.

— Здравия желаю, Серафим свет Максимыч! — прошамкал странный с виду этот древний дед.— Не забываешь ты меня, душа-человек! Спасибочко тебе за память!

— Извини, Лукич, вот гостя привез. Просим тебя: покажи-ка нам свой терем-теремок.

Лукич вприщур посмотрел на меня из-под коричневато-черной руки, будто вырубленной из мореного дуба,

снова покряхтел, пожевал беззвучно тонкими известковыми губами.

— Это можно... Почему не показать? — сказал он немного погодя.— Обождите малость... кисет с табаком пойду прихвачу. А показать можно. Труда для меня большого в том нет.

И старик, повернувшись к нам медленно спиной, зашаркал по широким, выскобленным до восковой желтизны половицам сеней.

Вернувшись снова на крыльцо, Лукич запер дверь на ржавый висячий замчище, наверное, столетней давности, как и сам дед, спустился на землю, слегка поддерживаемый за локоть Дедушкиным, и мы поплелись в сторону церкви.

«Храм как храм,— думал я,— и ничего-то в нем, кажется, нет примечательного. За эти три дня мы такие соборы повидали, что этот заурядный храмик никого ничем не удивит».

Серафиму Максимовичу я ничего не сказал. А покорно шагал вслед за ним и чуть не разваливающимся от древности Лукичом.

Едва же мы завернули за угол церкви, как перед глазами нежданно-негаданно возник холмистый муравчатый взгорок в крапинах огненно-оранжевых цветов-пуговок. На фоне же лениво плывущих облаков с изумрудно-синими просветами неба четко обозначился стройный, легкий силуэт деревянной часовенки, обласканной склонившимся к горизонту солнцем.

Ничего потрясающего будто не было в этой махонькой часовенке, срубленной из вековых сосновых бревен непомерной величины,— так обычно заботливо рубили плотничьих дел мастера крестьянские избы. По обеим сторонам прямо-таки воздушного крылечка часовни дыбились седые ели, а между ними топорщились замшелые валуны.

— Взирайте и дивитесь, на что были сподручны наши пращуры,— проговорил с одышкой Лукич, взобравшись на зеленеющую приветливо горушку, обдуваемую всеми ветрами.— Без единого гвоздика сложена часовня, и конопатки никакой. А бревно к бревну как литые лежат. И вся-то работа до того в аккурате... примечаете? Одними топорами махали мужики, а чудо эвон какое сотворили. Возьмите, к примерности, маковку... вся она вроде бы

прозрачная и радостная... что тебе птица-сирен по лазоревому поднебесью парит. А крылечко? Резное от начала до конца, ровно девичье кружево. Ноне днем огнем не сыщешь эдаких умельцев-древорезцев.

Дед передохнул, ловко скручивая правой, единственной своей рукой цигарку. А потом раздумчиво протянул, глядя на серебрившийся в вышине, на чешуйчатой главке, крест:

— Балакали допрежь... книга велась такая... церковная, знатное дело. Да ее куда-то запропастили еще в коллективизацию. Так по той книге вроде бы значилось: о тысяча семьсот... не то десятом, не то пятнадцатом... во-о когда часовню нашу вознесли!

Лукич долго курил, глубоко затягиваясь, отдыхая на убогой скамье напротив часовни-терема.

А я все глядел и глядел на одухотворенное это чудо, глядел не отрываясь, и мне мнилось порой, что часовенка и в самом деле вот-вот оторвется от земли и вознесется гордым лебедем в пурпурное поднебесье.

Докурив самокрутку, старик сказал:

— Мне, робята, пора... я ведь на казенной службе. Вдруг какого-нибудь начальника нелегкая дернет из района позвонить... А сельсовет на запоре.

И он, с трудом разгибая спину — когда-то могучую, а сейчас мосласто-костлявую, поднялся со скамьи.

У сельсовета мы попрощались с дедом. Я предложил ему пачку «Беломора», тот наотрез отказался ее взять.

— Разве это табак? — Лукич с пренебрежением махнул рукой.— Так, одно баловство. Только свой самосад признаю. Ну, прощевайте... кто знает, свидемся ли еще когда. Мои-то дни теперича минутами отсчитываются. А ежели зимой не помру, приезжайте еще... Всего вам наилучшего, друг ты мой бесценный, Максимыч!

Всю обратную дорогу до города мы молчали. А когда подкатили к гостинице, где я остановился, Серафим Максимович как бы между прочим сказал:

— Если б не Лукич... не видать бы нам с вами чуда этого... песни былинно-русской.

— Как так? — удивился я.

— А так... от разорителей немцев спас старик древнюю часовню. Спалить ее хотели фашисты при отступлении, да он не допустил. Потому-то без руки и остался.

СИРЕНЬ И ДЕВУШКИ

Горячо сияет полноводная Волга. Влажно голубеет асфальт. Дома тоже умыты прошумевшим поутру веселым дождичком. Не всегда у нас в мае бывают эдакие благодатные деньки.

По шумной оживленной улице в солнечных зайчиках идут две девушки. На них белые воздушные платьица. И у каждой в руке по букету сирени — тоже белой. Эти букеты, слепящие глаза первозданной белизной, девушки прижимают к груди — так они огромны.

— Восхитительная сирень! — вздыхая, говорит идущая навстречу девушкам старая женщина в черном костюме — возможно, учительница-пенсионерка.

Девушки смущенно алеют, пряча горящие лица в приятно холодящие кожу упругие грозди.

Обгоняет подруг долговязый верзила парень. Оглядываясь через плечо, прищелкивает языком:

— Ну, ну! Классные букетики!

И девушки снова смущаются.

Не было встречного, который бы не ахнул при виде сирени — и в самом деле изумительной.

Я шел за девушками и дивился: все встречные восхищались сиренью, но никто не заметил, как трогательно милы сами девушки.

МИМОЛЕТНАЯ ВСТРЕЧА

Наверно, не часто встретишь человека, который не остановился хотя бы на миг, заслышав из недосягаемой лесной дали печальное и нежное «ку-ку».

Меня почему-то всегда волнует непостижимо таинственный голос нелюдимой кукушки. В этих как бы несложных звуках слышится и безысходная тоска, и неистраченная нежность, и страстный призыв одинокой души к другой — такой же мятущейся и одинокой.

И, пожалуй, не всякий может похвастаться встречей — хотя бы раз в жизни — с кукушкой. Мне, к слову, уж за пятьдесят, а впервые лесную затворницу увидел вблизи лишь этой вот весной.

Как-то в середине мая, около полудня, отправился я в близлежащий лесок.

К этому гостеприимному леску за дачным поселком строителей я был особенно неравнодушен. Он весь пестрел светлыми полянками, сквозящими рощицами, каждоминутно напоминая мне родное Поволжье. Березовые колки перемежались тут с зарослями осинника и сосняка.

Озорная, беззаботная тропа, легкомысленно вилявшая из стороны в сторону, вывела меня на знакомую солнечную прогалину.

Чуть ли не вплотную подошел я к худосочному дубку-подростку с надломленной вершинкой, так неосмотрительно облюбовавшему себе беспокойное местечко возле торной тропы, когда вдруг из-под его нижней ветки вынырнула крупная — побольше голубя — серая птица. Не спеша взмахивая крыльями — тоже серыми, как бы слегка успевшими уже выгореть на пристальном майском солнце, птица пропарила к ближайшей сосне, стоящей одиноко на припеке, метрах в тридцати — сорока от дубка.

«Что за незнакомка? — подумал я, не двигаясь с места.— Вся невзрачно серая, а на хвосте — это я приметил — белые крапины».

Попытался разглядеть птицу, опустившуюся на приземистую сосну, но отсюда ее не было видно.

И тут снова случилось непредвиденное. Над тихой прогалиной пронеслось призывное, страстное «ку-ку».

Раз пять прокуковала кукушка, поразив меня своим сочным, мелодичным голосом. Тотчас в ответ из дальнего ельничка послышалась верестяще картавая трель: «Кли-кли-кли».

Сорвавшись с ветки, самец устремился к чащобе за прогалиной, мерно махая серыми, как бы слегка выгоревшими крыльями.

Я же свернул с торной тропы и пошел в другую сторону. Мне не хотелось мешать свиданию.

ВОРОНЬИ КАЧЕЛИ

— А не двинуть ли нам напрямки через колок? — раздумчиво проговорил товарищ, когда ранним утром, распрощавшись с бабкой Тарасовной, пустившей нас вчера переночевать на сеновал, мы вышли на улицу.— Дорогу я знаю: не раз хаживал лесом на станцию.

Я шутливо сказал:

— Веди, Сусанин!

Товарищ свернул в проулок. Шагали по росной траве мимо покосившихся плетней. Огороды скоро кончились, и мы очутились возле лесной опушки.

Между деревьями, путаясь в траве, стлался голубой туманец. Кое-где густые хвосты тумана опоясывали комли лип и осин, и тогда казалось, будто деревья не касаются земли, а висят в воздухе.

Потянуло из леса влажным легким ветерком.

Где-то неподалеку цвела черемуха, и она сразу же отозвалась, отдала ветерку свой нежный запах, каждую весну так всех нас волнующий.

— Чуешь? — спросил друг, оглядываясь.

Взгляды наши встретились.

— Чую,— улыбнулся я в ответ.

По разнотравью, оставляя позади себя мокрый, сочный след, мы вошли в лес. Чуть ли не из-под ног вспорхнула быстрая трясогузка. И тотчас скрылась в зарослях орешника, обласканных косым дымным лучом солнца.

Мой долговязый товарищ шагал споро, и я едва за ним поспевал. Порой хотелось остановиться то на золотой от головок одуванчика полянке, то на берегу округлого озерка, наполненного до краев вешней водой — чистой как слеза. Все дно озера было щедро усыпано древними монетами — прошлогодними листьями. Даже консервная банка, брошенная в водоем озорным мальцом, выглядела драгоценным музейным сосудом.

Но едва я замедлял шаг, как товарищ, точно угадав мое намеренье, грозил кулаком. Он даже не оглядывался, когда поднимал над головой кулак.

Вздыхая покорно, я устремлялся вперед, про себя обзывая друга черствым человеком, у которого вместо сердца смрадно чадит в груди головешка.

Теперь я уж старался не глядеть по сторонам, чтобы не бередить душу. Лишь изредка смотрел на сочно-синие лоскутки неба, проглядывающие между вершинами деревьев.

И вдруг, когда мне подумалось, что вот-вот за редеющими деревьями покажется платформа полустанка, товарищ мой остановился. Остановился совершенно внезапно, словно стукнулся лбом в невидимую стену. Повернув ко мне голову, он предостерегающе прижал к губам палец.

Осторожно, чуть ли не на цыпочках, я приблизился к молодым елкам, возле которых остановился друг.

Только собрался спросить его: «В чем дело?», как по ту сторону ершистых елок трескуче прокричала ворона.

— Погляди между веток,— прошептал мне на ухо товарищ.— Да тише смотри, а то спугнешь.

Я отвел от лица колючий сук и увидел крупную носатую ворону. Она сидела на голой осиновой ветке, нависшей над землей, и раскачивалась. Раскачивалась, будто на качелях.

Когда ветка замирала, ворона растопыривала крылья, как бы намереваясь взлететь, и гибкая ветка начинала сызнова раскачиваться.

«Кар-р-р! — ликующе каркала ворона.— Кар-р-р!»

Не знаю, долго ли еще резвилась бы проказливая ворона, но тут послышались ребячьи голоса. И осторожная ворона покинула свои качели. Лениво махая большими крыльями, длинноносая поднялась на вершину березы, стоящей неподалеку от старой осины.

На поезд мы опоздали. Но, признаюсь, никто из нас не роптал. Не всегда ведь можно видеть, как развлекаются мрачные вороны.

СЧАСТЛИВАЯ ПОЛЯНКА

Этим летом у нас на Волге ягод уродилось видимо-невидимо. Каждый день в сосновый бор отправлялись в одиночку и целыми ватагами смешливые девчурки и степенные старухи, крикливые мальчишки и древние старцы. У одного в руках березовый туесок, у другого — корзинка, у третьего — алюминиевый бидон с тренькающей крышкой.

Ягодные места начинались сразу же на опушке и тянулись далеко-далеко в глубь старого бора.

Каждое утро и я отправлялся в лес. Отыскивал полянку, окруженную соснами — прямыми, точно бронзовые столбы, и сразу же «приземлялся». Доставал из вещевого мешка фляжку с колодезной водой, книгу и свежую газету. Так я проводил в этом году свой отпуск.

А часа через два или три, когда начинали уставать глаза, делал перерыв. Расхаживал по зеленой полянке в

солнечных трепещущих бликах, собирая душистую землянику — маленькие рябенькие ягодки, похожие на круглые, словно бы обкатанные, угольки.

Слаще и душистее нашей лесной земляники я еще не встречал на белом свете ягод.

Мимо меня то и дело проходили люди. Одни уже возвращались домой с полными корзинами, другие все еще продолжали собирать землянику.

Как-то облюбовал я крошечную, но такую уютную полянку. Здесь-то и проводил целые дни.

И полянка эта оказалась поразительно счастливой. Ко мне все время кто-нибудь да наведывался. То голенастая девчурка с голопузым сопливым братиком, то молчаливая, сосредоточенная бабка с огромной корзинищей, согнувшаяся в три погибели, то веселые говорливые мальчишки. У пострелов на троих одна обливная крынка, и они не столько ищут ягодки, сколько рассуждают о постройке межпланетной ракеты, на которой можно было бы слетать на Венеру и вернуться обратно домой.

И так весь день вокруг моей полянки снуют люди. И часто я слышу вздохи и ахи:

— Ну и ягоды здесь, бабыньки! Урево!

Пройдет еще часа два, и снова я откладываю в сторону книгу. Встану, подумаю: «Уж теперь, наверно, ни одной землянички не найти».

Но лишь отойду на несколько шагов в сторону, и вот они — уже светятся алыми искорками спелые ягодки. А ведь всего каких-нибудь полчаса назад здесь гнула спину сухопарая глазастая молодка.

Набираю полную горсть огнистых ягод. Улыбаюсь: на диво счастливую полянку отыскал я в старом бору!

ЧУДО СТАРОГО БОРА

Каждое лето, приезжая на родину, я тотчас спешу в сосновый бор — старый, весь пронизанный золотыми солнечными стрелами. Этот бор тянется по-над Волгой чуть ли не до Подстепок — дальнего села в нашем районе.

Я помню этот бор с детских лет. Еще мальцом бегал сюда с приятелями, бегал по ягоды и грибы, бегал и просто так — поваляться на земле, прикрытой пластами пружинисто-сухой хвои, пахнущей скипидаром и земляникой.

Так было и этим летом. На рассвете я сошел с теплохода, следовавшего из Москвы до Ростова, а уже в полдень был в старом бору — будто заявился в гости к закадычному другу.

Родные говорили: до моего приезда чуть ли не две недели шпарили дожди. И лишь с позавчерашнего дня установилось наконец-то вёдро. Мне советовали надеть видавшие виды кирзовые сапоги. Но я только улыбнулся. И отправился в лес в легких сандалиях.

Шел напрямки — с поляны на поляну, из лощинки в лощинку — и нигде не замочил нòги. Кругом было сухо. И воздух был сухой и легкий, насквозь пропитанный солнцем и смолкой.

Прямоствольные вековые сосны, как бы стремясь обогнать друг друга, тянулись до самого неба — у нас на средней Волге особенно высокого, высокого и густо-синего.

Здесь, внизу, не шелохнет былинка, но там — в вышине — зелено-кудлатые недосягаемые вершины зыбко раскачиваются из стороны в сторону, то и дело сталкиваясь друг с другом. И протяжно и глухо — неумолчно — гудят. Это в поднебесье гуляет ветер, шерстя маковки исполинов, точно вихрастых малышей гладит по головенкам.

Иду все дальше и дальше. Иду к кургану, полюбившемуся еще с детства. На кургане высится, ровно маяк, сказочной высоты сосна-богатырша. Даже в самый тишайший полдень, когда воздух, кажется, совсем улетучился с планеты и все в лесу омертвело, даже тогда басовито гудит сосна-богатырша.

И вот я у заветного кургана. В косых голубовато-дымных лучах склонившегося к западу солнца горит золотым ясным столбом царица леса.

По небу с ленцой, вперевалочку, плывут, будто сахарные, облака. И мнится — своими лебяжье-пуховыми животами облака задевают за щетинисто игольчатую макушку богатырши.

Закинув голову, я все смотрю и смотрю, не мигая, на раскачивающуюся, подобно маятнику, вершину древнего дерева, на проплывающие над ним облака.

Тут мне начинает казаться, что я уж видел однажды чудо — такое же вот первобытно-мощное и в то же время потрясающе красивое. Но когда, где это было?

И вдруг вспоминаю. Несколько лет назад мне довелось

побывать в Стамбуле. Вот там-то я и видел другое поразившее меня чудо — чудо византийского зодчества собор Ая-София.

Купол-полушар, венчающий собор, удивляет не только исполинским размером. Он поражает еще до сих пор умы человечества и своей земной, первобытной простотой, и необычайной, нерукотворной воздушностью, как бы паря в поднебесье.

Собор Ая-София и вспомнился мне у подножия величавой волжской красавицы, тоже как бы рвущейся ввысь, в заоблачные дали.

КАК МЫ ПОЙМАЛИ ЩУКУ

С этим большеголовым мальчишкой я познакомился на Татьянке. Через поля и перелески бежит, торопится светлая, веселая Татьянка к матушке Волге.

Раньше, в детстве еще, помню: ох и рыбы всякой водилось в речушке! И теперь, по старой памяти, когда бываю иным летом в Самарске у родных, непременно отправляюсь на Татьянку.

У Хомякова яра на Татьянке и повстречал я прошлым летом большеголового паренька — заядлого рыболова.

Он сидел в развилке старого сухостойного осокоря, накренившегося над бездонным омутом. Сидел себе преспокойно и удил.

Моя лодчонка стояла в тишайшей заводи неподалеку от яра. Отсюда хорошо был виден этот поджарый мальчишка, восседавший верхом на толстом крепком суку. От нечего делать он мотал голыми ногами, давно прочерневшими на жарком волжском солнышке.

Где-то далеко-далеко в степи, за притихшей к вечеру Татьянкой, собиралась гроза, и рыба совсем не клевала.

Я уже смотал удочки и сидел на корме, опустив ноги в теплую воду, наслаждаясь прохладой, робко опускавшейся на уставшую от зноя землю.

Там, у горизонта, клубились, волнуясь, сине-черные тучи, то и дело пронзаемые змейками-молниями. А тут, на самой середине Татьянки, плавал белый серпик месяца. Изредка из синеющего омута вырывались стеклянные всплески. Это, должно быть, жадные щуки ловчились заглотать месяц. Но легкий узкий серпик, с каждой минут-

кой делаясь все более золотистым-золотым, не поддавался хищницам, ловко увертывался, скользя по бесшумной волне, а когда рябь утихала, возвращался на прежнее место.

Я снова посмотрел в хмурую даль на сердито громыхавшие тучи. И решил отправляться домой. К ночи и сюда нагрянет ливень.

Тут я вспомнил про маленького упрямца, все еще сидевшего на старом осокоре. Вспомнил и крикнул:

— Эй, парень! Поплыли в город!

Мальчишка ответил не сразу. Вот он не спеша смотал одну удочку, потом другую. Горестно так вздохнул — до меня отчетливо долетел трагический его вздох. И лишь после этого недоверчиво спросил:

— А вы, дядя, сами-то тутошний?

— Тутошний.

— А на какой улице живете?

— На углу Садовой и Полевой.

Весело ахнул мальчишка:

— Так я тоже на Садовой... рядышком с Полевой.

— Выходит, соседи мы с тобой! — засмеялся я.— Весь вечер сидели рядом и не знали об этом.

С кошачьей проворностью парнишка полез по корявому суку, нависшему над омутом. Благополучно спустившись на землю, он ненадолго пропал в густущем тальнике, разросшемся на берегу яра.

Вынырнул мальчишка из кустарника у самой лодки. Обе руки его были заняты: в одной удочки, в другой — ведерко.

— А ты все же с уловом? — спросил я парнишку.

Он солидно, по-взрослому протянул:

— Баловство... четыре верхоплавки да три окунишка. За целый-то день!

И поставил ведерко на нос лодки.

— И то добыча! — ободрил я рыбака.— Как тебя звать-то?

— Кирюшкой.— Мальчишка заломил назад кепку с надорванным козырьком, почесал висок и рассудительно проговорил: — А как вы думаете... может, лучше выпустить малявок в Татьянку! Пусть растут! Жиреют!

— А ты дело говоришь,— согласился я.— К осени они, ей-ей, подрастут!

Кирюшка вздохнул, опять низко, прямо-таки до самых

смоляных бровей, надвинул картуз. И вдруг решительно схватил ведерко, выплеснул из него в речку воду:

— Радуйтесь, глупыши!

Минут через несколько мы отчалили от берега и поплыли вниз по течению. Я сидел на веслах, а Кирюшка за кормовиком. Негромко поскрипывали уключины. Где-то на левом берегу, в ложке, тоненько ржал жеребенок.

Месяц запутался в кисейном облачке, набежавшем на него, и отражался в Татьянке туманно и расплывчато. Зато за нашей верткой лодчонкой бежала шустрая звездочка — крупная, яркая, точно спелый апельсин. Такие глазастые звезды я видел только в далекой Африке.

И вдруг ни с того ни с сего во весь голос закричал Кирюшка:

— Ой, караул!

Бросил я весла и к мальчишке:

— Что с тобой?

А он с перепугу и слова вымолвить не может. В этот миг в полнеба полыхнуло огнистое немотное пламя. И увидел я в ногах у Кирюшки, опасливо приподнятых над сланью, большущую зеленую щуку. Она вся извивалась и била по слани хвостом. Схватил я деревянный черпак, валявшийся рядом, и оглушил щуку. А потом присел на корточки, зажмурив ослепшие внезапно глаза.

— Она... она вот та-ак вымахнет из воды... вот та-ак прыгнет в лодку,— придя в себя, сиповато проговорил сконфуженный Кирюшка.

Открыл я глаза, а перед ними все еще извивалась зеленая щука, теперь еле различимая в дегтярных потемках. И мне стало почему-то смешно.

— Ну и ну! — сказал я весело.— Поймали ж мы с тобой рыбищу на уху!

Хмыкнул Кирюшка. Хитро так хмыкнул.

— А правда, дядя... давайте всем будем говорить... всем будем говорить про то, как мы помучились с этой щукой, пока ее, зубастую, в сачок не заарканили!

АРТЕМКА И СОЛНЫШКО

Ни свет ни заря ускакал папка на шустром Серко в лесничество. Накормив Артемку, ушла в питомник и мать.

И вот на всем кордоне Артемка один-одинешенек.

Когда теперь они вернутся — папка и мамка? Не скоро! Наверное, когда усталое солнышко начнет потихоньку, чтобы не ушибиться, сползать с неба во-он к той белоногой березке.

Чтобы не пропадать от скуки, Артемка придумывает разные игры. Сперва пускает в корытце с теплой сонной водой кораблики. Эти кораблики из толстущей сосновой коры вырезал Артемке отец. Но кораблики почему-то сегодня не хотели играть с Артемкой, они не плавали, а все тыкались острыми носами в шероховатые стенки корыта, будто слепые котята. Наверное, они, сонные тетери, не отоспались за ночь! Помучился, помучился Артемка с корабликами и пошел прочь, хмуря еле приметные белесые брови.

Но вот придумана новая забава. Молодцевато вскочив на удалого Серка — гибкий таловый прут, бросается Артемка в атаку на лютого врага. Вместо острой звонкой сабли в руке у Артемки длинная смолкая лучинка для растопки. Но это только так кажется со стороны, будто в Артемкиной руке мамакина лучина. На самом же деле это грозная кавалерийская сабля. Точь-в-точь такая же, как у папакиного дружка Антипыча. Свою саблю Антипыч бережет пуще глаза. Она досталась ему в наследство от отца — красного партизана. Увивался, увивался Артемка однажды вокруг Антипыча, прося дать ему хоть подержать в руках бесстрашную ту саблю, но ничего путного из его ласканья не вышло. Не дал строгий Антипыч подержать Артемке саблю. Ну, да и пусть! Теперь у Артемки своя бесстрашная сабля. От нее тоже не жди, вражина, пощады!

Но во время самого жаркого-разжаркого боя, когда Артемка сплеча рубанул по железной башке наиглавнейшего фашиста, закопавшегося в землю по плечи и для отвода глаз прикинувшегося старым дубовым пенечком, в щепки разлетается острая боевая сабля.

Бросает Артемка обломок лучины, вытирает рукавом ситцевой рубашонки горячий пот со лба.

— Прискачет папка, скажу ему: сделай мне настоящую саблю,— сипло говорит Артемка, еле шевеля пересохшим языком. И осоловело бредет к завалившемуся набок сарайчику. Босые в цыпках ноги то и дело спотыкаются.

— А вы идите, не ленитесь! — сердится Артемка.

И ноги слушаются. Вот и травушка-муравушка шелковая. Навзничь бросается Артемка на мягкую, упругую, что мамакина перина, траву.

Блаженствует Артемка. С боку на бок переваливается по духовитой траве, будто озорной жеребенок. А повалявшись всласть, долго смотрит из-под руки в небо.

Ох, уж и далеко от Артемки синее-рассинее небо. Оно синее мамакиной синьки. И по этой не запятнанной ничем сини плывут слоистые, что твои сдобные коржики, облака. И все-то облака разные: одни белые, другие серые, третьи перламутровые, а четвертые... какие же четвертые? Дымно-бирюзовые.

От долгого гляденья на небо начинает Артемке мерещиться, будто не облака несутся в ликующей выси, а он, Артемка, вместе с прочерневшим от старости сараишком несется как полоумный неизвестно в какие неведомые края.

Иное облако наплывало на горячее солнышко, и то сразу бледнело, делаясь похожим на круг смерзшегося молока. Тогда-то Артемке чудилось другое: солнышко пускалось вскачь, чтобы как можно скорее вырваться из ледяных объятий коварной, с виду такой безобидной тучки. Оно спешило на вольный простор не только для своего удовольствия. Солнышко знало, что Артемке без него не прожить, и все бежало и бежало по облачным ухабам, пока не вырвалось из кисейного плена.

ХРОМОЙ ЖУК

Звонкий летний денек. Все дальше и дальше от кордона манила Артемку незнамая лесная тропка. Она как бы светлым ручьем струилась то между стволами сосен, снизу исполосованных глубокими морщинами, то круто сворачивала в сторону, огибая серебрившуюся полынком горушку, то ныряла в частый осинник, бьющийся в страшной лихорадке.

Эта одичалая рощица чудилась Артемке злодейским царством бабы-яги, кишащим лупоглазыми чудищами. И хотя у Артемки стыла, леденела спина, а волосы на го-

лове вставали дыбом, ноги как-то сами собой несли и несли его к шепеляво лопочущей что-то гиблой чащобе.

Но веселая тропка, которой так бесхитростно доверился Артемка, не выдала его бабе-яге... Он не помнил даже, как промчался, словно пролетел на крыльях, через пугающий этот осинник. И вот уже, обомлев от счастья, уставился Артемка на белозорную светлынь ромашковой поляны.

Потеряв одну тропку, Артемка находил другую и все брел и брел дальше, на время запамятовав и о доме, и о мамке, собиравшейся накормить семью по случаю воскресенья пирогами.

У одного необхватного пня-великана, похожего на круглый обеденный стол, Артемка приметил зеленую ящерку. Дремала ящерка на краю пня, пригретая добрым солнышком.

Неслышно подкрался Артемка, занес было руку, чтобы схватить ящерку за тонкий стеклянно-чешуйчатый хвостик, да та вовремя очнулась. Очнулась, пошевелила сплющенной головкой, и след ее простыл.

Долго ползал на коленях Артемка вокруг пня, вороша жарко шуршащие стебли жесткой осоки да душистые кустики иван-чая, все еще надеясь отыскать увертливую ящерку.

Вдруг Артемке кто-то пригнул к земле голову. И тотчас над самым ухом стремительно пролетела, зло жужжа, пуля. Прожужжала и шлепнулась в траву шагах в двух от перепуганного насмерть Артемки.

«Вот те на! — подумал Артемка, все еще не решаясь поднять головы.— Откуда эта пуля в лесу нашем взялась? Неужто война пришла?»

Раздвинул Артемка руками траву и увидел жука. Черный блестящий жук сидел в розовой чашечке цветка и преспокойно так чистил передними лапами хоботок.

— Ах, это ты меня напугал! — сердито проговорил Артемка.— Накажу я тебя сейчас. Возьму вот и убью!

И он, недолго думая, сорвал цветок и вытряхнул жука из розовой чашечки. Жук упал на пенек кверху лапками.

— Попробуй уйди теперь от меня! — засмеялся Артемка.— Теперь тебе не уйти, не улететь!

А черному жуку погибать не хотелось. Вытянул он передние лапки, да и попытался опереться ими о шероховатую поверхность пенька. Но лапы эти были коротки, и как ни силился жук, а пенька ими не достал.

— Выкусил? — ликовал Артемка.— Барахтайся не барахтайся, а все равно ничего у тебя не выйдет!

Тут жук вытянул средние и задние лапы. Коснулся лапами пенька и чуть сдвинулся с места. А через какую-то минуту черный жук крутился по пеньку, точно волчок. Крутился и крутился, все в одну сторону, а перевернуться вверх спиной так-таки не мог.

Забыв о своем мщении, Артемка с любопытством склонился над пеньком. И увидел вот что: одна задняя лапка у жука совсем не двигалась. Потому-то он и крутился в одну сторону, потому-то он и не мог перевернуться вверх спиной.

— Я думал, ты страшный, а ты просто хромой инвалид,— разочарованно протянул Артемка.— Живи уж, чего с тобой делать!

Сухой былинкой Артемка помог жуку перевернуться вниз брюшком.

Жук обрадовался и поспешно заковылял к самому краю пня, волоча за собой мертвую лапу. Он так торопился, он так боялся, как бы его снова не сцапали... До края пня было еще не близко, когда жук внезапно загудел и взвился вверх.

ВАРВАРЫ

Все лето я провел в городе. На мое счастье, гнетущей жары не было. Небо то и дело хмурилось, часто перепадали дожди — веселые брызгуны-торопыги.

Обычно с утра сияло солнце, но уже часам к одиннадцати в безмятежно лазурной синеве неба начинали показываться, невесть откуда взявшись, легкие, кисейно-белые облачка, поражающие своей правильной округлостью. А чуть погодя над городом — из конца в конец — уже перекатывался гром, оглушая устрашающими громыханиями все живое. И только что прикрытые створки окна уже кропил светлый дождь, блестя на солнце янтарными бусинами.

Иногда этот озорной дождичек вскоре переставал, чтобы, набравшись силы, под вечер разразиться ливнем, а в другой раз так и сорил с ленцой до заката.

В такое время работалось споро. И все же к концу недели я смертельно уставал. Тогда в субботу — если не было дождя — отправлялся в Малинино. В этом дачном подмосковном поселке жил давний мой знакомый инженер. У него-то всегда находилась для меня свободная комнатуха.

Случалось, я приезжал в Малинино поздно. Из душных вагонов электропоезда на сырую платформу высыпало много людей с рюкзаками за спиной, толкаясь и пересмеиваясь. И все как-то мгновенно разбегались кто куда.

А я, дождавшись ухода электрички, с минуту-другую стоял, оглядываясь по сторонам.

Несмотря на поздний час, было странно светло, странно тихо, неправдоподобно тихо после безмерно шумной, суетной Москвы. И все вокруг было мокро: и высокая сочная трава, отягченная тяжелыми зернистыми каплями недавно прошумевшего здесь ливня, и жирная, серовато-фиолетовая скользкая дорожка, и сизые, заснувшие ели, растопырившие во все стороны добрые свои лапы, и крыши дач, и прочерневшие заборы.

Спустившись с платформы, я шел не торопясь через негустой лесок, пахнущий хвоей и полевыми цветами, в сторону поселка.

Неподалеку от дома моего знакомого, на соседней улице, по которой мне приходилось ходить и со станции и на станцию, стояла голубенькая дачка за невысоким решетчатым заборчиком, тоже голубеньким. Дачка как дачка, ничем решительно неприметная, но я всегда останавливался возле нее и любовался росшими посередине полупустынного участка березками.

Их было пять. Пять стройных дружных сестричек, тесно прижавшихся друг к другу. Они всегда были пригожи, эти бесхитростные березки: и в тихий безветренный день, и лунным призрачным вечером, и в ненастную дождливую пору. В любое время года березки украшали землю, радовали людей неброской, скромной своей красотой. И на тихих дружных сестриц засматривался не я один.

В поселке росло много и берез, и елей, и кленов, но

почему-то вот это милое семейство трогало прохожих, заставляло чуть ли не каждого умерять шаг.

Не часто наведывался я в Малинино. В августе же и совсем не ездил. Лишь в конце сентября выбрался за город.

Приехал в Малинино днем. Светило солнце, и было на диво тепло и тихо. В багровых зипунах стояли клены. Побронзовели и жесткие кругляши на многих березах.

«А как сестрицы поживают? — спросил я себя, приближаясь к ничем не приметной голубой дачке.— Наверно, тоже в золото убрались».

Дойдя до перекрестка, я остановился в недоумении. Дачки с березками-сестричками не было в этом квартале.

«Уж не ошибся ли улицей? — подумал я.— Нет, не ошибся. Это та же улочка, по которой всегда ходил со станции и на станцию».

Навстречу мне медленно двигался, с трудом переставляя отекшие ноги, сгорбленный старик.

— Вы не скажете, где здесь дача с березками? — спросил я встречного.— Приметные такие были березки.

— А тут вот они стояли.— Старик жестко ткнул коротким узловатым пальцем в сторону дачки с уныло покосившимся крыльцом. Почему-то раньше я не замечал этого накренившегося набок крылечка с замшавелой дранковой крышей.— Срубили березы. В один час порешили.

С недоумением смотрел я в смертельно усталые, глубоко запавшие глаза старого и, по всему видно, тяжело больного человека, решительно ничего не понимая.

А он, пользуясь непредвиденной остановкой, не спеша достал из кармана заношенного пиджака дешевую папироску. И так же не спеша закурил.

— До недавнего времени здесь учительница-пенсионерка проживала. Теперь померла. А дачу племяннику завещала... циркачу какому-то.— Старик помахал рукой, отгоняя тянувшийся в мою сторону ядовито-сизый дымок.— Ну и помешали племянничку с жинкой эти березки. Прямо-таки поперек горла встали: места, видишь ли, много занимали. Теперь клубнику тут посадят.— Передохнув, старик отрубил твердо: — Одним словом — варвары! Разве от таких добра дождешься?

Смачно плюнул в сторону и поплелся по чугунно-бесчувственной тропке куда-то дальше по своим делам.

БРАНДАХЛЫСТ

Все лето Москва изнывала от жары. Спасенье было лишь за городом. Каждый день после работы отправлялся я в дачный поселок под Клином, затерявшийся среди холмов и перелесков.

Вечерами — длинными и светлыми чуть ли не до полуночи — сиживал в конце небольшого сада, отдыхая от городской сутолоки. Тут было тихо и по-деревенски уютно.

Неподалеку от меня, чуть накренившись в сторону совсем крошечного озерка, по берегам заросшего сочной осокой, отливающей синевой, красовалась задумчивая яблоня. На большом сучкастом этом дереве лишь у самой маковки бледно пунцовели три яблочка. Всего-то-навсего! Но меня это нисколько не огорчало. Может, вот за эти-то три зеленых яблочка, запунцовевшие с бочков, обращенных к солнцу, я и полюбил ее, молчаливую, задумчивую, чуть-чуть грустную.

Готовя на кухне ужин, старая моя тетушка, приехавшая на лето в гости, изредка бросала под яблоню горстку риса или гречихи.

— Пусть пташки-канареечки поклюют! Пусть! — говорила она, весело улыбаясь.— А то червячки да букашки разные там и надоели, поди, им!

И вправду, скоро под тихую яблоньку стали слетаться разные птахи.

То серая мухоловка сядет на самую нижнюю ветку. Сядет и замрет на миг-другой. А потом, осмелев, опустится на землю и, поводя хвостиком с продольными пестринками, скакнет к бисеринам риса, так отчетливо белевшим на лиловато-жуковом черноземе. А то и юркая садовая славка, сверкая белесой грудкой, точно накрахмаленным передником, прилетит полакомиться даровым обедом.

Но чаще других птиц у яблоньки увивались горихвостки.

Вначале прилетал самец. Звонко посвистывая, как бы обращаясь к самочке с позывными, этот щеголь, перепархивая с ветки на ветку, все ниже и ниже спускался к земле. На последней, рогульчатой ветке самец сидел с минуту, забавно подергивая ярким ржаво-рыжим хвостом. Вначале хвостик покачивался сильно вверх и вниз, вверх и вниз, затем эти покачивания становились слабее и слабее...

Тут, убедившись, что никакая опасность его не подстерегает, самец свистел еще громче, призывая подружку. А когда прилетала и она — как-то совершенно незаметно, темно-бурая, скромная, самец прыгал на землю. Не теряя зря время, он сразу же принимался клевать рис. Вслед за ним слетала под яблоньку и самочка. Но не успеет она и трех зерен склевать, а на нижнюю ветку с шумом опускается новая горихвостка — по оперенью явно самец. И тотчас принимается истошно кричать: «Чу-уит! Чу-уит! Чу-уит!»

— Ну, что ты орешь? — спрашивал я с досадой горлопана.— Опускайся на землю да и клюй себе на здоровье!

Но птенец — вскоре я догадался, что это был птенец,— и не думал следовать доброму совету. Он настойчиво орал до тех пор, пока самочка, захватив в клюв зерно, не вспархивала к птенцу на ветку. Сунув в широко открытый клюв своего выкормыша зернышко, мать поспешно опускалась на землю. А тот уже опять нагло требовал: «Чу-уит! Чу-уит!»

И маленькая мать, схватив поспешно новое зерно, летела к прожорливому детенышу.

Однажды тетушка высунулась в окно — верно, собиралась что-то сказать мне — да так и замерла, подбоченясь. С детским удивлением взирала она на разжиревшего пташкиного дитятку, уже превосходно научившегося летать, но все еще не желающего добывать себе пропитание. Его все по-прежнему кормила из клюва худенькая безропотная мать, подбирая с земли зерна риса.

— Ну, ну! Ну и тунеядец! — сердито, в сердцах сказала тетушка.— И как ему, захребетнику, не совестно?.. Да и она тоже... эта самая горихвосточка. Ну, зачем, неразумная, на свою шею воспитала такого брандахлыста?

А «брандахлыст», сидя в это время на нижней рогульчатой ветке задумчивой яблони, все так же нахально кричал: «Чу-уит! Чу-уит!»

«В ПУТЬ! В ПУТЬ! В ПУТЬ!»

Виктору Московкину

В конце августа у нас на Волге природа все чаще и чаще начинает задумываться. Вот и нынче выдалось утро серое, безветренное, как бы о чем-то взгрустнувшее.

Я покидал Подстепки с надеждой к обеду прийти домой в город.

«Только бы не было дождя»,— думал я.

Проезжая дорога, разбитая грузовиками, бежала вдоль опушки бора, огибая его с юга, но я не пошел по ней, а свернул на еле приметную в осоке тропку.

С детства люблю малохоженые лесные тропы. Эта же продиралась через самую чащобу сосняка и казалась особенно одичалой.

Не все, видно, знали притаившуюся в густущей полегшей траве лесную тропку. А она была самой близкой от села до города.

В старом бору тихо и сумрачно. Шел скорым шагом, беззаботно помахивая вязовым прутиком. Через час тропа уперлась в заросшее ряской болотце — совсем мне незнакомое. Тут-то я и понял, что заблудился.

Стоял на краю болота с прочерневшей тяжелой водой, глядел на такие же прочерневшие сосны, высоким частоколом подступившие вплотную к воде, и думал: «Куда же это ты, милок, забрел? В гости к лешему, что ли?»

Вдруг в набрякшей тревогой тишине послышался за моей спиной птичий голос — отрывистый, негромкий. Пискнула птаха раз, другой и смолкла. И долго-долго не подавала голоса. А потом как затвердит настойчиво и призывно:

«Ву-путь! Ву-путь! Ву-путь!»

«А ведь пичуга зовет меня в путь»,— подумалось тут мне. И на душе сразу посветлело.

Прошелся я вокруг могучей сосны, рассматривая серебристые комки лишайника, облепившие ее ствол с северной стороны, и тронулся в путь.

А когда обогнул справа болотце, закурившееся лиловым туманцем, еще раз определил по деревьям север.

«Сюда и пойду! — сказал я себе.— Непременно выйду к «Калмыцкому бикету».

Невидимая пичуга снова подала голос: «Ву-путь! Ву-путь! Ву-путь!»

Казалось, теперь она была уже не позади, а впереди меня.

Скоро я снова вышел на знакомую мне с детства тропу. И еще до секучего проливного дождя добрался домой.

— Ты чему улыбаешься? — спросила жена, когда мы садились обедать.

— Просто так,— уклончиво ответил я. И поглядел на окно в мутных бегучих потоках. В эту минуту я не слышал шума дождя за окном. В ушах все еще звучал слабый, но такой настойчивый голосок лесной птахи: «В путь! В путь! В путь!»

ЗАГАДОЧНЫЕ БРАКОНЬЕРЫ

В одной деревне на Рязанщине у меня есть знакомый, дед Фома. Он помнил местного помещика, сражался с немцами в четырнадцатом и за один бой, в котором был ранен в ногу, получил Георгия. Фома видел и первый в их местах трактор «фордзон», купленный у американцев в двадцать пятом году разбогатевшим во время нэпа Хрумкиным. А в годы Отечественной войны этот самый Фома, по причине хромоты не попавший на фронт, возглавлял Редькинский колхоз, состоящий из одних баб и подростков.

В последние годы Фома — а его всю жизнь односельчане по-другому и не знали — жил на пенсии. Пенсия, правда, была до обидного мала, но старика не забывали сыновья, жившие в городе, и он не бедствовал. Летом же Фома сторожил колхозное озеро, в котором разводили для продажи городским жителям зеркального карпа.

В это лето карпа расплодилось в озере тьма-тьмущая, и Фома, обычно каждый год приглашавший меня в гости полакомиться сладкой, наваристой ушицей, сейчас зазывал в свое Редькино с напористой настойчивостью.

И я не устоял перед просьбой добрейшего, сердобольного старика, всю жизнь делавшего ближнему одно лишь добро, и как-то в пятницу махнул на электричке до Рязани. А там пересел на автобус и так часа через полтора уже сидел у дедова шалашика, подбрасывал в костер валежины и слушал неистребимого временем, плечистого, все еще не горбившегося Фому с огненно-алой бородищей в отсветах беспокойно-тревожного пламени.

— Все, мил-душа, до последнего времени шло как по графику,— зычно гудел Фома, стоя на коленях и очищая ножом головку лука от нежной слюдяной шелухи.— Тут

уж я не хвастаю: карп пошел на загляденье — один тяжелее другого, да вот, поясню тебе, ни с того ни с сего напасть приключилась, ядрена ее маковка! Объявились на мою головушку лихие люди, кажинную ночь тягают и тягают из озера рыбу. Иной раз в спешке даже обронят, живоглоты... Последние ночи напролет не сплю. Все гляделки проглядел, а на те — не уловлю, да и только!

Фома потряс над кудлатой головой, тоже огненно-рыжей, деревянным половником.

— У-ух, если б я столкнулся с одним хотя бы басурманом нос к носу... Я бы с ним побазарил!

После наваристой ухи, слегка попахивающей дымком, всегда необычайно вкусной, если ее варишь на костре, и жареных смолисто-черных карпов, я забрался в шалаш, благоухающий душистой мятой, и сразу мертвецки заснул.

Неутомимый же Фома, оказалось, снова до утра хромал по ощетинившимся камышом берегам глухого озера и снова, как и в прошлые ночи, не накрыл ни одного из увертливых браконьеров.

Едва на рассвете я вылез из шалаша, как ко мне подошел дед, сильно припадая на левую ногу. Поздравив с добрым утром, он показал тяжелого, словно бронзовый слиток, карпа.

— Глянь поди... ни единой души за всю ночь не уследил, а рыбу сызнова кто-то обронил на тропе!

Еще не улеглось возмущение на душе у расстроенного Фомы, когда к нам подскакал на бойком Бурке председатель колхоза Кошелкин — молодой человек, года три назад окончивший Рязанский сельхозинститут.

— Ни пуху вам, ни пера, а чтоб одни рыбьи косточки! — шутливо поприветствовал нас председатель. Добродушно-открытое лицо его, казалось, было вытесано из жженого кирпича.— Ну, сказывай, дед, чем потчевать будешь?

— Списывать этого деда в утиль пора, Егорий батькович! — проворчал Фома.— Цельную неделю ктой-то надо мной шутки шуткует, а я дознаться не могу!.. Тягают и тягают, хапуги, из озера карпа. Вроде сам леший наведывается. А лешего разве простой смертный схватит за хвост? — И старик показал найденного им поутру карпа.

Подтянутый, стройный Кошелкин легко спрыгнул с

бурого своего меринка, пустил его попастись на росный в низинке луг, а сам присел в тени шалаша: уж с рани начинало печь знойно июньское солнце.

Лукаво щуря желтые, что твой молодой медок, глаза, Кошелкин достал из объемистой полевой сумки две увесистых рыбины.

— В Дунькиной лощине подобрал,— пояснил председатель очумевшему вконец Фоме.— Ну, а в Дунькиной лощине, даже мальцам бесштанным известно, отродясь капли воды не бывало. Разве что в ростополь снежница день-другой поиграет, а потом скатится в овраг.

Мы все трое долго молчали. Но вот Кошелкин, все так же хитровато щурясь, сказал повесившему нос деду:

— Скипятил бы ты чай, что ли... Ни студня, ни жарехи не хочу, а чайком... чайком побалуюсь. У тебя он из брусничного листа, больно с охотой пьется.

Пока угрюмый Фома разжигал кострище, вешал на рогульку прокопченный чайник, председатель и решил наконец-то «разоблачить» неуловимых браконьеров.

— Две лисьи норы обнаружил в Дунькиной лощине. С выводками. Заботливые родители и таскают из нашего озера карпиков. Такие, мать их за ногу, пройдохи!

Фома вначале даже усомнился в справедливости слов Кошелкина. Ну, как, скажите на милость, могли плутовки лисы ловить из озера рыбу? Но председатель привел веские доказательства:

— Вернулся вчера Антошка, мой меньшой, с озера — купаться, пострел, бегал — и рассказывает взахлеб: «Папка, папка! А я чего видел!» — «Чего же,— спрашиваю,— ты, бегунок, увидел?» — «Стою,— сказывает Антошка,— в кустах у самого озера — иволгу выслеживал, а на берегу, в траве, лисица затаилась. Что, думаю, этой кумушке, тут надо? А в это время ветер как дунет, и на воду, у самого берега, бабочка-крапивница упала. Тут, откуда ни возьмись, карп. Только прицелился схватить бабочку, а его самого лиса цап-царап! И бежать!»

ВАНЮШКА И ВЕЖЛИВЫЕ КУЛИЧКИ

Прошлым летом я жил на Усе. Есть такая речушка у меня на родине в Жигулях. По мне, скажу вам, места эти лучше всякого Крыма.

Вода в Усе тепла и прозрачна. Белые песочки будто просеяны сквозь сито. По обоим берегам лесистые великаны. Гора с горой спорит: кто из нас выше, кто краше? В четверти же километра от моей палатки расхлестнулось волжское море: широкое-широкое, синее-синее.

Под выходной ко мне в гости из Ставрополя приплывал на моторке приятель — инженер-химик. Частенько за приятелем увязывался его десятилетний сынишка — долговязый Ванюшка, у которого, как и у моря, были бездонно синие глаза.

Я всегда радовался приезду Ванюшки. Этот смышленый малец был на все руки мастер.

Надо разжечь костер в непогодицу — попросите Ванюшку. Не успеете пару картофелин очистить для похлебки, как горка сырого валежника будет весело потрескивать, охваченная языкастым пламенем. Захотели молочка — Ванюшка мигом сбегает с бидоном в соседнее село. И принесет непременно утреннее, да такое холодное — пьешь, пьешь и еще пить хочется.

И рыбачил Ванюшка всегда удачливее нас, взрослых. За какой-то там час мог натаскать на удочку с блесной килограмма два щурят. Знал малец и ягодные места в горах.

— Дядя Витя, а куда корзиночка у вас запропастилась? — спросит Ванюшка, накупавшись в Усе до гусиных мурашек на спине.

Отыщу я плетушку. Схватит ее Ванюшка, легкую, узорчатую, подкинет раз-другой выше смолянисто-черной головы с залихватским чубом. А потом крикнет отцу, занятому починкой навесного мотора:

— Пап, я по ягоды!

— Смотри не заблудись,— предупредит отец сынишку.

— Чай, я не впервой! — улыбнется Ванюшка во всю свою круглую рожицу, обгоревшую на жарком солнышке. И побежит вприпрыжку по песчаной тропке в сторону зарослей ивняка, подступающих к горному отрогу.

А к обеду наш непоседа вернется с полной плетушкой душистой земляники.

— Пап! Дядя Витя! — закричит, не доходя еще до палатки, сияющий Ванюшка.— Эх, чего и видел я в горах! Вы даже поразитесь! — Тут Ванюшка переведет дух,

смахнет со лба крапины пота.— Гляжу, а на вершине скалы... ну, совсем неприступной скалы... беркут. Большой и лохматый такой. Сидит и птицу какую-то терзает. Кидал, кидал я в кровожадину камешками, да разве до него докинешь!

И мальчишка долго еще рассказывает нам о разных «чудо-чудесах», которые довелось ему, востроглазому, увидеть в Жигулях.

Однажды в ночь на воскресенье я проснулся от яростного гула. Не сразу догадался, что гудели басовито полотнища палатки под напором ливня.

«Эх ты, и откуда он взялся? — подумал я.— Когда ложились, на небе звезды перемигивались».

Приподнявшись, просунул руку за спину Ванюшки, любившего спать у самой стенки. Нет, вода не подтекала ему под бок. Укрыв мальца понадежнее байковым одеялом, я скоро опять заснул.

А на рассвете меня разбудил Ванюшка.

— Дядя Витя,— шептал он мне в самое ухо,— проснитесь, солнышко восходит.

— Солнышко? — недоверчиво переспросил я, не открывая глаз.

— Ага, солнышко! Да вы поднимитесь-ка... я вам сейчас чего-то покажу.

По настоянию Ванюшки я осторожненько подполз к выходу из палатки. И посмотрел в щелку между тяжелыми, набрякшими сыростью брезентовыми полотнищами.

Небо было чистое, прозрачное, без единого пятнышка. Из-за старого бора медленно поднималось огромное, но такое пока еще заспанное солнце.

В двадцати же шагах от палатки глухо багровела Уса. На стрежне она курилась теплым парком. А по прибитой ночным ливнем береговой полоске проворно бегали, быстро-быстро перебирая тонкими ножками, крупные кулички. Ленивая волна, набегая на берег, думалось, вот-вот их смоет.

— Потешные они! — шептал Ванюшка у меня за спиной.— Видите, как кулички кланяются?

Пригляделся я, и точно: чуть ли не на каждом шагу кулички отвешивали кому-то низкие поклоны.

— До чего же вежливые, верно, дядя Витя? — не уни-

мался Ванюшка.— Это они солнышку кланяются, с ним здоровкаются.

Похоже, правду говорил догадливый Ванюшка. Солнцу кланялись вежливые кулички, его, великое наше светило, поздравляли с добрым утром.

ЛУЖИ

Этим летом пятилетний Андрейка гостил у бабушки в глухом лесном поселке. А лето выдалось несуразное — мокрое, холодное.

Что ни день, то или мелкий секучий дождишко, или гроза с ливнем. Пугающе-белые молнии рассекали из конца в конец клубившееся черными облаками небо. И тотчас на забытый всем миром несчастный поселок обрушивался грохочущий гром. Андрейке в такие минуты думалось: не видать ему больше ни папки, ни мамки, ни белого света. Черные каменные глыбы разнесут сейчас в щепки бабушкину избу.

Но смолкали страшные раскаты, и землю начинали хлестать мутные струи воды.

Сядет Андрейка у рябого от дождинок окна и горестно вздыхает, поводя пальчиком по холодному подоконнику в морщинках трещин.

«Покажется ли нынче красно солнышко? — думает он.— Пустит ли бабушка на волю кораблики пускать?»

Одна Андрейке отрада — лужи и кораблики. В этом глухоманном поселке, окруженном высокими хмурыми елями, даже товарища не найти.

И когда смолкает брызгун дождь и небо чуть светлеет, он слезает с тяжелого табурета, идет к жарко натопленной печке и тянет бабку за пышную, в мелких складках юбку.

— Ба, а ба,— скулит Андрейка.— Мне можно на улицу, ба?

— На улицу? — переспрашивает ворчливо старуха.— А чего ты не видел на улице? Там мокреть сплошная.

— Я кораблики в луже буду пускать,— все так же плаксиво тянет Андрейка.

— Кораблики?.. Знаю я эти кораблики твои! — снова ворчит старая.— Вчерась вон тоже... отпросился пускать кораблики, а сам по уши выкупался!

Она долго еще ворчит, вздыхает и охает. А потом так же долго обряжает щуплого Андрейку, точно на Северный полюс собирается его отправлять. И мохнатый лыжный костюм напялит, и матросскую курточку с серебряными якорями на рукавах, и кусачие шерстяные чулки, и красные резиновые сапожки. А напоследок не забудет обмотать тонкую гусиную шею внука полосатым шарфом.

Андрейка мужественно переносит бабкину опеку: сопит да молчит, плотно сжав губы.

А едва бабка выпустит его из своих терпеливых ласковых рук, как он проворно хватает с лавки у двери заветные свои кораблики с парусами и птахой выпархивает на крыльцо. И бежит к самой большой в поселке луже. Андрейка даже не слышит бабкины напутствия:

— Смотри у меня! Только попробуй выкупайся, я тогда ремнем исполосую!

В субботу из города приезжают отец с матерью. Они привозят много всяких гостинцев: и колбасу, и баранки, и любимые Андрейкой конфеты «му-му».

— Ну, сынище, рассказывай, как у вас тут жизнь протекает? — спрашивает отец Андрейку, посадив сына к себе на колени.— Бабушку слушаешься?

Андрейка сопит, жует конфетку.

— Как же, как же, он у меня сговорчивый малый,— поет весело бабушка, хлопоча с матерью вокруг хлебосольного стола.— Только что-то ночами беспокойный шибко стал. Все вертится, ворочается да вскрикивает так, будто его режут.

Отец заглядывает Андрейке в глаза, добродушно, с ленцой улыбаясь.

— Тебе, Андрей, может, сны страшные снятся? А?

Опять молчит Андрейка. Он уж другую конфету засунул за щеку.

— Я кого спрашиваю?

— Сны,— кивает Андрейка.

— И что же тебе снится? — допытывается отец.

Прижимаясь щекой к широкой теплой отцовой груди, Андрейка со вздохом говорит:

— Лужи. Ба-альшие-разбальшие. Как море!

Отец и мать смеются. Не смеется лишь бабушка.

— Лужи,— ворчит она себе под нос.— От этих луж одно сплошное наказанье!

МУЖЧИНА

Целых два месяца люди не видели солнца. Над раскисшей от дождей унылой землей клубились зловеще мутно-фиолетовые тучи. А в начале августа сильные ветры изорвали в клочья угрюмые тучи. И хлынуло на поселок солнце.

Правда, из-за повеселевших в последние дни елей нет-нет да и выглядывали таинственно-белые облачка, но они уж никого не страшили. К нестерпимо жгучему солнцу эти воздушные облачка не решались даже приблизиться, а лишь кружили и кружили над лесом, будто стайка диковинных птиц.

Выбегая после завтрака на крыльцо, Андрейка прыгал с крыльца на зеленую лужайку и припускался бегом к новому бревенчатому дому лесника Нилыча. У рыжебородого лесника кроме пресерьезного волкодава Султана, сидевшего на цепи, была еще шустрая дворняга Муха. С ней-то — черно-жуковой, в белых тапочках — и любил Андрейка поиграть.

А что же еще делать? Кораблики Андрейке надоели, да и лужи все до одной высохли. Вот и бегал смуглеющий день ото дня Андрейка в гости к общительной Мухе. С ней и на опушку леса не страшно пойти, и на ромашковой поляне весело поваляться. Как-то под выходной мама явилась из города без папы. Папа, оказалось, в командировке. Но приехала мама не одна.

— Андре-ей! — позвала мама с улицы.— Иди-ка гостей встречай!

Андрейка вылетел стремглав на крыльцо да так и замер на месте. У крыльца стояли три худенькие стеснительные девочки в новых цветастых платьях.

— Ну, что же ты? — засмеялась мама, опуская к ногам большой увесистый рюкзак. Она тоже была нарядная.— Или не узнал своих двоюродных сестриц?

— Узнал,— прошептал Андрейка, тоже вдруг застеснявшись.

— Теперь у вас веселее жизнь пойдет,— продолжала мама.— Погода наконец-то установилась, будете в лес по грибы ходить.

Из сеней выглянула бабушка. И запела, запела ласково:

— А батюшка, а матушка... гости-то какие к нам пожаловали! Красавицы мои, что же вы у порога стоите? Ниночка, Сонечка, Зоенька... цветики пунцовые, пожалуйте в горницу!

Оглянулась бабушка на Андрейку, ткнула его в спину кулачком:

— А ты, хозяин, чего оробел? Забирай у девочек поклажу, а то они с дороги притомились!

Андрейка спустился на лужок, подошел к девочке с розовым бантом на самой макушке.

— Нин,— сказал он тихо,— давай мне свою авоську.

Нина отступила на шаг и показала Андрейке язык.

— Ишь какой прыткий! Так я тебе и отдам... тут зефир в шоколаде да печенье!

Засмеялись и мама, и бабушка, и сестры Нины. И неловкости как не было. Громко переговариваясь, все гурьбой пошли в избу.

Наутро раньше всех встала бабушка. Она заботливо прикрыла лоскутным одеялом Андрейку, спавшего вместе с ней на топчане у печки, и куда-то ушла.

Домой бабушка вернулась с крынкой молока. Доставая с посудной полки граненые стаканы, она уронила на пол железную банку из-под леденцов. И чуткий Андрейка тотчас проснулся.

«К лесничихе тетке Анисье ходила,— подумал Андрейка, наблюдая за бабушкой в узенькие щелочки прищуренных глаз.— Парного молока принесла. У лесничихи молоко прямо как мед сладкое. Такого у нас в городе никогда не бывает».

А бабушка, разливая по стаканам молоко, шептала себе под нос, словно колдовала:

— Этот стакашек Андрейке, а эти три девочкам... пусть их поправляются. Оно, утрошнее, знай какое целебное. Ну и мамке Андрея... ей тоже надо.

Бабушка вздохнула, подумала о чем-то и снова заколдовала:

— На кашу манную надо бы еще выгадать. Просила Анисью: дай две крынки, у меня гости из города. А она наотрез: у других тоже гости! Себе, говорит, капли не остается, последнюю крынку отдаю тебе. Поди, хвастает... ох уж мне эта Анисья, чугунная голова!

Приподнявшись с подушки, Андрейка капризно протянул:

— Ба, а ба!

Оглянулась бабушка, и темное морщинистое лицо ее так все и посветлело.

— Сверчок мой запечный, ты чего рано пробудился?

— Выспался.

Андрейка сбросил с себя тяжелое одеяло, сполз на пол. И, ежась от утренней прохлады, струившейся из сеней, зашлепал босыми ногами по крашеному полу.

Бабушка прижала к себе щуплого внука, голенького, в сползших до колен полосатых трусиках, такого пока еще безгрешного, беззащитного. От Андрейки пахло уютом теплой постели и парным молоком.

Освобождаясь от бабушкиных объятий, он сказал как можно солиднее, видимо стараясь подражать отцу:

— Ты, ба, наливай женщинам стаканы полнее. А я это молоко и так каждый день... Обойдусь и без него. Я ведь мужчина!

ЖОРА-ОБЖОРА

Каждое утро я ходил купаться. От избы бабки Мартьяновны до песчаного берега Сырой Воложки — речушки ласковой, задумчивой — было рукой подать. Потому-то я и не ленился по утрам купаться.

Возвратился раз с речки, зашел в избу да так и замер на пороге. По всему полу — от печки до стола в переднем углу горенки — разбросаны газетные клочки.

«Вот тебе и на! — подумал я, все еще не трогаясь с места.— Мартьяновна на зорьке отправилась в свою огородную бригаду, детей поблизости нет... Кто же у нас тут хозяйничал?»

Когда же повнимательнее обвел взглядом обычно чистую, опрятную горенку, то еще больше изумился.

На мою раскладушку кто-то кинул помятый спичечный коробок и авторучку, а по щелявым половицам раскидал спички и монеты — медные и серебряные. Раскрытый кошелек валялся на стуле. На стуле же обнаружил и ржавый шурупчик, невесть как сюда попавший.

Наведя в избе порядок, я сел к столу, вертел между

пальцами ржавый шурупчик и гадал: «Кто, ну, кто озорничал тут у нас, пока я ходил на Воложку? Неужели осмелился зайти в избу бедовый Никитка, сын шофера Михайлыча?»

Шофер жил в переулке напротив, и все соседи жаловались на Никитку, неудержимо проказливого шустряка. И хотя суровый, малоразговорчивый Михайлыч частенько наказывал своего сорвиголову, но тот, с полчаса порыдав громко, так, чтобы слышала вся деревня, скоро забывал отцово ученье и снова брался за свое.

«Выслежу Никитку и поговорю с ним как мужчина с мужчиной,— решил я.— Нехорошо, скажу, Никита, в чужие дома заходить без спросу, нехорошо хозяйничать, где не положено! Пойми: ты почти взрослый человек — в четвертый класс осенью пойдешь. Пора и остепениться!»

В этот день я так и не встретил Никитку. А вернувшейся под вечер уставшей Мартьяновне ничего не рассказал об утреннем происшествии.

Когда же мы с хозяйкой ужинали на кухоньке, она вдруг заметила на подоконнике ржавый шурупчик, который утром обнаружил я у себя на стуле.

— Нате-ко! — покачала головой Мартьяновна, взяв с подоконника шуруп.— И откедова ты, шальной, объявился? — Улыбаясь, она посмотрела мне в глаза. Прибавила: — В позапрошлую осень плотник Тихон ладил мне вон ту раму. Сгнила рамешка от ветхости лет. Стал Тихон прикручивать петли, а шурупчик один и упади на пол. Искал, искал Тихон шурупчик, да так и не нашел. Пришлось гвоздем прибивать. А теперь — нате-ко! — объявился шуруп. Как есть тот самый.

— С полу поднял,— пробормотал я смущенно, отводя в сторону глаза. Про себя подумал: «Непременно завтра поговорю с Никиткой. И непременно спрошу, где он этот распроклятый шурупчик разыскал?»

Отправляясь поутру купаться на Сырую Воложку, я предусмотрительно запер на висячий замок сенную дверь, чего никогда до этого не делал.

А когда вернулся, моему удивлению опять не было конца. Теперь уж из двух коробков были разбросаны по полу спички, а из журнала «Крестьянка», вчера доставленного Мартьяновне почтальоном, злодей вырвал не-

сколько листов. И это еще не все. Через кухонный стол наискосок протянулась молочная река. Крынка же с отколотым краем закатилась под лавку.

Не мешкая долго, я отправился на поиски разбойника Никитки.

В переулке напротив играли в куклы две девочки. Я спросил: не видали ли они пострела Никитку?

— А его, дяденька, нету дома. Третьеводни Никитку в город отвез отец. В гости к тетке,— рассудительно проговорила, как взрослая, синеокая девочка с двумя белыми бантами на концах ломких косичек.— А он вам спешно нужен?

Я помялся, помялся и все же рассказал девочкам о странных происшествиях у нас в доме.

— Ой! — всплеснула руками синеокая, едва я кончил говорить.— Так это ж не голован Никитка у вас шкодит, а Жора-обжора!

И она с укоризной добавила, повернувшись к подружке — веснушчатой кургузой девочке:

— Как ты зачастила сюда, так и Жора твой налеты стал делать на нашу улицу. Он и у нас вчерась бабушкину шерсть по всей избе куделькам раскидал. Ладно, я вовремя подоспела.

Веснушчатая девочка вся зарделась, вдруг сделавшись похожей на хорошую негритяночку. Разглаживая на платье оборки, она обиженно протянула:

— А разве я виноватая? Я его плохому не учу.

— Кто же такой этот Жора-обжора? — обратился я к синеокой.

— А вон... пусть Алена сама покличет своего голубчика! — кивнула рассудительная девочка в сторону подружки.

Алена бережно опустила на траву куклу и голосисто прокричала:

— Жо-ора! Жора-обжо-ора!

«Кэ-эр! Кэ-эрр!» — отозвался кто-то из-за ветхой банешки, вросшей по самое окно в землю.

А немного погодя на тропу опустился черноголовый сорочонок. Припадая на кривую ножку — он выпал по весне из гнезда,— Жора подковылял к веснушчатой девочке.

Алена присела на корточки, погладила сорочонка по

гладкой спине. Юркий длинноносый сорочонок пока больше походил на птенца вороны: у него еще не появилось белое оперенье, так украшающее больших сорок.

— Ты слатенького, дурашка, хочешь? — спросила Алена своего выкормыша.— Слатенького?

Помолчав, она снова заговорила, сердито надув губы:

— А чего вы хотите сейчас от Жоры? Он такой еще махонький... без мамки воспитывался. Подрастет, поумнеет и не будет в чужие избы залетать. Это он пока только в каждую щелку нос сует. Правда, Жора?

«Кэ-эр!» — протрещал сорочонок. Склонив набок голову, Жора уставился на Алену блестящей черной бусиной с желтым ободком.

Порывшись в карманах, я достал конфетку. Положил ее на ладонь и наклонился к сорочонку:

— Жора, это тебе.

Сорочонок не заставил долго ждать. Проворно подпрыгнув, он схватил с ладони конфетку. Ловко содрал с нее обертку и проглотил.

— Истый обжора! — вздохнула синеокая девочка.— И в кого он у вас такой, Алена?

В деревне Капельки я прожил еще недели три. Уж очень приятное стояло лето: в меру жаркое, в меру тихое, с перепадавшими изредка теплыми дождями.

С Жорой-обжорой мы скоро сдружились. Он каждый день по утрам прилетал под мое окно, стучал клювом в розовеющее в лучах восхода стекло с капельками киновари и клянчил гостинчик.

Уходя купаться на Воложку или отправляясь в соседний лесок, я теперь не оставлял открытой не только сенную дверь, но и форточку. Хотя мы с Жорой-обжорой и подружились и он доверчиво садился мне то на колено, то на плечо, но все же с ним надо было держать ухо востро.

ПЕТУШКИ

Томительная полдневная духота. Кажется, от нестерпимого зноя вот-вот закипит вода в озерке посреди села — густая и зеленая от «лягушиного шелка». А большое село это, раскинувшееся среди веселых березовых колков, будто вымерло. Даже куры попрятались в тень.

По пыльной дороге, похоже присыпанной горячим пеплом, шлепает босоногий вихрастый малец. Даже мальчишку пронял полдневный зной: малиновая рубашка нараспашку, синие штаны закатаны выше обуглившихся от загара колен.

Глазам тоже невмочь: слепит белизна воздушных облачков, пронизанных насквозь солнечными лучами, резкая, пронзительная зелень лужаек, соломенно-жаркая желтизна новых, добротных изб. И мальчишка то и дело щурится, с наслаждением обсасывая леденцового петушка на палочке.

Вот он сворачивает с пыльной дороги в заросший незабудками проулок. В дверях завалившейся на бок, почерневшей от старости избенки с телевизионной антенной над дранковой крышей вдруг появляется худущая бабка. Она с минуту смотрит из-под костлявой, немощной руки на лопоухого мальца, чмокающего губами, а потом кричит:

— Митька, откуда тебя нелегкая несет?

— Из магазина, бабынька Фрося.

— А там... в магазине-то этой что-нибудь есть?

Мальчишка вынимает изо рта розовато-прозрачного петушка, щурит большие глазищи, отражающие в себе незабудковую голубизну проулка, и с восторгом произносит:

— Ага, есть! Петушки есть!

СИНИЧОНОК

Тянулись чередой знойные июльские дни. Не тешил прохладой даже лес, окружавший поселок с трех сторон. От лесной опушки ленивый испекшийся ветерок доносил лишь пряный запах копешек сена.

Умолкли птицы, так резво и беспечно щебетавшие в мае и первой половине июня. Теперь подавал голос только перепел на урожайном поле. Да иногда тосковала горлинка, прятавшаяся в чащобе.

Как-то поутру, до наступления палящей духотищи, я поливал цветы. Поливать цветы приходилось утром и вечером. С улыбкой смотрел я на светлые журчащие струйки, такие упругие и стремительные, веселым дож-

дем кропившие землю. Сухая земля жадно впитывала в себя целительную влагу. И, чудилось, блаженно вздыхала.

Вдруг меня кто-то окликнул. Поднял голову, а у решетчатой калитки Маша стоит. Внучка соседки Спиридоновны. Маша и Спиридоновна жили прямо напротив.

— Здравствуй! — сказала Маша и просунула между деревянными рейками свой любопытный обгоревший нос.— Ты чего-то делаешь?

— Здравствуй,— кивнул я.— Как видишь — цветы поливаю.

— А к тебе можно? Или потом прийти?

— Почему же потом? Сейчас заходи!

Чуть помешкав, Маша огорченно протянула:

— Ну, как же я зайду... у меня все руки заняты.

Выключив воду, я пошел открывать калитку.

— Меня бабушка прислала,— скороговоркой зачастила девочка.— У нас по саду милиционеровы кошки рыщут. Бабушка говорит...— Входя в калитку, Маша споткнулась о порожек.— Ой!.. Я всегда у тебя на этом месте совсем чуть не падаю!.. Бабушка говорит: в один момент сцапают!

Я ничего не понимал.

— Машенька, про кого это ты говоришь?

— Какой же ты бестолко-овый!.. Он, глянь-ка, глупышка-разглупышка! Такого любая кошка сцапает.

И Маша протянула ко мне свои руки. В горячих пригоршнях у нее лежал пушистый зеленовато-серый комок.

— Бабушка говорит: он из гнезда выпал или с ветки шлепнулся. К нему милиционерова Тигруша кралась, да я ее палкой!

Осторожно взял из теплых Машиных ладоней птенца — желторотого, кургузого, с куцым, словно бы обрубленным, хвостом. На макушке у него непослушно топорщился, как у мальчишек, задорный вихор. Но птенец до того ослаб, что даже не вырывался из рук.

— Синицын сын,— сказал я.— Вот только щечки того... будто зеленкой вымазаны. Подрастет, и они побелеют... будут точь-в-точь как у мамки.

Большие, цвета спелого ореха глаза девочки смотрели на меня внимательно, не мигая.

— Ты чего сегодня с ним будешь делать? — спросила она.

Я пожал плечами.

— Даже не знаю. Хотя птенец и слетыш, а самостоятельно кормиться он еще не научился. Ему мамка нужна.

— Уж придумай чего-нибудь,— вздохнула Маша.— А то мне его жалко. А теперь я пойду к бабушке.

Проводив девочку, я пошел на кухню. Шагал по тропинке и думал: «Ну, задала же мне Маша задачу!»

Синичонка я посадил на высокое крыльцо. Отсюда хорошо просматривался сад. А потом меленько накрошил перед птенцом творогу. Не забыл поставить и низенькую баночку с водой. Но синичонок, как я и предполагал, не притронулся к пище. Равнодушно осмотревшись вокруг, он нахохлился, притих. И вскоре, пригретый солнцем, задремал.

Сон этот был чуток. Когда полчаса спустя в кустах смородины наискосок кухонного крыльца призывно засвистела синица, птенец вздрогнул и открыл глаза.

«Мать нашлась?» — подумал я с надеждой, стараясь не шевелиться.

«Цви-инь! Цви-инь!» — снова пропела в кустах синица.

Синичонок насторожился. Потом несмело скокнул к самому краю ступеньки. Когда же вновь раздался настойчивый посвист матери, он взмахнул крыльями и храбро полетел. Около ветвистого куста смородины синичонок упал, обессилев. Но тотчас встрепенулся и затрещал по-воробьиному, широко разевая клюв.

В этот миг я и увидел мать синичонка. Она стремительно выпорхнула из чащи, сунула в клюв птенцу какую-то букашку и так же проворно куда-то скрылась. Немного погодя она появилась снова. Опустилась на нижнюю ветку яблони и пропела: «Цви-инь! Цви-инь!»

Наверно, на птичьем языке это означало: «Ну, что же ты? Лети сюда, здесь безопаснее!»

Синичонок повертел туда-сюда маслянисто-черной головкой и, послушавшись мать, устремился к яблоне. Опустился на ветку и чуть не сорвался с нее, но вовремя оправился. И опять смешно, по-воробьиному, затрещал, требуя корму.

Синица, как бы дразня своего малыша зажатым в клюве червяком, перепорхнула на крепкий сук, нависавший

над нижней веткой. Неуклюжему синичонку ничего другого не оставалось, как последовать за матерью.

Через пару минут я потерял из виду и синичонка, и его заботливую мамку.

«Теперь самое время сходить к соседям,— подумал я с облегчением.— Надо их успокоить, пусть не тревожатся о глупом птенце».

Нежаркое в этот час солнышко так хорошо пригревало, что я еще некоторое время предавался покою и радости. Радовался я и за синичонка, радовался и за добрых людей — милую девочку Машу и ее жалостливую бабушку Спиридоновну, не бросивших беспомощного птенца на произвол судьбы.

КОЛЮЧЕЕ ОБЪЯТИЕ

Ходил в Покровский лес по грибы. Бреду себе по шафранно-коричневой тропинке, словно густо присыпанной спитым чаем, бреду между хмуроватыми елями и думаю от нечего делать. Думаю о том, чьи леса лучше: наши, поволжские, или здешние, подмосковные?

Вот, думаю, три дня назад здесь прошумел дождь, а тропинка все еще не просохла, будто дождь барабанил нынче поутру. А ведь и вчера, и позавчера то и дело выныривало солнце между косяками легчайших перламутровых облачков, плывущих куда-то на юг. На Волге же у нас даже после ливня — пусть шпарящего сутки — в сосновом бору наутро светло и сухо. Люблю я свои звонкие, смоляные, солнечные поволжские боры!

Но и эти — подмосковные — по-своему хороши. Чудо-ели поражают на каждом шагу. Иссиня-зеленые мохнатые лапы вначале расстилаются по земле, потом ярус за ярусом поднимаются все выше и выше до самой высоченной — пикообразной — маковки. А какой неописуемой красоты ершисто-колючие, вытянувшиеся в струнку малышки. Ну, а березы, тут и там белеющие среди елей? Особенно их много на светлых пятачках-полянках, поросших малахитовым ворсистым мошком. Здесь, в Подмосковье, стволы березок белее, просветленнее на фоне густо синеющей хвои.

Так-то вот и брел я по шафранно-коричневой бегучей

тропке, любуясь неброской красотой Покровского бора, в то же время не забывая и свои родные волжские леса.

Вдруг тропка раздвоилась. Одна рогулька побежала влево, под ромашковый откос, а другая вправо — в черноту загустевшего бора. Туда, похоже, не часто заглядывает августовское солнышко: теперь оно уже «ходит» ниже.

На самой же развилке остановились в раздумье береза и ель. Они стояли близко-близко друг к другу — словно сводные сестры. Так близко, что острые чугунно-ржавые сучья строгой ели касались нежной белизны березкиного ствола. Походил я вокруг столь разных сестриц, подивился и свернул влево, к ромашковому откосу.

Домой возвращался часа через три, а может, и позже. В моей легкой небольшой корзиночке лежало штук семь сыроежек. Я торопился. По всему чувствовалось: собирается гроза. А тут еще из гнилого угла подул ветер. И зашумели ели и березы, туда-сюда раскачивая вершинами.

Совершенно случайно я вышел на рогульчатую тропку, на ту самую, в развилке которой стояли в обнимку береза и ель. Порывистый, упруго-сырой ветер нещадно мотал их из стороны в сторону. Чугунно-ржавые сучья принахмурившейся ели впивались острыми концами в белую кору березки, и она стонала.

Долго, пораженный, смотрел я на стонущую березу, не в силах ей ничем помочь.

Порой казалось: вот-вот вырвется береза из этого страшного, колючего объятия безжалостной ели. Упруго изгибаясь, она, белотелая, клонилась под напором ветра в противоположную от ели сторону, и колючие иглы-сучья, мнилось, еще миг и оставят ее в покое... Но сводная сестра не хотела расставаться с красавицей березкой и тоже поспешно тянулась вслед за ней, глубже вонзая в ее ствол цепкие когти.

ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ

Предвечернее небо было на редкость прозрачно. А в вышине сквозила нежная бирюза. Теплый, тишайший этот вечер так и располагал к прогулке. И мы с женой решили пройтись в соседнюю деревушку Замяткино — навестить нашего старого приятеля, учителя. У Никифора

Ивановича изрядно долго засиделись за чаем и домой собрались уже поздненько. Когда же вышли за околицу в поле, то вдруг заметили довольно странное явление. На обширное это поле с доспевающей рожью со всех сторон надвигались плотным кольцом купоросно-синие, с чернинкой облака.

— Пойдем побыстрее, дождь собирается,— забеспокоилась жена, прибавляя шаг.

Я ее урезонил:

— Если уж дождю не миновать, мы все равно от него не спасемся. До нашего поселка три километра с гаком.

А тучи все надвигались и надвигались, и кое-где их потемневшую массу стали уже взрывать изнутри огненные сполохи.

Вскоре над полем прокатился первый — и самый страшный — раскатистый удар. Кромешная мгла — ей-ей, осязаемая — окутала землю, и уж в двух шагах вокруг ничего не было видно.

— Давай вернемся в Замяткино,— попросила жена, прижимаясь ко мне дрожащим плечом.— Я... я умру сейчас от этого ужаса.

Тут что-то снова рвануло над нашими головами — не то пролетел многопудовый снаряд, не то разорвалась сама атомная бомба, и во все концы неба брызнули слепящеогненные ошметки.

Жена уж больше не пыталась говорить, она лишь судорожно цеплялась пальцами за мою руку, и мы брели с ней как слепые среди полыхающего огня и шипящего, шквалистого грохота, брели, куда выведут ноги.

Чугунно-черное небо ежесекундно охватывали то малиново-алые сполохи, то ядовито-зеленые дьявольские сияния, и тогда вырисовывались перед нами на какой-то разъединственный миг с первозданной, неестественной яркостью не только пыльная укатанная машинами дорога, убегавшая к обуглившимся вдали березкам, но и желтые, выжженные жарой пригорки, и крест на высоком холме, на холме с покорно клонившимися от страха ромашками. При таких яростно-бешеных вспышках, когда, мнилось, воспламенялась вся планета, глазам открывалось такое, что не суждено никому увидеть даже в самый солнечный день.

Мы уже миновали дрожащий ознобно редкий осинник

и вышли на опушку. Прямо перед нами при сверкании фосфорически-белых змеившихся молний видны уже были шиферные крыши дачных домиков (на одной из них я заметил покосившуюся трубу с петухом-флюгером), когда жена вдруг прошептала мне на ухо:

— Тебе не кажется странным... дождя-то все нет и нет. На меня ни одной капли не упало.

— И на меня тоже,— ответил я.

Вскоре мы добрались до своего дома. Всю ночь окрест громыхал гром, бесноватые молнии полосовали полыхающее огнем небо. Но дождь на землю так и не пролился.

Наутро к нам прикатил из Замяткина на велосипеде Никифор Иванович.

— Что, натерпелись вечор страху? — спросил он почему-то весело. И, потирая большие свои руки, руки бывалого рабочего, так же весело добавил: — Редкое, други, наблюдалось ночью явление. Крайне редкое в природе. Наши деды такие сполохи с громом, но без дождя называли, бывало, воробьиной ночью.

ЧУДОДЕЙ ИЗ ДЬЯКОВКИ

Павлу Федоровичу Судакову

После капризного, такого дождливого и такого ветреного июня наконец-то наступила желанная теплынь. Солнце старательно обогревало землю с самой ранней тишайшей зорьки и до тревожаще-огнистого, полыхающего в полнеба, заката. И все живое радовалось солнцу. А утопающие в зелени садов деревеньки и села этой приречной полосы Рязанщины показались мне после Москвы, ей-ей, земным раем.

Прикончив в то утро все командировочные дела в приокском совхозе, я не спеша зашагал в село Дьяковку, откуда намеревался автобусом направиться до ближайшей железнодорожной станции.

Под вечер появился в Дьяковке. Позади осталось километров пятнадцать извилистых проселочных дорог, поросших по обочинам сурепкой и васильками. Признаюсь, сморенный жарой, изрядно притомился.

«Эх, молочка бы сейчас, да непременно из погреба!» — думал я, уж не так бодро, как поутру, шагая вдоль тенистых душных палисадников, совсем не дающих прохлады.

Все еще пышущая изнурительным зноем улица была пустынной, во дворах тоже не было ни одной живой души.

Лишь в самом начале села встретилась мне миловидная разнаряженная молодайка. Она сидела на уютном крылечке добротного дома, обшитого новым тесом, держа на руках закутанного в простынки младенца.

Когда же я спросил круглолицую молодайку, не найдется ли у нее холодного молока, и сказал, что я заплачу за него, она так ядовито, так озлобленно на меня зашипела, бормоча проклятья шляющимся тут без дела всяким прощелыгам-свистунам, что уж пропала всякая охота стучаться в другие ворота.

И я брел и брел, думая лишь о том, как бы поскорее доплестись до площади, где непременно всласть напьюсь студеной колодезной воды.

Вскоре между высоких тополей по ту сторону улицы блеснула на миг полуободранная от железа луковка древней, заброшенной церквушки, высившейся над площадью, где и находилась стоянка нужного мне автобуса.

Вот тут-то, не успев даже порадоваться близкому концу моего утомительного путешествия, я и заметил в одном из дворов, опоясанном плетешком, сухолядого старика. Старик стоял ко мне чуть боком, вытянув вперед руку — ладонью вверх, и кого-то звал трогательно-ласково:

— Ци-ика! Ци-ика!

Я с недоумением приостановился. И тут, откуда ни возьмись, появилась махонькая верткая птаха. Безбоязненно сев на широкую бугристую ладонь старика, она схватила из ложбинки подсолнечное семечко. Схватила, взмахнула крылышками и скрылась в ветвях яблони, красовавшейся возле неказистой, прочерневшей избенки, смахивающей больше на баню.

Сухолядый старикан засмеялся глуховато, еле слышно. Или это мне померещилось? И, достав не спеша из кармашка новой клетчатой рубашки еще одно полосатое семечко, положил его на ладонь и снова певуче протянул:

— Ци-ика! Ци-ика!

И что вы думаете? Припорхнула-таки опять синевато-серая крохуля с белесыми щечками. Про себя я отметил: синица-московка. Опять она смело опустилась на большую старикову ладонь, опять проворно взяла в клюв продолговатое семечко. Я даже не увидел, когда птаха скры-

лась из глаз — такая она была стремительная, такая проворная.

Видимо, я, незаметно даже для себя, сделал шаг-другой в сторону плетня, и старик услышал мои шаги, оглянулся, и наши взгляды встретились.

— Здравствуйте,— не сразу сказал я. Помолчав, прибавил: — Иду, знаете ли, к автобусу... и невольным свидетелем стал...

Кивнув, старик нервно защипал длинными тонкими пальцами топорщащиеся туда-сюда усы.

— Синица у вас ручная? — спросил я, главным образом для того, чтобы нарушить неловкое молчание.

И тут старикан вдруг преобразился: маленькое, сухонькое личико его, словно бы прокопченное на тагане, все так и распустилось в доброй, по-детски доброй ухмылке.

— Не-е... вольная пичугашка,— сказал он и, чуть подавшись всем туловищем вперед, шагнул к такой же плетеной, как и забор, калиточке, не сгибая в колене правую, деревянную ногу.— Захаживайте!

Вошел я во двор, протянул старику руку. Тот охотно подал свою. Да, не ошибся я: крупна была старикова рука — твердая, мозолистая.

Через минуту-другую мы уже непринужденно разговаривали. Показывая мне антоновки, Гавриил Сидорович — так звали старика — с добродушной ухмылкой говорил:

— Теперичко что ни агроном, что ни ученый, пусть никудышный, но непременно свой сорт выводит. А я вот дедовский — забытый всеми — восстанавливаю... Они, антоновские-то яблочки, самые лучшие на Руси!

Как бы невзначай он остановился возле погребицы, окруженной молодыми, радостно-веселыми березками.

— Не спрыгнешь ли, мил человек, в погреб? — мягко спросил Гавриил Сидорович.— За студеным молоком? Что-то, шут подери, жажда одолела.

А когда я стал спускаться по лесенке в глубокий погреб, обдавший меня ледяной, такой желанной сейчас стужей, старик сверху добавил, ободряюще посмеиваясь:

— Не фасонь, выбирай крынку покрупнее. Там, у дочки, их штук пять, поди!

Молоко было густое, жирное, отменно прохладное.

Граненые стаканы, в которые хозяин налил молоко, сразу же запотели. Расположились мы тут же, под березками, на невысокой ладной скамье. К стволам деревьев были подвешены кормушки.

— Для птичьего люда? — поинтересовался я. Всю усталость с меня как рукой сняло.

— В теперешнюю пору я мало их подкармливаю: подножного корма хоть отбавляй. А так у меня их много — едочков-то. По весне скворцы детенышей выводили, а вон на той осинке соловей квартировал. Ох и заливался же, шельмец! Иной раз я до рассвета засиживался у раскрытого окошка. Пра, до рассвета! Ну, а потом малиновки гнездышко свили, славки поселились... Теперь зяблик заместо соловья на певческий пост заступил. Ну, а зимой... в зимнюю пору тут целая птичья колония кормится. Особливо синиц много слетается. Навещают и снегири со щеглами. Бедуют они все в морозы да метели от бескормицы. Обмороженных да хворых в избе отхаживаю. К весне все воскресают.

Гавриил Сидорович вздохнул и снова наполнил молоком стаканы.

— Я не здешний сам-то, не рязанский. Из-под Перми я. На войне с будущей супругой своей свел знакомство. А когда в сорок четвертом жамкнуло меня, когда остался без ноги, она, Машура-то, и утянула меня в свои края. Жена и привила мне эту чудинку. Меня тут за нее иные блажным прозывают. Сама-то Машура без птиц, без цветов и жизни не мыслила. Махонький кленик встретит на дороге и его обласкает, как с человеком разумным наговорится.

Вдруг старик оперся сильными своими руками о скамью. Встал.

— Извиняйте меня... свежая она еще, моя рана... все еще кровоточит. По весне схоронил Машуру. От других смерть отводила, а сама... сама в одночасье скончалась.

Поблагодарив Гавриила Сидоровича за угощенье, я стал прощаться. С понурой головой проводил он меня до калитки.

Я уж взялся было за веревочную ручку послушной калиточки, когда старик осторожно коснулся рукой моего локтя.

— Ну-тко, покличьте-ка. Она молоньей припорхнет,—

сказал он и положил мне на ладонь три подсолнечных семечка.

— Кто прилетит? — с недоумением переспросил я, в эту минуту весь отдавшись раздумьям о трудной судьбе человеческой.

— Синица... кто ж еще! — Гавриил Сидорович чуть-чуть улыбнулся.

— А не забоится? — усомнился я.— К вам она привыкла, а я...

И снова он весь преобразился: разгладились морщины на смуглом, как бы прокопченном, лице, залучились искристо глубоко запавшие глаза.

— Не-е, со мной не заробит!

Неуверенно вытянув руку, я довольно-таки робко позвал:

— Цика! Ци-ика!

Чуть погодя, невесть откуда взявшись, на мою ладонь опустилась синица. Легко так, еле касаясь кожи тонюсенькими лапками. Взяла семечко — которое покрупнее — и улетела.

— А вы сомневались,— сказал Гавриил Сидорович.— Не-е, птица или, к примеру, зверек... белочка, скажем, здорово все как понимают! Ежели к ним с добром, то и они тоже... с полным доверием! Который раз я даже такое проделываю: приклею семечко к губе и кличу синицу-вертихвостку. Припорхнет и прямехонько с губы... деликатно так склюнет.

Он, видимо, хотел что-то еще рассказать, но сдержался, махнул рукой:

— Разбалясничался я. Да и вам уж пора топать. А то опоздаете, кой грех, к вечернему автобусу. Ну, ну, бывайте! Здоровьечка вам и счастья!

Выйдя на улицу, я оглянулся на плетеную калиточку. Но старика-чудодея возле нее уже не было.

ШАГАЮЩИЕ ДЕРЕВЬЯ

Как-то летом я гостил у друга на Оке под Касимовом. Стоял знойный июль — от солнца некуда было спрятаться. Да мы от него и не прятались, проводя целые дни на реке.

На зорьке рыбачили, потом варили ушицу из всякой мелочи. Жарили на сковороде подлещиков и сазанчиков — когда они попадались на крючок. А потом до седьмого пота пили чай. В полдень же, сморенные духотой, залезали в шалаш, пропахший горьковатым ароматом увядающих тальниковых веток, и спали до вечера как убитые.

Но вот подоспело время отправляться в соседнее село Ольговку за продуктами. Утром мы доели последнюю краюху, разрубив ее на куски топором. Кончился у нас и сахар, а пшена осталась всего-навсего горсточка. Короче — предстояли крупные закупки на целую неделю.

Вход в шалаш догадливый мой друг завесил гремящим брезентом, прикрепив к нему булавкой записку: «Хозяева дворца скоро вернутся. Подождите!»

Из тишайшего заливчика вывели на быстряк нашу лодку с навесным мотором. Течение подхватило ее и понесло, понесло вниз в сторону Ольговки.

Стоя на носу, я из-под руки глядел на онемевший от жары вольно расхлестнувшийся плес. Выцвело небо, выцвела речная гладь. И уж трудно было предположить, где кончается в недосягаемой дали вода и где начинается небесная безбрежная высь.

— Петро,— сказал я, не оборачиваясь, другу, копошившемуся на корме у беспрерывно чихающего мотора,— заткни глотку своему зверю! Куда спешить? Течение приличное, и через час мы так и так будем в Ольговке.

— Ладно,— буркнул сердито Петро. И заглушил капризный мотор.

Тотчас на легкую нашу лодочку опустилась убаюкивающая тишина.

Поудобнее усевшись, я обхватил руками колени и смотрел не отрываясь то на лесистые отроги правого берега, то на пологий — луговой. Кое-где вдоль левого берега уже протянулись знойные отмели, маня к себе первозданной чистотой.

Где-то за спиной все еще звякал железками неугомонный Петро. Но вскоре и он перестал суетиться, предавшись созерцанию.

То и дело над нами проплывали лениво чайки. Сморенные жарой, они даже не кричали. Раз мне на руку села

большая стрекоза. Слюдяные ее крылышки мерцающе переливались радугой.

Не знаю, сколько прошло времени, когда мы поравнялись с тем местом, где Ока делала крутой изгиб. Тут по склону высоко дыбившегося правого берега стояли могучие сосны.

Вначале я ничего особенного не заметил, любуясь столетними богатырями в пышной густущей хвое. В их вершинах, мнилось, могли запутаться неосторожные облачка, низко проплывавшие над землей. Вдруг мой взгляд скользнул по песчаному склону, и я вздрогнул, пораженный необычностью увиденного.

Великаны натужно шагали, упираясь неуклюжими, перекрученными корнями-ногами в красноватый песок. Иные из сосен, казалось, даже приподнялись от нетерпения на цыпочки, чтобы увидеть тот, левый, берег. Были среди великанов и уроды. Они ковыляли раскорякой на своих искалеченных коротышках-культяпках или ползли, таща за собой перебитые ноги-плети...

Я прикрыл ладонью глаза, думая, что мне все это померещилось. Когда же спустя некоторое время отнял от лица руку, сосны все так же напористо, гурьбой, шагали по склону, намереваясь, видно, вброд перейти Оку.

— Удивлен? Поражен? Восхищен? — чуть насмешливо заговорил неожиданно за моей спиной Петро.— Как видишь, природа способна и на разные шутки.— Помолчав, он добавил уже без язвительности в голосе: — Ураганные ветры, весенние потоки, летние ливни — ливни у нас на Оке эх и сильнущие бывают! — они-то и размывали из года в год ненадежный песчаный склон. Можно подумать: какое-то чудовище вылизало из-под корней деревьев грунт. Ночью тут страховито, скажу тебе, бывает. Сам знаешь — я не из робкого десятка, а вот в прошлом году по осени припозднился... С ружьишком шатался в этих местах, ну и набрел на шагающие сосны...

Друг принужденно как-то засмеялся, похлопывая меня по горячему плечу. И не проронил больше ни слова до самой Ольговки.

А я все смотрел на удаляющиеся от нас сосны. Грозная эта ватага все шагала и шагала, распустив по сторонам зеленые бородищи. Любую силу, думалось, сокрушат на своем трудном далеком пути шагающие деревья.

УПРЯМАЯ БЕРЕЗКА

Виктору Третьякову

Как-то палящим летним днем, в самом конце июля, бродил я по лесу, насквозь пропитанному крепким настоем смолкой хвои. Бродил-бродил, да и заблудился.

И кто знает, сколько бы пришлось бесцельно попетлять по незнакомым местам, пока не выбрался бы на какую-то тропку. Да случай помог.

В самой чащобе молодого ельничка наткнулся я на бритоголового ушастого подростка.

Прислонившись плечом к угольно-буроватому стволу голенастой елки в ноздреватых белесых крапинах лишайника, он что-то писал, проворно, не отрываясь, в самодельной записной книжечке. Глубокая сосредоточенность помешала ему услышать мои шаги. И я совсем близко подошел к пареньку в выгоревшей, соломенного цвета старенькой майке и синеватых спортивных брюках, тоже повидавших виды на своем веку.

Вскинул паренек голову лишь в тот момент, когда на страничку его книжицы упала тень. Поначалу он вроде бы растерялся от внезапной встречи с незнакомым человеком в таком глухом месте. А потом, оправившись, опустил руку с карандашом, глянул на меня настороженно и строго. Нервное, замкнутое лицо. Плотно сжатые бескровные губы.

— Здравствуй! — сказал я, вытирая испарину со лба.

Еле приметно кивнув, парнишка отстранился от дерева — поджарый, подтянутый, по всему видно, легкий на ногу.

— Ты, случайно, не заблудился? Вроде меня? — улыбаясь, спросил я. Как-никак, подумалось мне, а вдвоем все же веселее, если даже этот молчун тоже сбился с дороги.

Снова не проронив ни словечка, он отрицательно покачал головой. Потом склонился над своей книжкой и принялся что-то писать, словно давая понять, чтобы ему больше не докучали.

«Ну и ну! Странный мальчишка!» — отметил я про себя и уж собрался было рассердиться, отчитать его за невежливость, когда увидел протянутую в мою сторону потрепанную книжечку.

«Извините, я глухонемой»,— прочел я в самом верху странички.

Не сразу я справился со своим смущением, не сразу поднял глаза на паренька. А он смотрел на меня все так же выжидательно и, кажется, еще строже. Видимо, он боялся, как бы я не стал говорить какие-то безликие сочувственные слова, так всегда ранящие душу.

Выхватив из кармана огрызок карандаша, я проворно написал: «Объясни, пожалуйста, как мне выйти на дорогу к Покровке».

Прочитав, паренек повернулся спиной к солнцу. Взмахнул длинной, оголенной до локтя рукой. И тут же склонился над записной книжкой.

«Так прямо идите до поляны. На поляне стоит приметная ель. От нее тянется тропка. Тропа выведет вас к дороге на Покровку»,— написал он все так же четко и ясно, как и в первый раз.

Помешкав, прежде чем вернуть книжку ее хозяину, я не удержался еще от одного вопроса: «А что ты тут делаешь, если не секрет?» И вот какой был ответ: «Я член школьного кружка любителей природы. Намечаю в этом квартале места для устройства птичьих кормушек к зиме».

— Молодчина! — сказал я, совсем забыв про записную книжку. Паренек, кажется, понял меня и так. В его непреклонно-строгих светло-серых, с сининочкой глазах затеплился еле приметный добрый огонек.

На прощание я пожал его по-мужски крепкую смуглую руку. И опять повторил:

— Молодчина!

И тут плотно сжатые бескровные губы дрогнули, разомкнулись, как бы намереваясь что-то произнести... Но они лишь расплылись в трогательно смущенной улыбке, обнажая на диво белые красивые зубы.

Раза три оглядывался я, пока ельник не скрыл от меня поджарого сероглазого паренька. Оглядывался и махал ему приветливо рукой. Он тоже отвечал взмахом руки.

Выбравшись на васильковую поляну, я чуть не ахнул. На самой ее небесно голубеющей середине возвышалась могучая, величавая ель, точно колокольня Ивана Великого. Этот исполинский рост не мешал дереву оставаться поразительно грациозным, осанистым.

Но удивительно было другое. Широкие мохнатые лапы могучей ели опускались к земле с высоты трех-четырех

метров, стелясь по траве. А под этими густущими ветвями образовался вместительный шатер. В непогодицу тут вполне могут укрыться человек двадцать. А может, и больше.

Я зашел в расчудесный зеленый шатер, походил по его упругому игольчатому ложу. Ни травинки, ни кустика не росло под елью.

Но что это? В противоположной от «входа» стороне я вдруг заметил тянувшийся вверх лиловато-шоколадный ствол-ниточку. Упрямая ниточка эта, достигнув мохнатой еловой лапы, преграждавшей ей путь к солнцу, выбросила в сторону ветку. И ветка устремилась в просвет между иссиня-черными широкими лапищами.

Охваченный любопытством, я бросился вон из шатра. И что, вы думаете, увидел? Над еловыми ветвями, сверкая на солнце светлой кудрявой головкой, праздновала свою победу тонюсенькая березка.

Стоял я и думал с волнением: «Откуда, откуда у хилой, крошечной березки нашлось столько силы и упрямства, чтобы пробиться к свету?»

И тут на ум пришел сероглазый замкнутый паренек, каких-то полчаса назад указавший мне дорогу в Покровку. Он, русский парнишка, чем-то напомнил мне это упрямое деревцо. И посветлело у меня на душе, и крепко я поверил: не пропадет, не затеряется в жизни нелюдимый с виду мальчишка!

СКВОРЧАТА

В мае было по-летнему тепло и солнечно. Покровские мальцы с отчаянной лихостью бултыхались в Шоколадном озере — шафранно-бурой луже с глинистыми берегами.

Пчелы возвращались в ульи отяжелевшими от доброго взятка. Осмелевшие скворцы залетали даже в сени в поисках корма для своих прожорливых птенцов. (В нашем глухом проулке в каждом дворе было по два-три скворечника.)

Но вот пожаловал июнь, и погоду как подменили. Зачастили дожди — нудные, осенние. Иной день вперемешку с моросящей пылью сыпала с оловянного неба колю-

чая крупа. А в другой — мощный ливень проносился над поселком, будто потоп обрушивался на несчастную землю.

Случалось, целую ночь баламутил северяк-сорвиголова, то громыхая листом железа на крыше беспечного соседа, то нахально ломясь в сенную дверь, то зло, наотмашь, бросая в окна пригоршни крупных, точно речные камушки, дождинок.

Птицы и те попрятались от такой ералашной непогодицы. Думалось: уж не разучились ли они петь?

Как есть полмесяца никому не было радости. Пятнадцатого же числа словно обрезало: перестал моросить зануда дождь, небо под вечер все очистилось от туч — тяжелых, иссиня-пепельных. И закат был непривычно и радостно ясен, щедр на золото и пурпур.

На рассвете в осиннике через дорогу объявился соловей — мой старый знакомый. Пощелкал-пощелкал соловушко, прочищая горло, да как пустит переливчатую трель! Да такую, что и мертвый в могиле не улежал бы!

«К вёдру разошелся наш заглавный запевала леса,— подумал я.— Быть теперь устойчивому теплу».

Утро наступило солнечное, благодатно тихое. Уж ничто не напоминало о затянувшейся непогоде.

Наперегонки друг с другом пели зяблики. Из леса то и дело подавала голос кукушка. Напропалую барабанил дятел.

Особенно же в этот первый погожий денек резвились молодые скворцы-слетки. Они стайками летали над домами — озорные, крикливые, как дети.

«Надо же! — дивился я, приглядываясь к резвым скворчатам.— Ведь еще неделю назад они лишь носы высовывали из скворечен, встречая родителей оголтелым писком. А нынче — нате вам — вон как носятся!»

Скворчата на лету ловили мух и букашек, бегали вперевалку по клубничным грядкам и тропинкам в поисках пропитания. А завидев папку или мамку, устремлялись навстречу с разинутыми клювами.

Под вечер скворчата притомились. Они не полетели в свои скворечники, где им было уже тесно, а уселись на провисавшие провода. Один скворчонок даже взгромоздился на белую головку изолятора.

Оперенье у скворчат пока было «детское» — дымчато-

серое, лишь по спинкам протянулись черно-жуковые ремешки. Носы не желтые, как у взрослых скворцов, а темные, ровно бы в печной саже вымазанные.

Пошевелился во сне скворчонок — тот, что сидел на проводе ближе к нашему дому,— и чуть не упал. Встрепенулся с перепугу, подозрительно повел головой туда-сюда, качаясь из стороны в сторону на не окрепших еще лапках, и снова задремал.

Я долго смотрел на потешных скворчат. Ведь через пару-тройку дней они вместе с родителями откочуют на поля, в перелески. И до самого отлета в теплые страны их не увидишь.

ВАСИЛЬКИ

Все прошлое лето мы прожили с женой на Волге. И чуть ли не каждый день ходили в сосновый бор. Там-то вот, переходя с поляны на полянку, и собирали в букеты глазастую ромашку, лиловые колокольцы, пахучую душицу... Да разве их все перечислишь — эти наши любимые цветы-цветики? Для меня они милее садовых — даже самых красивых, самых изысканных цветов.

Но как-то в средине августа у меня появилась срочная работа. И целую неделю я просидел дома. А чтобы мне хорошо работалось, жена принесла из леса букетик синих-синих васильков.

Два дня любовался я цветами. Они стояли в обливном горшочке на круглом столе и своей трогательной синевой напоминали безбрежную синеву небесной выси.

На третье утро лепестки у васильков слегка поблекли, как бы выцвели в сиянии пылкого августовского солнца, а их тонкие лиловые тычинки словно кто-то обмакнул в сметану.

В полдень я снова подошел к горшочку с цветами. Вся темная, отливающая зеркальной гладью поверхность стола была припудрена белой пыльцой. Точно с потолка мел осыпался.

Наклонился над поблекшим букетиком, вздохнул. А потом улыбнулся. Это они — отцветающие васильки — разбросали по столу семена. Умирая, они заботились о потомстве.

НАПЕРЕГОНКИ

Хорош поутру лес в начале июня. Весна как бы и не собирается отступать: еще в цвету рябина, черемуха, бузина. На красавицах елках с тугими острыми иголками зажглись красные свечи.

Кусты калины скромно жались вдоль солнечных опушек, по окрайкам полян, усыпанные сверху донизу кипенно-белыми зонтиками цветов. Даже в безветренную погоду тонкий аромат издревле любимой русским народом калины благоухал окрест, как бы главенствуя над другими чародейными запахами леса.

Трудно бывает оторвать взгляд от кустов калины и под осень: пунцово-огненные резные листики, кроваво-алые бусины соблазнительно сочных ягод... Неукротимыми кострами полыхает калина в осеннюю пору, веселя душу.

Возвращаясь раз поутру с прогулки из Покровского леса в поселок, я забрел на дивную полянку, всю-то всю, точно по заказу, обрамленную белыми кустами пахучей калины. Тут было царство пчел и шмелей. Неугомонно гудя, они перелетали с цветка на цветок, с куста на куст.

Середина же поляны утопала в цветах. Они расположились островками — разные там купальницы-жарки, дрема-трава, лютики, фиалки. А вот затейливо пестрели анютины глазки. Такой, кажется, простенький, но до чего же приятный цветок!

Стоял, ошеломленный, думая: уж не сон ли это? Что-то раньше я ни разу не забредал на солнечную цветастую поляну. Ей-ей, не забредал. А ведь знал свой лес как будто бы неплохо.

Каждый раз, отправляясь в гости к лесу, я непременно делал для себя какое-нибудь новое открытие. Лес как бы одарял меня щедрыми подарками. То где-то в чаще обнаруживал внушительного вида дворец трудолюбивых муравьев — точно литой из бронзы конус, потемневший от времени, то в глухой низине, заросшей колючим кустарником, открывал не ведомое никому озеро с черной тяжелой водой, при виде которого душу охватывала тревожная оторопь. А дикие буйные заросли папоротника? Присядешь на корточки, и кажется тебе, что перенесся ты каким-то чудом в девственные тропические джунгли, покрывавшие нашу планету миллионы лет назад.

После очередной прогулки в лес я возвращался домой всегда бодрым и сильным. И мне тогда думалось, что душевно я стал значительно богаче. Как будто древний русский лес поделился со мной своей многовековой мудростью.

Вот так стоял я, приглядываясь к веселой полянке, поразившей меня и своим буйным разноцветьем, и белыми кустами калины, как вдруг взгляд задержался на тонюсенькой березке и такой же стройной осинке. Будто они, любопытницы, прибежали с опушки посмотреть на затейливый узор ковра, расстилавшийся по светлой праздничной прогалине, да так навсегда и загостились.

Смотрел на хрупкие деревца и все не мог наглядеться. Мне никто не мешал. В эту пору не часто заглядывают в лес люди. Ни земляника, ни малина еще не созрели. Не скоро наступит и грибная пора. А так просто шататься от дерева к дереву какой смысл? — рассуждают многие.

Вольготно жилось осинке и березке на просторе, обласканным со всех сторон солнцем, защищенным от промозглых осенних и свирепо-лютых зимних ветров высокими елями, окружавшими поляну.

Но у мужающих из месяца в месяц березки и осинки была и своя забота: изо всех сил тянулись они к высокому небу чистейшей бирюзы. Ни та, ни другая не хотела уступать сестре первенства в росте. Потому-то они и были такие тонкие, такие хрупкие. В эту весну березка чуть-чуть переросла осинку. Ее задорно кудрявая вершинка на сколько-то сантиметров возвышалась над привставшей на цыпочки осинкой. И березка, мнилось, торжествовала.

Но кто знает, что ждет ее в следующем году? А вдруг за лето осинка поднакопит силы да будущей весной поднимется выше ликующей сейчас сестры? Может ведь и такое случиться!

Так вот растут и в семье двойняшки. Один год одна сестра перегонит в росте, другой — вторая.

В ГОСТИ К СОЛНЦУ

Весь день моросило. Ну прямо как в октябре. Выйти во двор даже не хотелось. А время стояло еще летнее — августа середка. Но под вечер потянуло ветерком, и дождишко перестал.

Выглянул я в окно и присвистнул. Ну-ну! Ветерок-то вроде и не сильно дул, а прескучно-серую кошму на небе всю-то всю разодрал в клочья. И гнал и гнал эти лохматые клочья за лес, на север куда-то.

— Мишка, пойдем гулять,— сказал я гостившему у нас сынишке товарища.— Дождь перестал, на улице благодать одна.

Мишка весь день валялся на тахте, уткнувшись облупившимся носом в какую-то книгу. Он, похоже, даже и не слышал моих слов.

— Вставай, Миш,— снова окликнул я мальчишку.— Вредно так долго читать.

— Я сейчас... до точки только,— пробормотал Мишка, не поднимая от книги головы — черной, всклокоченной.

«Сейчас, до точки» у него могло продолжаться и час, и три часа. Я уж собрался подойти к тахте и отобрать у мальчишки увлекательную книгу, но в это время по окну как резанул солнечный луч — такой огнистый, такой ослепительный, что мой неслушник Мишка от испуга чуть ли не подпрыгнул до потолка.

— Ой, что это... пожар? — вскричал он, прикрывая ладонью глаза.

Засмеялся я.

— Какой там пожар... солнышко в гости просится! А хочешь, сами к нему в гости пойдем? Только надо поторапливаться.

— К солнышку в гости? — удивился Мишка, спуская на пол длиннущие свои ноги.

— Да, к солнышку.

Недоверчиво так покосился на меня мальчишка серыми притомившимися глазами. Но промолчал. Насунул на ноги сандалеты, встал.

— Я готов, дядя Витя!

По сочной зеленой травке с бисеринами дождинок мы дошли до песчаной дороги — темной и влажной.

Над бором курчавился розовый парок. Откуда-то издалека — наверно, от лесного кордона — доносилось ликующее петушиное пение.

— Давай на Пушкинскую улицу свернем,— сказал я Мишке, когда поравнялись с флигелем киномеханика Гены Трошина.— Сюда вот, налево.

Мальчишка прибавил шагу и первым свернул за угол на Пушкинскую, некруто поднимавшуюся в гору. Вдруг мой торопыга Мишка остановился, будто о что-то споткнулся.

Там, в конце улицы, между стеснившими его слегка березами, висело слепяще-оранжевое солнце — огромное-преогромное. Нижним раскаленным краем оно касалось земли.

В этот счастливый миг мне показалось: если ускорить шаг да успеть дойти до конца улицы, то непременно встретишься с солнцем.

— Ну, что молчишь, Мишка? — негромко спросил я пораженного не меньше меня черноголового мальчишку.— Пойдем в гости к солнышку? Дорога-то совсем прямая!

Засмеялся Мишка. Весело так засмеялся. А потом со всех ног помчался догонять солнце.

ТРЯСОГУЗКА-РЕЗВУШКА

Дня четыре назад прошумел сердитый, холодный дождище. И погода после что-то все не налаживалась.

Только-только проглянет между рыхлыми тучами — беспокойными, несущимися куда-то на запад — желанное солнце да сразу и скроется. Из леса подует прохватывающий ветер, над поселком желтыми бабочками взметнутся сорванные с берез листики.

И защемит сердце, и так тут грустно и жалостливо станет на душе... Да ничего не поделаешь — ведь уже сентябрь. Неслышной поступью крадется осень.

Но нынче вот к обеду день разгулялся на славу. Ветер стих, графитно-алебастровые тучки, с утра еще тут и там пятнавшие приголубевшую высь, безвозвратно испарились. Чистое-чистое небо налилось сочной летней синевой.

И так всем стало хорошо и радостно: и людям, и птицам, и деревьям. Соседский петух победно горланил каждую минуту. Резво посвистывали юркие пичуги, перепархивая с дерева на дерево. Стоявшие под окном светелки прямоствольные липы, истерзанные ветром, спокойно грелись в лучах доброго солнца. А живший через дорогу печник-пенсионер Мокей Мокеич, человек вздорный и желч-

ный, с увлечением копаясь в саду, даже что-то мурлыкал себе под нос.

Ближе к вечеру вышел я в сад поразмять ноги. Шагал по тропке, а где-то совсем рядом, над головой: «Циви-ви! Циви-ви! Циви-ви!»

Легко и задорно распевала свою незатейливую песенку веселая птаха. Огляделся вокруг, а на коньке дома резвится трясогузка — хрупкая, изящная, с черным строгим воротничком на снежно-белой грудке.

То вспорхнет трясогузка и тотчас опустится на конек, острый клюв свой почистит о доску. А то к солнышку, клонившемуся к палевому небосклону, головкой повернется и хвалу ему воздаст: «Циви-ви! Циви-ви! Циви-ви!»

А потом снова вспорхнет, трепеща острыми крылышками. Полетает, полетает над крышей, да и опять на прежнее место сядет.

Похоже, недавно отменно пообедала верткая трясогузочка, а теперь вот резвится в свое удовольствие, радуется не нарадуется на редкость расчудесному денечку. Не часто в Подмосковье во второй половине сентября выдаются эдакие деньки.

И у меня на душе тоже становится радостно и весело. Это трясогузка-резвушка — милая, безобидная птаха — развеселила.

ОТЧАЯННЫЙ ВОРОБЕЙ

С октября начались заморозки. Выйдешь поутру в парк, а поседевшие от инея палые листья шуршат под ногами, как железные.

Нынче тоже холодно и ветрено в голом опустевшем парке. Бродил полчаса по извилистым аллеям, и хоть бы одна живая душа повстречалась.

Вдруг откуда ни возьмись мальчишка. Розовощекий, в распахнутой вельветовой тужурке. В одной руке новый скрипучий портфель, в другой — булка. Несется мне навстречу что есть духу и жует. Торопится, пострел, в школу боится опоздать на первый урок.

На кусту сирени с буро-зелеными обмякшими листьями сидели нахохлившиеся воробьи. Пробегая мимо, мальчишка бросил воробьям недоеденную горбушку.

Обрадовались воробушки. Зачирикали, залопотали и всей крикливой стайкой слетели с дерева, облепили лакомый кусок. Но не удалось беднягам попировать.

В конце аллеи показался лопоухий щенок. Спустил хозяин щенка со сворки, и он, глупый, голову потерял от радости. Летел, отрывисто лая, прямо на драчливую воробьиную стайку.

И стайки как не было: разлетелись воробушки — кто куда. Лишь один из них — невзрачный, общипанный — не струсил.

Вонзил клюв в большую горбушку и чуть ли не перед самым носом ошалело повизгивающего щенка тяжело взлетел, отчаянно махая крылышками.

Страшно было перепуганному до крайности взъерошенному воробью, тяжела была ноша, но он поднимался все выше и выше, пока не достиг толстого сука стоявшего неподалеку вяза.

А когда опустился на сук, победно чирикнул и принялся остервенело расправляться с добычей.

МАРСИАНСКИЕ МОНЕТЫ

Собрался поутру на прогулку. Дня четыре не был в лесу. Признаюсь, соскучился: и по звонкой осенней тишине, и по рябинкам с тяжелыми рдеющими гроздями, и по разлапистым елочкам, осыпанным опавшими листьями.

Шагаю к опушке, обходя лужи и лужицы с засмотревшимися в них мучнистыми облаками в синюшных подтеках, а навстречу мне — ребячья стайка.

— Доброе утро, дядя Витя! — первым загорланил Валентин, сын сторожа дачного поселка, не по летам резвый, смышленый мальчишка.

— Здравствуйте, молодчики! — отвечаю на приветствие.— С полными лукошками возвращаетесь?

Валентин трясет своей круглой татарской головой. Вздыхает:

— Не-е... зря мы нынче взбулгачились. Вчера в выходной столько народищу из города понахлынуло!.. Где тут успеть новым грибам подрасти?

— Завтра, Валек, завтра уж будут! — говорит другой мальчишка.— Эту неделю у нас занятия в школе во вторую смену... Каждое утро можно по грибы бегать.

Валентин пожимает худенькими плечами, обтянутыми плотно старенъким трикотажным свитером. Над левым сосцом на черном свитере дырочка, возможно от какого-то значка. В эту дырочку видно тело — загорелое, ну, ей-ей, кофейного цвета.

Вдруг парнишка оживляется, обдавая меня светом весело заблестевших глаз.

— Зато, дядя Витя, чего мы в лесу видели!

— Ну-ну? — говорю поощрительно.

Подойдя ко мне вплотную и задирая вверх голову, Валентин шепчет с видом заправского заговорщика:

— Ночью, видать, марсияне на лесной поляне приземлялись. Следов, правда, нет, но вот монеты... марсианскими монетами весь осинник закидали! Честно!

Уже второй год знаю этого парнишку. Выдумщик из выдумщиков! Говорю тоже серьезно и тоже шепотом:

— А где? Может, покажешь?

Валентин передает свою легкую корзиночку одному из ребят. И командует:

— Дуйте, я скоро!

Самый низкорослый, лет шести мальчонка обиженно засопел, собираясь захныкать: «И я с вами пойду!» Стоило же Валентину метнуть в его сторону строгий взгляд, и тот сразу затихает, прикусив нижнюю губу.

До полянки, «где приземлились ночью марсиане», рукой подать, но мы с Валентином добирались чуть ли не целый час.

То мальчишка внезапно остановится и дернет меня за рукав, глазами показывая на стоящих в стороне от нашей тропы двух сестричек-березок, взявшихся за руки.

Замираю и я как вкопанный. И долго смотрим мы оба на глупого пока еще зайчонка-листопадника, с аппетитом уплетающего зеленый стебелек, пока его не спугивают подозрительные шорохи. Сверкнув забелевшим пушистым бочком, зайчонок пропадает в старой ломкой траве.

Молча переглянувшись друг с другом, идем дальше. А пройдя сколько-то там шагов, вдруг я кладу на плечо Валентина руку, и мы опять останавливаемся и опять долго глядим на полыхающий печным жаром кленовый лист, один-разъединственный на стройном деревце. А листик — это при полном-то безветрии! — крутится и крутится без устали. Можно подумать: уж не запрятан ли в ветке мик-

роскопических размеров моторчик, незаметный для человеческого глаза? Он-то, возможно, и крутит бешено полыхающий печным жаром кленовый лист?

Но вот наконец-то мы добираемся до поляны — грустновато-задумчивой, с тяжелой от обильной росы травой.

— Ну? — спрашиваю я нетерпеливо Валентина.

Парнишка хитровато подмигивает и, осторожно, чуть ли не на цыпочках, направляется к голым осинам, стоявшим по ту сторону поляны, оставляя после себя на траве жемчужно-седой след. Осины в эту осень раньше берез расстались со своей листвой.

— Глядите,— негромко говорит Валентин, когда мы пересекаем поляну.— Вот они... марсианские монеты!

Вся земля между засиневшими, в мурашках стволами осин усыпана крупными тяжелыми кругляшами — блестяще черными, с проступившими кое-где по ним пятнами цвета старой бронзы.

Зачарованно смотрю на дары «щедрых марсиан». А потом, нагнувшись, поднимаю одну из «монет». Осиновый лист. Отчего он так прочернел?

— Наверно, дядя Витя, от мороза это,— почесав переносицу, задумчиво тянет Валентин, ровно предугадав мои мысли.— Помните, в ночь на пятницу какие заморозки были? Все лужи ледком тогда покрылись. Ну и это самое... Морозом этим, что кипятком, ошпарило осиновые листья.

— Может, и так, а может, и не так, Валентин,— отвечаю. Теперь уж я хитровато гляжу на умного паренька.— Что тут ни гадай, а нам с тобой все же не мешает взять на память несколько «марсианских монет»... Не часто ведь марсиане заглядывают к нам на Землю!

Валентин улыбается.

— Берите! Я вот за пазуху... целый десяток спрятал!

ДОРОГАЯ ЦЕНА

Глянул утром в окно и ахнул: зима! Все вокруг белым-бело: и крыша стоящего напротив дома, и уютный наш дворик. Даже на подоконник заботливая зима насыпала не знай там сколько пригоршней горящего синими искринками снежка.

Не стал я ждать завтрака, оделся на скорую руку и — на волю. Остановился на крыльце и никак не мог надышаться свежим воздухом, прохваченным ядрено морозцем. А потом нагнулся, зачерпнул в ладони из-под ног невесомых пушинок и умылся.

Он всегда меня радует — этот первый, необыкновенно белый, точно подсиненный снежок, так слепящий глаза. У него и запах необыкновенный. Иногда мне кажется, первый снег пахнет тестом, да, да, тестом, дружно взошедшим в квашне на хмельной опаре. А в другой раз — прихваченными морозцем анисовыми яблоками.

В сквере, куда я пошел погулять, тоже все старательно было запорошено первым снежком: и аллеи, и пеньки, и скамейки. Глаза даже заслезились с непривычки от этого белого, без единого пятнышка, нерукотворного покрова.

На развилке трех аллей стояла березка. Еще вчера она была увешана звонким горящим жаром. А вот этой ночью весь свой наряд разбросала по снегу красавица.

Уж не хотела ли молодая березка такой дорогой ценой отсрочить приближение суровой и долгой зимы?

НАПОМИНАНИЕ О ЗИМЕ

Первый — октябрьский — снежок давным-давно растаял. И хотя ночами подмораживало, но дни стояли на редкость сухие, звонкие.

Вот-вот должен был пришагать ноябрь, а тихим солнечным денькам, думалось, не будет конца.

Я часто в эти дни бродил по нашему светлому, просматриваемому из края в край леску, кроткому, немного задумчивому. От земли тянуло горчащим запахом тлеющих листьев и на диво вкусным, щекочущим ноздри грибным духом. Канавы и овражки пахли по-своему: банной прелью. От застоявшихся лужиц с ртутно-свинцовой водой обдавало знобящей пещерной стужей.

Люблю, несказанно люблю я наши русские леса в пору поздней осени! Бредешь не спеша по шуршащей листвой капризно петлявшей тропке, бредешь, и сердце стесненно и трепетно замирает в груди, точно ты идешь на свидание с милой.

Где-то в стороне дробно постукивает невидимый работяга дятел, как бы посылая в тьму неведомых веков таинственные позывные. А вот впереди опустилась на елочку-малютку с розовыми свечками взбалмошная сорока и ну давай стрекотать неуемно! И будто по сигналу лесной сплетницы, над леском взметнулось черной тучей воронье и закружилось, закружилось, пронзительно каркая.

Не знаю почему, но только иной раз, шагая безлюдной лесной тропой, я мыслями уношусь к былинному прошлому наших пращуров-богатырей...

Однажды как-то остановился я у небольшого изумрудно-зеленого бугорка с приземистым дубом. Уж больно соблазнительна была молодая игольчатая травка. Молодая травка в октябре.

«Почему бы тебе не посидеть на этом роскошном ковре?» — спросил я себя.

Подошел ближе к старому дубу, а в лицо как пахнет погребной сыростью. Еще шагнул, и вот что увидел: за деревом, с северной стороны, темнел глубокий овражек. А на самом дне овражка притаился ком сырого, дышащего на ладан, снега.

Вот тебе и на! В эмалевой блеклой вышине светило тихое солнце, пригревающее спину, рядом в кустарнике резво цвинькала какая-то пичуга, а я стоял над овражком, смотрел на жалкий ноздреватый комок снега и думал о близких уже теперь метельных снегопадах и трескучих морозах.

СИНИЦА

Октябрь. Минула всего лишь неделя нового месяца, а деревья в парке оголились чуть ли не все. Изо дня в день дуют северные прохватывающие ветры да секут косые, как бы продымленные, дожди.

Неуютно в парке, а нынче — особенно. И хотя вокруг тихо, не шелохнет багряный, в лиловых прожилках листик на клене и с неба не моросит, а вот не радуется сердце, да и только.

Над притихшим — немотно-глухим — парком плывут тяжелые, аспидно-вороненые облака. Вот-вот, кажется, посыплется на неуютную землю сухой колючий снег. А облака все плывут и плывут, одно мрачнее другого.

Начинают зябнуть ноги, и я уж подумываю: не пора ли отправляться домой?

Вдруг на тропинку, припорошенную палым жухлым листом, опустилась синица. Веселая, резвая... вся какая-то чистая, опрятная, будто она только что в бане помылась. Повела синица хвостиком туда-сюда и бойко поскакала к лужице, тускло серебрившейся неподалеку от клена, словно собиралась полюбоваться на себя в зеркальце. Но на полдороге передумала: «Я и так знаю, что хороша!» Радостно цвинкнув, вспорхнула на ветку дерева. И снова звонко цвинкнула.

— Чему ты радуешься, птаха? — спросил я синицу.

Спрыгнула веселая птаха на самую нижнюю ветку, повертела жуковой головкой с белыми щечками, глядя на меня то одной черной бусинкой, то другой.

И я сразу все понял. Наступающей зиме радуется храбрая синица. Это к встрече зимушки-зимы так она расфуфырилась.

О МУРАВЬЯХ

Ранним утром шагал по тихому, призадумавшемуся бору. Наверно, перед дождем не пели птицы, не тукал непоседа дятел.

Глухо в бору. Лишь потемневшие, будто в туманце, макушки поразительно стройных в этой чащобе сосен раскачивались еле-еле, раскачивались бесшумно.

И все же было упоительно отрадно шагать по безмолвному, как бы окаменевшему, лесу. В век атомной энергии все реже и реже встречаются на земле нетронутые, первобытно-тишайшие уголки. А побыть иной раз в тиши, наедине со своими мыслями, мне кажется, совсем не грешно даже тем, которые оснащают нашу и без того шумную жизнь грохочущей техникой.

Притомившись, я решил посидеть на грифельно-черном от дождей и времени пне, все еще крепком, не трухлявом.

Рядом с пеньком стоял папоротник — стройный, точно крошечная пальма. От прямого стебля на высоте примерно полметра расходились в стороны три широких упругих листа с длинными, в стрелочку, узорчатыми усиками. Кому хоть раз в жизни довелось видеть необычный по своей красоте куст папоротника, никогда уж потом его не забудет.

Я не сразу заметил в развилке, между расходившимися в стороны листьями папоротника еловую шишку. Наверно, во время ветра, падая с дерева, угодила шишка в эту развилку. Тут она и осталась, зажатая точно в клещи.

Но не папоротник, не шишка поразили меня. Поразило меня другое. Большую ощерившуюся шишку предприимчивые муравьи превратили в свое жилье.

Они без передышки сновали вверх и вниз по жесткому порыжелому стеблю папоротника. Вниз спускались без поклажи, а вверх тащили букашек, сухие хвойные иглы и всякую другую добычу. Шишка уже обросла всевозможными пристройками, ходами и переходами.

— Неужели вы надеетесь на прочность своего жилища? — спросил я трудолюбивых муравьев.— Стоит пробежать мимо зверю, наступить на папоротник человеку, и конец вашим стараниям! Несдобровать вам здесь и осенью, когда польют холодные дожди.

Но муравьи все с тем же рвением продолжали свою работу.

Не правда ли, случается такое и с нами?

ДУБОК

> Когда буря с корнем вырывает дубы, робкие травы кланяются, может, потому и выживают. Но дубы, падая сраженными насмерть, роняют на землю желуди, и неистребимое племя могучих продолжает жить...
>
> *М. Обухов*

Этот дубок я впервые увидел года три назад. Он как бы только что выбежал впопыхах из мрачноватого, нелюдимого бора. Выбежал на сырую от хлюпающего под ногами снега голую пустошь и, растерявшись, замер на месте.

Чуть ли не целую неделю перед этим ералашила природа. То крутила-вертела шальная огнистая метелица, безжалостно обрывая с деревьев листву, то частил косой злющий дождь, мутными потоками сбегая по стеклам окон, то преждевременно лепили напропалую сырые хлопья, без разбору крася в белый цвет все подряд...

Наконец как-то поутру все стихло, и когда наступил неохотно унылый слепой рассвет, я отправился в лес.

Вот тогда-то, подходя к опушке, я и заметил впервые этот тонюсенький дубок, весело и дерзко махавший мне своими узорчатыми ладошками. Он как бы манил случайного путника, призывая полюбоваться им, смельчаком, не забоявшимся выйти из леса на открытую всем ветрам и буранам пустошь.

Угрюмо смотрели старые ели на дубок-малышку, словно бы осуждая его. Мне стало жалко крошечный этот дубок. Подумать только — один-одинешенек стоял он на краю опушки, намереваясь первым обосноваться на неуютной и голой этой земле. Хватит ли у дубка сил выдюжить? Побороть метели и морозы, выстоять под палящим солнцем в изнуряющую жару?

В начале ноября перед отъездом на зиму в город отправился я на опушку попрощаться до весны с молоденьким дубком.

Признаюсь честно — не сразу отыскал его среди полегшей бурой травы, осыпанной крупчатой морозной солькой. Узорчатые листики-ладошки опали, и дубок, недавно еще такой веселый и задорный, стоял поникший.

— До свиданья! — сказал я дубку как можно бодрее, хотя на душе у меня и было грустно.— Весной снова встретимся, слышишь, малыш?

Зима в том году выдалась суровая. Что ни день — то мороз, что ни день — то метель. И в эти куда как длиннущие зимние месяцы я не раз вспоминал и железнодорожный поселок вблизи старого бора, где живал летом, и голую пустошь...

«Как ты там? — обращался я мысленно к тонюсенькому дубку.— Не вырвали тебя с корнем метельные ветры? Не сломали тебя тяжелые сугробы?»

В марте мне нездоровилось, а в начале апреля, едва оправившись от болезни, я засобирался в знакомые места.

Встреча с дубком произошла в солнечный тишайший полдень, на редкость тишайший для этой шальной, будоражащей все живое поры года — самой молодой и самой радостной.

Земля, начавшая оттаивать, курилась, пропитывая воздух теплой, духовитой сыростью, так некстати затуманившей влекущие к себе райской синевы дали.

Дубок выдюжил. Прямой и гибкий, он смело тянулся к благодатному ясному солнышку, расправив свои веточки-прутики. С одной такой ветки только что вспорхнула, пронзительно пискнув, пестренькая пичужка.

Казалось, дуб все-то все радовало: и пробивавшиеся сквозь полуистлевшую листву упругие усики-шильца, и сверкающая опаляющими искрами лужа талой воды, и умытые первым дождем сосенки и ели. Думалось, дубок не серчал даже на одряхлевшую березу с засохшими корявыми сучьями, неодобрительно взиравшую на него, молодца, одолевшего и зимнюю стужу, и затяжные бураны.

В конце октября этого вот года, заявившись на пустошь попрощаться с другом до будущей весны, я был поражен. Дубок мой, недавно такой одинокий, был окружен целым хороводом. Тут стояли и елочки, и березки, и дубки. Две елки и дубок посадил весной здесь я, выкопав их со дна болотистого овражка в бору, где они совсем было зачахли, но, скажите на милость, откуда взялся еще десяток ершистых карапузов?

Стоял, потирая руки, и уже зримо видел молодой дубок стройным, сильным деревом, отбрасывающим на землю живительно-прохладную тень. Рядом же с дубом тянулись к небу его молодые братья и сестры.

Я понимал — не скоро этому быть, но ведь и те вон могучие ели и березы тоже не сразу стали большими.

Пройдут годы. И на голой, кочкастой пустоши вблизи ничем не приметного железнодорожного поселка под Клином беззаботно и радостно залопочет молодой курчавый лесок.

СИНЯЯ ПТИЦА

Однажды утром — продымленно-пасмурным — я долго ждал на глухом подмосковном разъезде электричку.

Начиналась вторая половина августа, но беспризорные пристанционные осины шумели уже по-стариковски ворчливо, предчувствуя близкие холода. А из гиблого ельника, начинавшегося за кочкастым болотцем с плешинами заплесневелого мха, нет-нет да и задувал промозглый стылый ветер.

Немногочисленные пассажиры, ожидавшие электричку,

кутались кто во что попало: в шуршащие негреющие плащики, ватные телогрейки, демисезонные пальто. Один же старец, которому, должно быть, перевалило за девяносто, бодро восседал на скамейке в новом, черной дўбке шубняке.

Приплелась из леса грибница — не старая женщина с бледным, печальным лицом, просвечивающимся какой-то незабудковой синевой, всем своим видом напоминая хрупкую, поблекшую травинку.

В ее небольшой корзинке, еле прикрывая дно, виднелось несколько озябших сыроежек и пара крепеньких подосиновиков.

Видно, не мало поколесила женщина по холодно-промозглому ельнику: резиновые боты ее были в глине по самые голенища, а коричневые потемневшие брюки прилипли к ногам. И все же, как показалось мне, не грибы заставили одинокую женщину совершить раннюю прогулку по неприветливому ельничку в эту неприветливую пасмурную рань, а что-то другое.

Купив в кассе билет, она остановилась с ненужной ей корзинкой у края платформы и от нечего делать со скучающим видом смотрела на рельсы, тоже тусклые, как это серенькое, не предвещающее ничего хорошего утро.

И тут на моих глазах женщина внезапно вся преобразилась, забыв и о своих гнетущих заботах, и о смертельной усталости. Взгляд карих глаз заметно оживился, а впалые щеки слегка посмуглели, точно налились внутренним жаром.

— Ба-а... да откуда же ты взялась, такая забавница? — тихим бархатистым грудным голосом с оттенком радостного изумления сказала женщина, ни к кому особо не обращаясь.

Между шпалами царственно разгуливала небольшая, изящно-легкая птаха пронзительной, неземной синевы. Диковинная эта птица, ни на кого не обращая внимания, что-то сосредоточенно клевала, изредка перепархивая со шпалы на шпалу. На почтительном расстоянии от синей птицы, как бы зачарованные ее красотой, прыгали серыми шариками притихшие воробьи.

Скучающие пассажиры, забыв про опаздывающий поезд, тоже заинтересовались редкостной в наших местах птицей. Теперь на краю платформы стояло около десятка любопыт-

ных. Даже дед в новом шубняке приковылял, опираясь на кривой свой посошок. Все молчали, боясь спугнуть величаво-царственную птаху.

Заговорил первым плотный белобрысый парнишка в школьной форме. Презрительно ухмыляясь, он процедил сквозь зубы:

— Невидаль какую нашли. Обычный попугайчик, и все тут! Яснее ясного: из клетки у разини сбежал.

И, помолчав для солидности, добавил:

— Вроде генерала со своей свитой разгуливает. Вот умора!

Вскоре показалась вдали наша электричка, и птичья стайка шумно разлетелась. Я даже не заметил, в какую сторону упорхнул попугайчик — синий-синий, как пронзительно глубокое африканское небо.

Но зато вплоть до Москвы я наблюдал за тонкой, точно былинка, женщиной-грибницей, сидевшей смирно на лавке напротив меня. Она сейчас уж не казалась чересчур грустно-задумчивой, усталой и поблекшей...

ПРОЩАНИЕ

Последние дни сентября. Что ни рассвет — то зазимок. Вышел поутру во двор и не узнал сада. Яблони, вишенник, колючие кусты крыжовника расточительно посеребрил инеем ранний морозец. По хрусткой, присыпанной солькой траве ноги скользили будто по льду.

Глухо. От начинавшегося через дорогу перелеска воровато крался туман. Прямо-таки на глазах смыло серой волной придорожные осинки, а щеголевато-кокетливая дачка, стоявшая напротив, уже вырисовывалась расплывчатым силуэтом.

Поеживаясь, я прошел в конец сада к такому крошечному озерку-пятачку. Над водоемом клубился пар. Уж не грел ли воду темной ночью домовой, чтобы всласть помыться? Да вот замешкался, старый, проклюнулся грустный рассвет, и ему пришлось удирать восвояси.

Присев на корточки, опустил в озерко зябнущие руки, да тотчас обратно их отдернул. Обожгла вода, обожгла ломотным холодом. По тусклой стылой поверхности озерка кружились медленно ржавые листья.

Где-то высоко над головой проплыл невидимый самолет. Ноюще-басовитый, натужный гул его мощных моторов еще долго слышался в одичало-глухой тишине наступающего дня, точно позывные с неведомой планеты.

И снова ни звука. Но чу... Откуда-то донесся до меня неуверенный, какой-то робкий свист. Оглянулся — никого. А через миг снова: «Тьюить, тьюить... Тью-ю-юить!»

«Неужто скворушка?» — спросил я себя, задирая вверх голову. Вершина стоящей у озерка березы с голубоватым скворечником тоже растаяла в тумане.

Когда родители научили скворчат летать и кормиться, шумливое птичье семейство покинуло свой домик на березе, отправившись в начинавшееся за колком поле. И с тех пор скворцы ни разу не навестили отчий дом.

И вот опять: «Тью-и... Тьюить...»

Свист не звонкий и задорный, какой обычно раздавался по весне, а задумчивый, с грустинкой.

«Ну конечно, молодой скворушка прилетел,— подумал я, осторожно разминая пересиженные ноги.— А иначе и быть не могло. Перед отлетом на чужбину птицы всегда прилетают к своему гнездовью попрощаться до будущей весны».

Не скоро ушел я от озерка. Все слушал и слушал грустную, не слаженную еще песенку молодого скворца, в душе досадуя на туман, липкими космами опутавший вершинку березы.

На другое утро моросил дождь. Но, едва проснувшись, я тотчас принялся потеплее одеваться. А выйдя на крыльцо, сразу же услышал скворчиный посвист.

Гибкие ветви березы облепила стайка скворцов. Похоже, всем выводком прилетели. Трепеща крылышками, скворцы свистели, перебивая друг друга, будто спешили куда-то. На коньке скворечника сидел, нахохлившись, отец семейства. Видно, невеселые мысли одолевали его.

Дождь усиливался, барабаня по крыше все хлестче и хлестче. Подгоняемый ветром, он уже нахально стучался в окна.

Внезапно скворцы сорвались с березы, как бы по команде, и полетели к гудевшему ворчливо мрачноватому лесу. Опаленные осенним жаром березки, стоявшие на опушке, впереди вымахавших ввысь елей, за одну ночь потеряли

весь свой червонный наряд, и теперь уж ничто не веселило принахмурившийся бор.

«До свиданья, скворушки! — помахал я рукой дружному семейству.— Прилетайте завтра!»

Но скворцы не появились ни на другой день, ни на следующий. Наверно, в то дождливое ветреное утро они прощались с отчим домом перед долгой разлукой. Наступали холода, и птицы устремились на юг. В теплых краях они переждут морозы и вьюги, а по весне вернутся на родину. Непременно вернутся. Ведь без родины ни человеку, ни птице не прожить.

НОЧНЫЕ ВЗДОХИ

Памяти выдающегося чешского художника Антонина Славичека

С утра моросил мелкий нудный дождишко. Ветер трепал березы на просеке. Ему, непутевому, хотелось оборвать с красавиц все золото. Но шуршащие листья пока еще крепко держались на ветках, не поддавались буяну.

Под окнами у меня стояли три яблони. Они тоже, казалось, не собирались расставаться с летним своим нарядом, будто не стучался в двери октябрь.

День был серый, как сумерки. И совсем не тянуло на улицу. Но под вечер, когда зануда дождь перестал, я пошел к ручью за ключевой водой. Пестрая от листвы тропинка петляла между кленами вперемежку с осинками. Заденешь плечом за низко опустившуюся ветку, отягощенную крупными жемчужинами, и тебя всего окатит холодным душем.

Возвращался от говорливого ручья с двумя полными ведрами воды. В одном из них плавал большой кленовый лист — весь-то огненный-огненный. Лишь набухшие прожилки отливали вороненой сталью.

Вышел на опушку и чуть не ахнул от изумления. Поселок был залит мягким оранжевым светом. Сверкали деревья, скворечники, коньки крыш, лужи. А в голубеющую промоину заглядывало низкое нежаркое солнце.

Стрелочник Отекин — сутулый, неопределенных лет человек, направляющийся на станцию,— поздоровался и сказал:

— К ночи как есть вызвездит.

Немного погодя Отекин оглянулся и прибавил веско:

— Ждите под утро заморозка.

Посмотрев на курчавый дымок над крышей дома врача-пенсионера, я подумал: «А Отекин, пожалуй, не врет. Вполне может ночью морозец тяпнуть».

Вскоре солнце заслонила дегтярно-черная тучка, но серая ветошь, нависшая над поселком, расползлась уже в разных местах, и в рваные промоины полились новые потоки света.

Взяв в руки ведра, я бодро зашагал домой. В этот вечер я допоздна засиделся и лишь часов эдак в двенадцать, перед сном, вышел во двор. Когда взялся за перила, ладонь обожгло холодом. Пригляделся, а перила, ступени, деревья перед домом были покрыты густым слоем инея.

«Ну и Отекин, ну и провидец!» — усмехнулся я про себя.

Дышалось легко. Ядреный, звонкий воздух, имевший привкус антоновских яблок, бодрил и волновал.

Над головой, в непроглядной черноте ночи перемигивались загадочно звезды. Но... откуда эти вороватые звуки? Прислушался чутко. А они — осторожные шорохи — раздавались и справа и слева.

Щелк, щелк... О, да это листья с деревьев падали. Не могли выдержать осенние листья тяжести обильного инея и, надламываясь в черешке, падали и падали на землю. На моих глазах яблонька, стоявшая у крыльца, за какие-то считанные минуты сбросила с себя дорогое серебряное убранство.

Щелк, щелк... Мнилось, каждый листик огорченно вздыхал, навсегда прощаясь с деревом.

Набрав целую пригоршню тяжелых искрящихся листьев, я поспешил в дом. И осторожно высыпал их, дышащих стужей, на стол.

ОДНА СЕНТЯБРЬСКАЯ НОЧКА

Еще вчера клены и липы под окнами были по-летнему зелеными. Погода баловала: солнце светило с утра до вечера, и приятному теплу, не столь частому в Подмосковье в конце сентября, казалось, и конца не будет.

Вчера же бродил я по тихому, празднично пестрому

Покровскому лесу. Чуть ли не на каждой полянке бросал на траву куртку и, вытянувшись во весь рост, смотрел подолгу вверх. Небо было просторное, голубизны прозрачной. И дышало оно, мнилось, свежестью непорочной.

Хотя тебя все-то все радовало: и теплынь благодатная, и форсисто нарядные березки, и лесные пичуги, с писком порхавшие с куста на куст, а душу нет-нет да и схватывала клещами щемящая грусть.

«Наверно, это потому... потому, наверно, душа беспричинно омрачается, что не за горами уж и дожди секучие, и ветры буйные,— подумал я, собираясь домой.— Она, осень, от своего не отступится. Приглядись-ка повнимательнее: вон и осока в ложке́ полиняла, а от лужи придорожной стылой сыростью тянет».

Когда же подходил к дому, то снова залюбовался своими кленами и липами — такими завидно молодыми, такими беззаботно веселыми.

— Похоже, продержится еще вёдро,— сказал я жене, садясь обедать.— Деревья под окнами, как в июне,— листика желтого не сыщешь.

В сумерках пала на землю обильная, тяжелая роса, а из леса воровато пополз сырой туман. Ночью в нетопленных комнатах стало прохладно.

Поутру, едва встав с постели, я подошел к окну, выходившему на тихую улочку. Окно за ночь все запотело.

Вытер ладонью студеные капли со стекла, глянул на липы и клены и не узнал их.

Увешаны были липы высветленными, с ладонь, медалями, словно бы только-только отчеканенными. Такие же жаркие медали натеряли липы и на поседевшую траву. А клены... клены багряно пламенели.

Вот что наделала одна лишь ночка в последних числах сентября. Ночка студеная, окропившая землю обжигающе едучей, точно соляная кислота, росой.

УЛЫБКА ЛЕТА

В том году были ранние заморозки. И чуть ли не в пятнадцатых числах сентября стали опадать с деревьев листья.

Едва подует ветерок, и над парком поднимается косма-

тая рыжая вьюга. Летят багровеющие, лапчатые листья, иные чуть ли не с тарелку, летят вперемешку с ними круглые, лимонные, все, как один, похожие друг на друга. Кружатся листики стрельчатые, узорчатые, легкие и тяжелые...

Бредешь по аллее, а листья так и стелются, так и стелются тебе под ноги, как бы прося защиты от неумолимо жестокой судьбы. И меня каждый раз охватывают неловкость и смущение, когда я ступаю на только что распластавшийся на земле лист — такой беспомощный и такой все еще поразительно прекрасный. Всего лишь минуту назад он, этот лист, еще жил, трепетал на вершине дерева, а сейчас вот... Не правда ли, грустный конец?

В октябре опустевший парк стоял весь-то весь голый. Думалось, он даже стыдится этой своей беззащитной наготы. И только на одной осине, тоже голой, сквозившей до самой вершины спутанными ветвями, трепетали мелкой дрожью на сыром, промозглом ветру два зеленых листика, два сочных, клейких листика... Такими они обычно бывают в июне.

Я долго не мог оторвать взгляда от трепещущих листочков. Казалось, это само щедрое лето улыбается мне.

ПРЕДЗИМЬЕ

Осенью меня всегда тянет в деревню. Здесь прощаешься с летом, здесь встречаешь предзимье.

Выйдешь поздним студеным вечером за околицу, а над тобой в недосягаемой кромешно-черной бездне перемигиваются с таинственной насмешливостью пучеглазые звезды, равнодушные и глухие к земным нашим радостям и потрясениям.

Опустошенные поля. На удивленье явственно проступающие в просветленной до синевы полоске горизонта перелески. И поля и перелески чутко, вполуха, дремлют, к чему-то прислушиваясь. Не к этой ли вот безысходно-тоскливой перекличке отлетающих в теплые страны журавлей? Косяка журавлей я не вижу, хотя и всматриваюсь в небесную высь с отчаянной надеждой. Но трубные прощальные крики благородных, нелюдимых птиц долго еще бередят мою душу.

— До свиданья! — шепчу я непослушными губами.— До будущей весны, журавушки!

Вернувшись в деревню — во временное мое жилище, долго стою у подтопка, прижавшись нахолодавшей спиной к горячим кирпичам.

В избе сейчас тихо, но тишина эта не удручающе-сонная, будто тяжелый дурман, а светлая и легкая, располагающая к размышлениям. Правда, очень и очень тихо: слышу даже, как за стеной, в сарайчике, вздыхает соседская Милка, уставшая пережевывать жвачку.

В окно нежданно-негаданно заглядывает любопытница звезда, и росинки, бисеринами покрывавшие стекла, вспыхивают вдруг неисчислимыми россыпями драгоценных камней. Я бреду, спотыкаясь, к скрипучему топчану, потирая рукой слипающиеся глаза.

А наутро, бодрый и свежий, досыта наплескавшись из рукомойника целебной ключевой водицей, отправляюсь в одичавший от дум лес, бесповоротно распростившийся с летом.

Ознобно-зыбкий ночной туман все еще держится не только в низинках, и без того сырых и топких, но и на полянах и на пригорках. И позднему, уж не греющему солнцу не легко будет растопить эти молочно-вязкие «реки». Теперь туман держится чуть ли не до полудня.

В лесу тихо, как в глухую полночь. Не дрожит даже блеклый осиновый листик, чудом уцелевший на самой макушке тоненького деревца. Изредка мне за ворот ватника падают тяжелые свинцовые капли, обжигая шею ледяным кипятком.

Пройдет еще сколько-то дней, думаю я, и зима подступит к самому порогу. Заявишься в лес и не узнаешь знакомых мест. Вся земля окажется щедро посыпанной искристо-морозной солью. Затянет прозрачным ледком лужи в низинках. Бросишь желудь, и он гулко подпрыгнет раз-другой, а потом волчком завертится на сверкающем льду, словно на вощеном паркете. И голый перелесок будет просматриваться из конца в конец, до того прозрачен в эдакие звонкие денечки ядреный — ну, ей-ей, горный — воздух!

А сегодня вот глухо и сыро в лесу. Ни хлопотливого птичьего щебета, ни сторожкого шороха пугливых зверьков. Неужели еще дремлют на деревьях пичуги, а четвероногие обитатели уже попрятались в свои норы и дупла?

Стараюсь идти бесшумно, но опавшие листья нет-нет да и подведут... Чу! Кажись, слышу еле уловимый скрежет. Замедляю шаг, а потом и совсем останавливаюсь, прижавшись плечом к низкорослому, крепкому дубку.

Перевожу дыхание и воровато выглядываю из-за ствола. Ба, да это же белочка копошится... вон у той березы в кустах. Подаюсь слегка вперед, но чуткий зверек замечает непрошеного гостя. Цокая громко, сердито, белка стремглав взлетает на дерево. И, махнув на прощанье распушившимся хвостом, скрывается где-то у самой вершины.

И тотчас над березой начинает виться стайка крикливых соек, таких же болтливых, как и сороки. Видимо, шустрая белка потревожила их.

А минутой позже совсем рядом — или так показалось? — жалобно и надрывно простонала незнакомая птица.

Нет, не вымер лес, и постоянные его обитатели усиленно готовятся к суровым, затяжным холодам.

В деревню я возвращаюсь под вечер, еле волоча ноги, но донельзя довольный своей прогулкой. Ведь сколько других лесных обитателей повидал я за этот короткий октябрьский день!

Встретил на вырубке стаю прожорливых дроздов, облепивших красавицу рябину, всю-то увешанную гроздьями спелых ягод. Слышал дробную стукотню неунывающего лесного лекаря дятла, веселое посвистывание порхающих тут и там подросших синичат. Издали, в бинокль, наблюдал за спокойным, нагуливающим жир лосем, щипавшим перестоявшуюся траву.

Возвращаюсь с лесными дарами: в руках охапка рябиновых веток, унизанных алыми, кровавыми горошинами, а карманы отягощены крепкими кофейно-коричневыми желудями. Эти дары природы я повезу в Москву, хозяину уютного домика-мастерской, прикованному к постели тяжелым недугом.

Но и тут — в небольшом дворике с голыми печальными березками — меня поджидал сюрприз.

Едва захлопываю за собой легкую калиточку, как сразу же останавливаюсь в недоумении.

По песчаной белесо-желтой дорожке неторопливо — один за другим — скользят препотешные шары. Словно шары эти скатал из опавших листьев какой-то забавник.

Сбив на затылок кепку, смотрю во все глаза на странно-загадочных путешественников. О, да ведь это... ежи! Сквозь побурелые листья торчат в разные стороны острые иголки.

Первой по дорожке катится мать-ежиха, а за ней малыши — совсем крошечные «колобки». Малышей четверо.

Стою и жду, что будет дальше. Интересно же знать, куда держит путь колючая семейка. Но вот — откуда ни возьмись — появляется Влас, соседский кот-разбойник. Лохматый, черный, будто дьявол, Влас бросается, не раздумывая, на ежиху. В ту же секунду он пружинисто отпрыгивает в сторону. И смешно машет лапами, точно обжег их о раскаленную сковородку.

«Так тебе и надо, злодей!» — думаю я мстительно, припоминая не один случай из набегов Власа на мою кладовку.

Свернулись клубочком ежи. Не шевелятся. А кот-разбойник, полизав наколотые лапы, теперь уж осторожненько, шаг за шагом, приближается к самому маленькому ежику, волоча по земле унизанный репьями хвостище.

Ежик, наверно, даже дышать перестал. Представьте-ка на миг себя в его шкуре! Все так же осторожно Влас начинает свой обход вокруг крошечного «колобка». Восемь раз «протанцевал» хитрюга Влас вокруг онемевшего от страха ежика. И лишь после этого решает легонько толкнуть его лапой. Ежик шариком катится к обочине дороги. Тогда Влас принимается катать беспомощного ежика туда-сюда, ровно надумал поиграть в футбол.

Старая ежиха, чуть приподняв голову, с тревогой глядит на проделки кота-разбойника. Улучив удобный момент, она бесшумно подкатывается к своему беззащитному малышу. Когда же Влас, на какой-то миг отвлеченный от ежика пролетавшей совсем низко пройдохистой сорокой, снова намеревается возобновить «игру», смелая ежиха, устрашающе фыркая, с отчаянной решимостью бросается на кота. И разбойник Влас, не ожидавший такого дерзкого отпора, в смятении прыгает на забор.

Выждав минуту-другую, колючая семейка возобновляет свой путь. Поравнявшись с крыльцом, ежи сворачивают в сторону и скрываются под верандой.

Немного погодя я тоже направляюсь к невысокому крылечку с причудливыми узорчатыми балясинами. Положив на ступеньку ветки рябины, сажусь на корточки.

И заглядываю под веранду. Ежей и след простыл. Куда же они делись? Не сразу замечаю рядом с ворохом сухой листвы отверстие в завалинке. Терпеливо и чутко прислушиваюсь. Ни звука, ни шороха.

Думаю: «Должно быть, у ежей в завалинке нора. Зимняя нора. Они так спешили... Неужели зиму почуяли?»

В ночь ударил мороз. Подхожу утром к окну, а трава во дворике вся инеем покрыта. Хватаю ватник и выбегаю на крыльцо, тоже все в крупном зернистом инее.

На крыльце стоит ведро с водой. Вечером я забыл внести его на кухню. Вода в ведерке замерзла. Стучу кулаком по толстому кружку, а лед не ломается. Вот это морозец! Не зря спешили вчера в свою теплую нору ежи.

Дышу полной грудью. Воздух ядрен, заборист.

На стоящую у крыльца березу опускается снегирь. Киваю ему, улыбаясь:

— С наступающей зимой, красногрудый!

Вот почему меня всегда тянет осенью в деревню. Здесь прощаешься с летом, здесь раньше, чем в городе, встречаешь зиму.

АПРЕЛЬ В ДЕКАБРЕ

Как-то в начале ноября вдруг повалил густущий снег. Целый день с неба падали и падали пушистые хлопья — словно белые бабочки.

В ночь ударил мороз. Снег не растаял. А потом в течение недели раза три еще перепадал снежок. И уж думалось: неужто затвердевший сахаристой корочкой снег этот так и не растает? Неужто так прочно, по-хозяйски, водворилась в наших краях зима?

Совсем незаметно подкрался декабрь. Как-то поздним вечером перевертываю листик календаря и слышу: в окно кто-то с яростью бросил горсть дробин. Заглянул за полушторку, а стекла в уличной раме все рябые от прозрачных слезинок. И в каждой слезинке крошечный золотой бусиной отражается уличный фонарь.

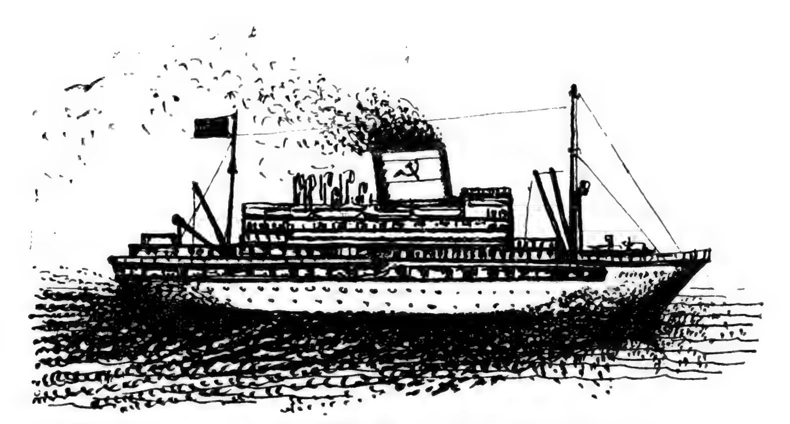
Все сильнее и сильнее барабанил в окно дождь. В желточного цвета кругу от уличного фонаря осевший снег уже плавился, словно воск.

Наутро пошел я погулять в стоявший за домом лесок.

Под ногами чавкала жирная вязкая грязь. Глядел на раскислившуюся по-весеннему дорогу и недоумевал: а был ли снег в самом деле? Всюду вокруг порыжелые поляны, весело зеленеющие сочной травкой бугры и фиолетово-коричневые пласты чернозема.

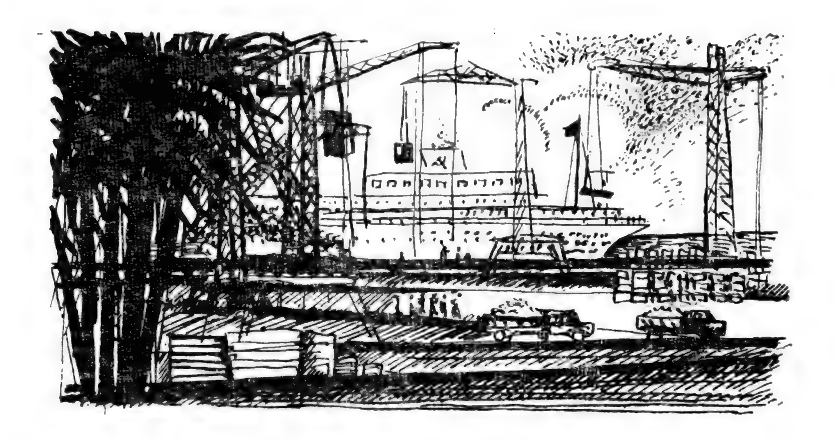
И лишь в лесочке под деревьями таились рваные грязно-серые лоскутки еще не истаившего снега. И уж как-то не хотелось смотреть на эти неопрятные лоскуты-ветошки.

Вдруг сквозь перепутанные голые ветки засквозило синее-синее — апрельское — небушко. А когда я вышел на полянку, проглянуло и улыбчивое, прямо-таки знойное, солнце.



ОЗОРНАЯ ЗВЕЗДОЧКА • РАССКАЗЫ





СКАЗОЧНАЯ ЯВЬ

В Москве зима. Своей непогрешимой белизной снежные поля поразили меня особенно в тот миг, когда самолет набирал высоту. Они, эти иссиня-сахарные сверкающие сугробы с тонувшими в них черными перелесками, тянулись, казалось, до самого мглистого горизонта.

Наша огромная стальная птица поднялась на высоту девять тысяч метров. Смотрю в окно, а под крылом все тот же снег, снег и снег. Белое поле без конца и края. Словно летим мы над вечными льдами Арктики. Не сразу догадываюсь, что под самолетом уже не снежное, а небесное поле — спрессованные до густой плотности облака.

В районе Риги в кипенно-белом облачном поле появились прорехи. С головокружительной высоты смотрю вниз. То тут, то там замелькали островки земли: какие-то темные кружочки, прямые полоски, тонкие и длинные, похожие на линейки из ученической тетради, кирпично-красные квадратики... А вот и беловато-синяя подкова Рижского залива.

Под крылом снова потянулась нетронутая торосистая целина. Потом в этой облачной целине стали образовываться провалы. Через час после Риги пролетали над Копенгагеном: смутно-зеленые ленты лесов, белые, красные, серые кубики и квадратики, коричневые островки величиной с двугривенный, брошенные чьей-то небрежной рукой в спокойную сизую гладь пролива.

Потом опять как во сне под крылом промелькнул Амстердам со своими однообразными, вытянутыми по ниточке каналами. Этим каналам не было числа.

В самолете тихо, светло. Не потому ли многие пассажиры и спят так безмятежно? Неподалеку от меня, в соседнем ряду, сидит знакомый режиссер одного из московских театров — тучный, лысый, с лицом хитрого мужичка себе на уме. Он спит уже около двух часов. Режиссера не потревожил даже дерзкий солнечный зайчик, весело затанцевавший на его полированной, как бильярдный шар, голове.

В начале третьего вошли в полосу сплошной облачности. Казалось, щедрый бог выплеснул во вселенную несметное количество молочных рек. Молоко над нами, молоко и под нами.

Замечаю, самолет пошел на снижение. Но есть ли под нами земля? Теряем высоту с баснословной быстротой, а белесая муть по-прежнему плотна и липка. Даже не видно конца огромного, распластавшегося над бездной крыла нашей сильной птицы.

И вдруг внизу промелькнул кусочек сочных зеленых лугов. Уж не померещилось ли мне? И тотчас еще — лоскуток распаханного чернозема с тускло-серебристым, как старое зеркальце, озерцом.

Бешено несущиеся седые космы опять скрыли от меня французскую землю. Но она все ближе и ближе. Теперь уже четче видны в мелькающие рваные прорехи и остроконечные черепичные крыши домов, и грифельные полоски шоссе, и фиолетово-черные шапки еще не распустившихся деревьев.

Под окнами аэропорт Бурже. Посадка.

Пряно-теплый воздух, пронизанный горьковатым запахом первой зелени и сырой земли, на какой-то миг застревает в горле. А потом он живительным потоком льется в легкие, и все тело, уставшее от долгой неподвижности, наливается упругой легкостью.

Схожу вниз по лесенке и жадно оглядываюсь по сторонам. Влажно сияющий асфальт, пронзительно яркая влажная травка. А над головой золотисто-латунное маревое небо...

Но где же наши подмосковные скрипуче-певучие сугробы? А ведь прошло с тех пор, когда в последний раз я ви-

дел их из окна быстрокрылой птицы, всего-навсего три с половиной часа!

...Елисейские поля в сиреневой дымке, площадь Конкорд с розоватым игольчато-тонким обелиском Луксора, величественная громада Триумфальной арки на веселой, в скачущих солнечных зайчиках площади Этуаль, простенькие прокопченные улочки и переулочки, громоздящиеся в гору, в сторону романтического Монмартра... А вот и серебристо-дымчатый, будто видение, собор Сакрэ Кер в молодом лунном свете. А внизу, в сиянии той же по-весеннему легкомысленной луны,— Париж. Вечерний Париж, обрызганный живыми мигающими огнями. Думалось, что даже сюда, на Монмартр, долетало трепетное дыхание этого вечно юного города.

А наутро снова аэродром, теперь уже Орли, снова самолет, теперь уже французской компании «Эр Франс», и снова облака, туман и облака. И так долго — несколько часов — под крылом однообразная серая пелена.

Все пассажиры были утомлены длинным перелетом. И уж ничто не развлекало: ни французские журналы, ни французские леденцы.

Мои соседи слева — поджарый араб в золотых очках и неопределенных лет француженка с белым фарфоровым лицом — всю дорогу дремали. Спал даже геолог — один из участников нашей группы, самый неутомимый ходок по Парижу.

Мне уже надоело смотреть в окна на рыхлые ватные облака. Но вот в половине первого по местному времени серый небесный полог стал расползаться по швам и внизу показалась бледно-зеленая, точно выгоревшая на солнце, узкая полоска. Но это была не земля. Атлантический океан под нами.

Полог все расползался и расползался. Теперь внизу уже явственно виден и океан, будто дорогая шелковистая материя с неразглаженными складками-морщинками, и снежная пенная кайма прибоя, и рыже-коричневый песок — солено-мокрый песок побережья Африки! Вот она — Африка!

А еще через полчаса под крылом медленно проплыл, угрожающе дыбясь к небу, белокаменный Рабат — столица Марокко. Здесь у нас кратковременная посадка.

Едва ступили на африканскую землю, как в глазах за-

рябило от жарких ромашек. Это были они, наши любимые полевые цветы. А в конце летного поля к яркой синеве неба тянулись густо-зеленые деревья, похожие на стройные тополя. Такими шумливыми тополя бывают на родине в июне.

Тепло. Так тепло, что хочется поскорее сбросить с плеч пиджак. Но подождите, не сказочный ли это сон? Зима, весна, лето... И все эти невероятные превращения произошли на моих глазах за какие-то тридцать шесть часов? И все же это не сон. Это сказочная явь.

Так началось мое путешествие.

СУК

Неподалеку от Касабланки — всего-навсего в двадцати пяти километрах — стоит город Федала. Город промышленных предприятий, торговли, рыболовства. Федала также и курортный город. Славится он и своим рынком — суком.

Часов в двенадцать дня наш автобус подкатил к неописуемо живописному, разномастному... палаточному городку.

Наш гид — сухой и длинный как жердь старый араб — решил нас удивить.

— Сюрприз, сюрприз! — говорил он, улыбаясь и молодцевато первым выпрыгивая из автобуса на булыжную, захламленную обрывками мочала и бумаги мостовую.— Сук... Колоссаль сук!

И вот мы уже бредем по знаменитому арабскому рынку, оглушенные пронзительно-протяжными выкриками продавцов-зазывал, ослепленные невообразимой восточной пестротой.

А сверху в упор палит солнце. Оно обжигает голову, шею, руки, спину... Даже раскаленные булыжники дышат жаром. Над рынком, как над огненной адской жаровней, дрожит и плавится душный воздух.

Сюда приходят не только за покупками, но и просто так: поразвлечься, поглазеть, послушать последние новости, повидаться с близкими, знакомыми, перекинуться словцом с зазнобой сердца.

Навстречу почерневшему от солнца, плечистому, в косую сажень, кочевнику-скотоводу в рыжем грубошерстном бурнусе, размахивающему суковатым посохом, важно вы-

шагивает зажиревший улемаи — доктор ислама, весь в белом, из дорогой ткани одеянии.

Тут же толкается низкорослый ремесленник в синих шароварах и короткой красной куртке-безрукавке.

Женщина-берберка с открытым волевым лицом, по-праздничному нарядная (ее широченное платье — что маков цвет) азартно торгуется с вертлявым продувным лоточником, никак не уступающим по сходной цене нитку алых бус. А бусы полыхают соблазнительным огнем, точно это не камешки, а нанизанные на нитку капельки горячей крови. У берберки разгораются глаза, она торгуется все яростнее и яростнее.

А вот над толпой покачивается седая голова старого негра. Неужто он так высок? Нет, дед просто-напросто восседает на ленивом, равнодушном ко всему осле.

Сворачиваем влево и медленно плетемся вдоль двух рядов парусиновых палаток: красных, зеленых, белых, полосатых.

В одних палатках — ткани, в других — готовые платья, джиллаба, в третьих — эмалированная ярко-пестрая посуда. Иные палатки — ни дать ни взять «ателье мод». Сидя прямо на земле, поджав под себя ноги, арабы и арабки бойко крутят ручки швейных машинок. Машинки стоят тоже на земле.

В съестных рядах все запахи перемешались. И неудивительно. Рядом с палаткой-кофейней разместились на таганах раскаленные жаровни. В кипящем жиру подрумяниваются бараньи кусищи — по килограмму каждый. От скоромного чада начинает кружиться голова. А через пять шагов тебя обдает ароматом горячего мандаринового варенья...

Но что происходит вот в этих нескольких уединенных палатках? Никаких товаров в них не видно. В глубине неподвижно, как идол, сидит молчаливый человек.

— Писцы,— пояснил, вздыхая, гид.— Неграмотных у нас знаете сколько?— И он, не сказав больше ни слова, махнул рукой.

Замечаем ворожею. Она вся закутана в зловеще-черное покрывало. В ногах у ворожеи ровным слоем насыпано просо. А по просу разбросаны скелеты — не то мышиные, не то рыбьи. Между прожелтевшими костями — камешки.

Сбоку от ворожеи, вся дрожа от страха и смущения, си-

дит, как на огненных угольях, девушка. На голове у нее белый платок.

Когда мы проходим мимо, худенькая девчушка вдруг поднимает голову, и на какой-то миг в узкую щель в платке вижу ее глаза — наивные, пугливые, совсем детские...

Навстречу нам шагает оборванный араб с двумя раздувшимися бурдюками из козлиной кожи — черной мокрой шерстью наружу. Один бурдюк за спиной, другой — на груди. Сбоку на ремне болтаются медные луженые кружки.

Динь-дзинь, дзинь-дзинь! — однотонно звенит в руке араба колокольчик.

Это водонос. В его меховых бурдюках холодная ключевая вода. Кружка студеной воды в такую погибельную жару может показаться слаще всякого меда.

И к молодому водоносу, обливающемуся потом, словно его обмакнули с головой в кокосовое масло, то и дело подходят мужчины, женщины. Спрятав в кожаный карман, подвешенный к поясу, мелкие монетки, он проворно наполняет сверкающую серебром кружку прозрачной целительной влагой.

В разных концах пыльной площади толпится народ, сбившись в тесные клубки. Что привлекло сюда любопытных?

В одном месте истолкователь ислама — желчный, фанатичный старец — произносит проповедь. Он то падает ниц, прикасаясь к земле желтым, как старый пергамент, морщинистым лбом, обрамленным чалмой,— то вскакивает, точно ужаленный змеей, потрясая над головой Кораном, и кричит, кричит тонким дребезжащим голоском. Колючие маленькие глазки сверкают из-под клочкастых бровей сердито и мстительно. Но верующих вокруг дергающегося фанатичного старца не густо. А вот сказитель — тоже старик и тоже в белой чалме, но с открытым добрым лицом и лукавыми, со смешинкой глазами — окружен огромной толпой.

Как жаль, что я не знаю арабского языка! Ведь этот симпатичный дед, чем-то похожий на русских деревенских дедков, рассказывает, по всему видно, на диво занятные сказки. И, возможно, даже такие, которые не сыщешь в книге «Тысяча и одна ночь»! Лица слушателей и хмурятся, и улыбаются, и загораются ненавистью...

Чуть подальше — новая толпа, новое представление. В кругу — тубиб, знахарь. На пестром коврике перед этим высоким черно-синим безбровым негром, разукрашенным, будто невеста, ожерельями, талисманами, бляхами, разложены пучки сушеных наговорных трав, мешочки с семенами. В ящике нежатся большие светло-зеленые вараны. Изредка по команде тубиба вараны поднимают свои сплющенные головки.

Знахарь все время что-то выкрикивает, тычет железным перстом то в мешочки с семенами, то в чахлые пучочки трав.

Но тубибу, кажется, не очень-то верят. Я простоял неподалеку от него минут десять, и за это время никто из толпы не соблазнился купить у знахаря его наговорных снадобий.

СВЯЩЕННЫЕ РЫБЫ

Днем мы долго бродили по развалинам крепости Шелла. В седую старину здесь владычествовал султан Хассан. Теперь от его блистательного дворца остались лишь одни унылые полуобвалившиеся стены да горький запах тления.

Но живая жизнь не замерла даже в этой старой крепости-усыпальнице. Рядом с изъеденными дождями и временем надгробными плитами на могилах могущественного и грозного когда-то султана и его сына буйно лезут из земли цветы — сурепка, львиный зев, петунья. Такие цветы-цветики можно всюду видеть и у нас в России. Но тут же неподалеку стоит и диковинное дерево датура с огромными колокольцами-граммофонами. Эти большие кремовато-белые цветы висят на ветках датуры раструбами вниз, изливая на землю сладостный, дурманящий запах.

Всюду вокруг одряхлевших развалин цветущие лимонные деревья и апельсиновые с манящими спелыми плодами, точно маленькими оранжево-алыми солнцами. Нежные увядающие лепестки, снежными хлопьями запорошившие тропинки, пахнут душистым медком.

А вот и чудо-богатырь — дерево инжир. Этому исполину, говорят, ни мало ни много — восемьсот лет. Под густой зеленой кроной инжира пресвободно бы уместилась русская изба.

В крепости Шелла можно увидеть и знаменитый бассейн со священными рыбами. Бассейн небольшой, четырехугольный, с арками-нишами в прочерневших замшелых стенах.

Возле бассейна дежурит миловидная, еще не старая берберка в недорогом, но нарядном платье. На ее голове алый, в белых звездочках платок.

— Не хотите ли, медам и месье, посмотреть священных рыб?— спрашивает женщина, улыбаясь продолговатыми, чуть раскосыми глазами.— Я знаю, как вызывать рыб из укрытия... Но они сердятся, когда их обманывают. Купите вареное яичко, и я приглашу священных рыб на трапезу.

Спрятав медяки в кармашек платья, берберка берет в руки длинный прут-хлыст и бьет им по воде — прозрачной, ключевой. У наших ног разбиваются серебряные брызги.

Не прошло и минуты, как из-под арок, осклизлых от тины, стали выплывать змееподобные священные рыбы. Длинные, тонкие, с глянцевито-черными спинками. Извиваясь точь-в-точь как змеи, они медленно и важно скользят к середине бассейна.

Очистив яичко от скорлупы, женщина крошит его и бросает в воду. Белые и желтые крошки, касаясь хрустальной глади бассейна, плавно опускаются ко дну. Тут-то их и ловят священные рыбы, разевая острые змеиные пасти.

Берберка опять бьет по воде гибким хлыстом.

— Случается,— загадочно улыбаясь, певуче говорит она,— выплывает самая большая рыба... Королева священных рыб. Она приносит людям счастье.

Но королева священных рыб так и не предстала перед нашими очами, хотя берберка долго еще высекала из хрустальной глади бассейна серебряные искры.

Отчаявшись, она стряхнула с ладони последние яичные крошки и опустила погрустневшие глаза. Эта добрая женщина и впрямь, видимо, верила в легенду о счастье, приносимом людям королевой священных рыб.

РАССВЕТ В ДАКАРЕ

Шесть часов утра. Но небо черно, как в глухую полночь. В вышине луна — сияющий латунный диск. Звезды тоже ярки и крупны. Здесь самые яркие в мире звезды.

Пальмы. Под ними скамейки. Клумбы с цветами. Двугорбая гора. На самом высоком горбу стоит маяк. Каждую секунду ворсистую мягкую темноту прорезает острый, кинжальный луч света.

Идет восьмой час, а солнце еще не взошло. На востоке, у самого горизонта, плоского и голого, трепещущая малиновая полоска, будто кто-то выплеснул ведерко красного вина. Полоска эта все ширится и ширится. Светлеет и небо. Чистые голубые краски разливаются по всему небосклону. Луны и звезд уже нет и в помине. Они растаяли будто льдинки.

Я хожу и изумляюсь. Есть чему изумляться: оказывается, и здесь сколько знакомых цветов! Уж не в Подмосковье ли я вместо Западной Африки? Судите сами: белый душистый табак, алые лепестки настурции. А вот эти цветы... неужели герань? Да, самая что ни на есть настоящая герань — любимый цветок наших домашних хозяек. И опять ахи, и опять вздохи.

Отхожу подальше и облокачиваюсь на кирпичную невысокую изгородь.

Смотрю на восток, теперь объятый золотым пламенем, смотрю и думаю.

Как подолгу, бывало, мальчишкой простаивал я после уроков у карты... Почему-то особенно неудержимо влекла к себе загадочная Африка.

Волгарь, всем сердцем любивший свою голубоокую Волгу, я втайне от всех товарищей мечтал — ну, не смешно ли?— о путешествии по далекой-далекой Африке. Случалось, стоя у карты, старенькой, истертой на сгибах, я с пристальным вниманием изучал побережье полуострова Зеленый мыс, омываемое — подумать только!— Атлантическим океаном. А в другой раз я водил пальцем по дикому Нигеру, кишащему крокодилами, и по спине пробегали мурашки...

Не знаю, придется ли увидеть Нигер, но Зеленый мыс — вот он, его земля у меня под ногами.

Солнца пока не видно, но его пронизывающие лучи вдруг обжигают маяк на двугорбой горе, и он весь занимается золотым недымным столбом.

Наконец-то солнцу надоело играть в прятки, и оно выкатывается сразу — жаркое и огромное.

ПЕТУХИ

Прошлым летом я жил на Волге. Ночевал на веранде. Веранду со всех сторон окружали вишневые деревья. И каждое утро на заре меня будили горластые соседские петухи.

Эти утренние петушиные побудки отчетливо и зримо воскрешали в памяти далекие мальчишеские годы... Едва наступал май, и я, бывало, до осени перекочевывал на сеновал. И на зорьке, прохладной и росной, меня тогда тоже будили петухи. Кому еще, как не сельчанину, по сердцу эти петушиные разноголосые концерты!

— Но при чем здесь петухи?— спросит меня с недоумением читатель.— Ведь вы в Гвинее, а не у себя на Волге!

И я не забыл об этом. Не забыл и о том, как вчера, прилетев в Конакри, всю вторую половину дня бродил по городу, вечером был на чешской выставке, необыкновенно популярной у местного населения, а на сон грядущий, уже в сумерках, купался в океане. Плавал, а самому казалось, что купаюсь не в Атлантическом океане, а в большой-большой ванне, наполненной теплой, словно парное молоко, водой.

Спать лег поздно. Ночь была кромешно-черной и душной, до того душной, что в номере нечем было дышать.

Окно и балконную дверь я оставил распахнутыми настежь. Но и это не помогло. От океана не тянуло прохладой. В номер заползал парной влажный воздух, точно внизу, под балконом, стояла баня. Ничего не поделаешь: тропики!

Но уснул я все же быстро — сказалась многодневная усталость.

На заре меня разбудили... петухи.

Где-то рядом звонко и весело горланила целая петушиная армия.

Вначале я подумал, что все это происходит во сне. Мне снился родной Ставрополь с петушиными побудками на ранней зорьке.

Во сне, как мне думалось, я протянул руку, чтобы открыть в садик окно. Хотелось, закутавшись в байковое одеяло, еще подремать часок-другой под петушиное пение. Но рука наткнулась на какой-то столик с телефонным аппаратом. Откуда у меня на веранде вдруг взялся телефон?

Его здесь никогда сроду не было! Приподнялся на локте и удивился еще больше. Нет, это не веранда, а какая-то незнакомая комната.

Еще очень и очень темно. Темнота густая, липкая. У нас на Волге в летний рассветный час бывает гораздо светлее. А петухи все орали — на диво звонко и протяжно.

Я встал и ощупью дошел до какой-то двери. Дверь выходила на балкон. А под балконом стояли не наши, волжские тополя, а лохматые пальмы. Прямо же, впереди, за узкой кромкой земли,— водная гладь. Она протянулась до самого-самого горизонта, блекло-зеленоватого горизонта. В робкой, едва ощутимой свежести особенно остро пахли йодистой настойкой морские водоросли.

Нет, все это не сон. И кричали где-то рядом не ставропольские петухи, а местные, гвинейские.

Потом я побывал во многих городах гостеприимной Гвинеи: в Далаба, Лабе, Канкане, Н'зерекоре. И везде на заре меня будили голосистые гвинейские петухи.

ДЕВЧУРОЧКИ

Сотни километров исколесил я по дорогам солнечной Гвинеи, по дорогам вечнозеленой Гвинеи. И светло-серый быстроходный автобус стал моим домом.

Много раз видел я обезьян, перебегающих дорогу, обезьян разных пород. Но от машины они улепетывали все по-одинаковому: на четвереньках.

Видел на провисших нитках телеграфных проводов забавных разноцветных попугайчиков. Они сидели стайками. В наших бескрайних степях в летнюю пору так же вот стайками сидят ласточки, и тоже на провисших телеграфных проводах.

А когда купался в реке Конкуре, то видел крокодила. Заметил его как раз вовремя — вылезая на каменистый обрывистый берег. Крокодил был небольшой, но и с таким, признаюсь, не хотелось встречаться в теплой травянисто-зеленой воде Конкуре.

Много пришлось повидать и всяких других экзотических диковин. Но не они меня потрясли, не они врезались в память. Другое запомнилось мне.

Автобус мчался по глухой, малоезженой проселочной дороге. Март в Гвинее один из самых жарких, сухих меся-

цев. И вслед за машиной тянулся кирпично-красный хвост пыли. Эта пыль, поднятая с растрескавшейся дороги колесами автобуса, оседала медленно, оседала на стоявшие у дороги деревья. И все эти пальмы, высокие папоротники и какие-то кустарники с широкими, похожими на лопухи, листьями выглядели странно: будто их подсвечивали снизу алыми фонарями.

Был полдень, нестерпимо душный. Машина неслась по однообразно холмистой саванне, изнывающей от зноя и, казалось, мертвой.

Вдруг впереди замаячила одинокая хижина с остроконечной соломенной крышей-камилавкой.

Вот машина приближается к хижине, вот сейчас она пронесется, как ветер, мимо... И вот тут-то я и увидел эту девчурочку в полосатом радужном сарафанчике. Она выбежала из хижины и, поднявшись на голый глинистый бугор, изо всех сил замахала своей тоненькой ручонкой с розоватой ладошкой.

Выглянув в окно, я взмахнул беретом... Девчурочка уже осталась позади. От восторга она запрыгала, подняв к небу обе свои розовые ладошки.

Встреча с этой милой гвинейской девчурочкой вдруг воскресила в моей памяти другую встречу с такой же маленькой, только русской девчурочкой.

Прошлой зимой мне довелось ехать в Сибирь. Уже остался позади Уральский хребет, и поезд мчался среди необозримого сосняка, утонувшего по самую грудь в жестких синеющих сугробах.

День выдался ясный, морозный, поземистый. Я сидел у окна и все смотрел и смотрел на зеленое лесное море.

Наконец впереди засеребрилась полянка. А на полянке, под богатырской еловой лапой, прикорнул оранжево-желтый домик стрелочника. На крылечке, среди сугроба, стояла крошечная девчурочка в овчинной шубке и серых валенках.

На голове у девчурки мамкин клетчатый платок. Из платка выглядывали лишь любопытные глаза, круглые черные бусины, да красная пуговка носа.

Лютая поземка седыми змейками увивалась в ногах у девчурочки, а она все глядела на мелькавшие перед ней грохочущие вагоны. Неотрывно глядела и махала рукой в полосатой пуховой варежке.

Никогда мне не забыть этих милых девчурочек — гвинейскую и русскую. Одна из них — черная, другая — белая, и живут они так далеко друг от друга. Но у той и у другой одинаково добрые, одинаково отзывчивые сердца.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

В этом четырехэтажном кирпичном здании с балконами-галереями еще совсем недавно размещался французский институт Черной Африки.

Домина стоит на узкой полоске каменистого берега. В прилив воды океана плещутся у самого подножия сооруженного на столетия особняка.

Сейчас хозяином этого дома стал Гвинейский институт исследований и документации.

Брожу по дворику института. Пальмы, цветочные клумбы. Дорожки посыпаны песочком. И всюду частота и порядок.

Но вдруг я останавливаюсь. Вблизи невысокого заборчика лежит... человеческая рука. Правда, рука эта отлита из бронзы. И все же удивительно: как она сюда попала?

Подхожу к заборчику и тут вижу в прогале между стеной института и берегом свалку. Свалку каких-то памятников. Перелезаю через заборчик и шагаю к стоящим у стены бронзовым фигурам.

Передо мной усатый генерал с брюшком, этакий добрый и милый папаша. В одной руке он держит французское знамя, другой обнимает голого мальчика-гвинейца. На лице мальчика лучезарная улыбка, а в глазах благодарность и признательность генералу Балею, первому французскому губернатору Гвинеи, первому колонизатору Гвинеи, за ту «счастливую» жизнь, которую французские солдаты привезли на своих штыках в свободную страну.

Рядом с этим монументом стоят монументы другим душителям свободы. А на земле в пыли валяются руки, головы, ноги... По всему видно, довольно-таки пышный был памятник французскому колониализму. И совсем еще недавно он прославлял старый, коварный, жестокий мир.

На главной площади Конакри, на том месте, где стоял бронзовый монумент колонизаторов, сейчас возвышается на постаменте простая строгая плита. Плита эта — дань на-

рода жертвам борьбы за национальную независимость Гвинеи.

Как-то под вечер проходя через площадь, я увидел школьников. Они стояли полукругом около памятника борцам за свободу. Стояли молча, плечо к плечу. Лица ребят, обычно приветливые и веселые, сейчас вдруг посуровели.

У подножия памятника лежали цветы. Их принесли вот эти самые мальчишки, такие сейчас по-взрослому серьезные и непреклонные.

СОЛНЦЕ ГВИНЕИ

Светает поздно, около семи. Вначале четко вырисовываются бегущие за поездом вдоль насыпи голенастые пальмы, высокие папоротники.

Спустя пять — десять минут вижу слева от себя выжженную зноем рыжую саванну. Тут, кое-где в лощинках, все еще висят, зацепившись за колючие верхушки кустарников, белые ватные облачка тумана.

Поезд прогромыхал мимо петляющей из стороны в сторону речушки. Ее черное каменистое дно местами совсем сухо. Вода светится крохотными озерцами лишь в глубоких чашах-впадинах. Но в пору тропических ливней эта своевольная речка с обрывистыми берегами бывает, наверно, бурливой и быстрой. Нашла же она силу пробить себе путь в крепких песчаниках!

Немного погодя, когда бесцветное небо наливается сочной голубизной, хрустально-прозрачной голубизной, на горизонте обозначается и громоздящийся ввысь причудливый Фута-Джаллон. С этих вот горных склонов стекает река Сенегал. Отсюда же берут начало и многие другие бурные притоки знаменитого Нигера — самой большой реки Западной Африки.

Пустынная саванна с каждым километром пути все сужается и сужается. А синевато-дымчатые бесстрашные громады «отца рек» постепенно приближаются к нашему маленькому поезду, как бы стремясь замкнуть его в свое каменистое фантастическое кольцо.

Нагорья Фута-Джаллона и в самом деле фантастическая сказка на удивление сказочной Гвинеи.

Очертания их до того причудливо-капризны, что порой

даже не веришь глазам: неужели сама природа придала горам такую немыслимую форму?

Теперь я уже не сижу на одном месте, а то и дело перехожу от окна к окну.

Невидимое еще здесь, в низине, солнце вдруг обжигает своими первыми лучами огромную сумрачную глыбу. Нет, это вовсе не хаотическое нагромождение камня, а голова, голова слона-исполина. Вот его приподнятое ухо, вот опущенный к земле хобот...

Смотрю в другое окно, и передо мной возникает рыцарский шлем, шлем богатыря. И отлит он, по всему видно, из бронзы — грани так и сверкают, так и сверкают старинной прозеленевшей бронзой. А чуть подальше рыцарского шлема на позлащенном горизонте вырисовывается двугорбая спина верблюда.

Но что это вон там, еще дальше?.. Изгибаясь, поезд круто заворачивает вправо, и я ахаю от изумления.

Высоко-высоко к небу вознесся чудо-стол: четырехугольный, вытесанный из целой скалы. Столешница у него гладкая, гранитная.

Среди гвинейцев ходит легенда: этот стол не для простых смертных. Его соорудили для себя боги.

В начале восьмого из-за острого скалистого шпиля брызнул ослепительный оранжево-алый свет — будто добрый невидимый дух чиркнул спичкой.

А спустя миг между остроконечным шпилем и зубчатой горой показался кусочек раскаленного солнца. А вот оно уже вырвалось из холодных объятий бесчувственных окаменевших исполинов, вырвалось, поднялось над ними и радостно засияло над землей — большое-большое, жаркое-жаркое, вечно молодое солнце молодой Гвинеи.

ПЫЛАЮЩЕЕ ДЕРЕВО

На это дерево можно смотреть долго. Можно смотреть часами. И никогда не насмотришься.

Крупное, кряжистое. Ствол голый, серовато-белый. Ветви крепкие, раскидистые. И на них почти совсем нет зелени. Листочки мелки, в стрелочку, их сразу и не заметишь.

Зато огромные алые бутоны с нежными и трепещущи-

ми, как язычки пламени, лепестками бросаются в глаза еще издали.

Смотришь на эти алые шапки, сливающиеся в один сплошной костер, и кажется: дерево пылает, пылает ярким огнем, пылает, не сгорая.

Гвинейцы так и называют это дерево — пылающим. Пылающие деревья — поинцианы — я видел и в Конакри, и на привокзальной площади в Маму, и в Лабе, и в Киндии.

Пишу вот эти строки, а перед глазами пылающие кострами шапки поинцианы — вечно пылающего и никогда не сгорающего дерева, чуда Гвинеи.

НАВСТРЕЧУ ГРОЗЕ

Над Маму клубились тучи, фиолетово-черные, зловещие.

Косые лучи солнца все еще обжигали раскаленную платформу вокзала, когда наш поезд наконец-то отправился в путь.

Эта узкоколейка — единственная железная дорога в Гвинее.

Вагончики старые, облезлые. Наверно, они таскаются взад-вперед от Конакри до Канкана добрых полвека.

Но особенно, как мне представлялось, был дряхлым наш вагончик, продуваемый всеми ветрами. Он начал скрипеть и охать, едва мы отъехали от Маму.

— Ну как, камарад Абдула, доедем заживо до Канкана? — спросил геолог проводника, с которым уже успел познакомиться.— Вагон по дороге не развалится?

Проводник — неопределенных лет гвинеец в синем хлопчатобумажном костюме — ответил не сразу.

Сидя на корточках, он пытался затолкать под лавку ведро с мисками и кастрюльками. Этим ведром с разными кушаниями его снабдила в дорогу заботливая жена.

Но вот Абдула водворил-таки ведро под лавку. Прищелкнув языком, он поднялся на ноги.

Крупное морщинистое лицо проводника, казалось, было вырезано из черного дерева. Некоторое время Абдула молчал, критически оглядывая вагон маленькими спокойными глазами.

Я смотрел на большие, плотно сжатые губы Абдулы, и

мне почему-то думалось, что они никогда не разомкнутся. Но вот они дрогнули, зашевелились...

— Ничего, камарад, как-нибудь доедем,— сказал проводник и опять прищелкнул языком.— Только грозы... грозы не миновать!

И он спокойно уселся на лавку, под которой стояло ведерко.

В Африке мне еще ни разу не приходилось попадать под дождь и, признаюсь, хотелось сейчас, чтобы разразился тропический ливень.

И дождь вскоре пошел. Он обрушился на землю сразу — косой, напористый. Крупные мутные дробины шлепались на пол вагона с чугунным стуком. И пыльный серый пол в какую-то минуту стал весь рябым.

От ливня спасались в тамбуре без окон. Окна же в самом вагончике были без стекол. А жалюзи если и поднимались вверх со скрипом и скрежетом, то незамедлительно с грохотом падали вниз — не действовали запоры.

Мы с геологом от дождя не прятались. Высунули в окна головы и блаженствовали, подставляя разгоряченные лица под студеные сильные струи.

Дождь кончился так же внезапно, как и начался. И перед нашими взорами предстала неузнаваемая саванна. Она вся преобразилась за эти десять — пятнадцать минут. Омытые дождем деревья и кустарники сочно и ярко зеленели. Так вот у нас на родине ярко и молодо зеленеют в конце мая распустившиеся леса.

Начинало смеркаться. Но на горизонте, впереди по ходу поезда, все время играли зарницы — неясные, ленивые и в то же время беспокойные, тревожащие... А в омытой дождем небесной выси теплились редкие звездочки.

Смотришь в беспросветную темь, и вдруг золотое пламя в полнеба. И перед тобой на миг обозначится силуэт дерева-великана или вздыбленная гора, за которой как будто то разгорался, то глох небесный пожар. А то промелькнут островерхие крыши затерявшейся в бескрайней саванне какой-то деревушки, деревушки безмолвной, без единого огонька.

После ужина всухомятку женщины принялись укладываться спать, а мы с геологом подсели на лавочку к проводнику.

— Закурим, камарад Абдула? — сказал геолог, доставая из кармана пачку сигарет.

— Можно, камарад, теперь можно, солнце зашло,— оживился задремавший было Абдула.

И вот в сырой и теплой мгле затеплились две огненные точки.

За окнами вагончика все ярче и ярче разгорались сполохи. А вот в отвес упала, змеясь, молния. И вслед за ней, колебля черную зыбкую ночь, загрохотал гром.

Абдула покачал головой.

— Бог, видать, не хочет спать. Грозу сильную собирается послать на землю.

— А может, мы перехитрим бога и удерем от грозы? — засмеялся геолог.— Поезд вон как громыхает!

Абдула покурил, покурил и сказал:

— Случается и такое: человек хитрее бога бывает... да простит нас всемогущий! В одной нашей сказке бога даже малец один обхитрил.

— Расскажите-ка, Абдула, нам эту сказку,— попросил я проводника.

Для приличия Абдула некоторое время отнекивался: и забыл-то он ее, сказку эту самую, да и поздно уж, как бы бог не разгневался и не спалил нас всех молнией. А потом все же согласился. И свою сказку он начал так:

— В одной деревне жил смышленый мальчишка. И заработал он раз у белого человека кусочек золота. А как заработал? Без запинки ответил белому человеку на мудреные вопросы. Получил малец золото и купил корову. А корову отвел к богу.

«Бог, бог,— сказал мальчишка,— оставь, пожалуйста, у себя на время мою корову. У тебя много быков, а у меня нет ни одного. Пусть корова принесет мне теленочка».— «Оставь»,— сказал бог.

И продержал корову у себя в загоне несколько лет. За это время корова мальца принесла много телят. Бог радовался: забыл мальчишка про свою корову! А мальчишка не забыл. Как-то заявляется к богу вместе с отцом и говорит:

«Бог, бог, будь добр, отдай мне мою корову и весь ее приплод».

Бог подумал и сказал:

«Бери свою корову. Только при чем здесь телята?

Телят родили мои быки. А твоя корова так и ходит до сих пор нестельной».

В это время две быстрые огненные змейки вонзились в землю где-то совсем рядом с охающим и кряхтящим вагоном. И в ту же секунду нас оглушил страшной силы гром.

Некоторое время Абдула молчал. Геолог дал ему новую сигарету. Прикурив от сигареты геолога, проводник откашлялся и продолжал:

— Когда бог сказал мальцу такое, тот хлопнул руками по голым бедрам: «Да неужели, бог, телят принесли твои быки? Ну и ну!»

Мальчишка подмигнул отцу, и они, не говоря больше ни слова, оба поплелись домой, ведя за собой понурую корову.

А как только скрылась за холмом деревня бога, малец остановился и говорит отцу:

«Отец! Подожди-ка меня на этом месте. Я сейчас вернусь. Позабыли мы с тобой поблагодарить бога за корову. Как-никак, а он ее все это время пас».

И малец со всех ног бросился назад, в деревню бога. А прибежав, говорит, запыхавшись:

«Бог, бог, помоги мне, пожалуйста! Дай скорее кувшин воды и нож... нож, которым можно было бы пуповину перерезать. Мой отец сейчас ребенка родил».

Бог удивился и сказал:

«Да ты с ума спятил, пострел! Никогда отродясь такого не бывало, чтобы мужчины рожали детей!»

«Ах, никогда? — закричал мальчишка.— Выходит, ты, бог, меня обманул? Ведь это ты сказал: телят принесли твои быки! А теперь говоришь, такого отродясь никогда не было!»

Тут бог покраснел, покраснел, как спелая помидорина. И отдал мальцу его телят... Вот какие у нас старики сказки сказывают.

Абдула потушил о подошву ботинка сигарету и выбросил окурок в окно.

— А теперь, пожалуй, надо бы и поспать.

— Ну что же, спать так спать! — согласился с проводником геолог.

Но спать нам не пришлось. Вспыхнуло все небо, и наш качающийся из стороны в сторону вагончик, открытый всем ветрам, на миг загорелся изнутри белым слепящим

пламенем. В этот миг он показался мне скелетом ископаемого животного, в утробе которого мы сидели.

Едва угасла молния, как запахло дымом и пылью. Выглянув в окно, я заметил неподалеку от насыпи какие-то неясные фигуры и дотлевающий костерок. А еще через минуту полил точно из ведра тропический ливень.

Он хлестал в окна и справа и слева. Дремавшие на лавочках женщины раньше нас очутились в крошечном тамбуре. Но скоро мы поняли — и тамбур не спасение. Закапало с потолка. А потоки воды, хлеставшие в окна, затопили и весь пол... Думалось, пройдет еще несколько минут, и наш паровозик, словно кораблик с баржами, поплывет по бурному морю.

Но этого не случилось. И тут человек перехитрил бога. Дорога круто свернула влево. Не прошло и получаса, как от грозовых туч и в помине ничего не осталось.

А перед рассветом мы благополучно прибыли в Канкан.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Гляжу не отрываясь на черные руки. Они продолговаты, проворны. А тонкие, сужающиеся к ногтям пальцы осторожны и чутки.

Эти пальцы держат трепетную, быстроногую антилопу. Вот узкая маленькая пилка легонько ширкнула по белой головке животного. Ширкнула раз, второй, третий... И на голове выросли навостренные уши.

Кажется, еще миг — и стройная, грациозная антилопа вырвется из рук умельца, перемахнет через порожек мастерской и бросится наутек в горы.

Не про эти ли чуткие пальцы сочинил стихи сенегальский поэт Сембен Усман:

Пальцы, способные высекать
Из мрамора вечные статуи,
Пальцы, способные выражать
Мысли, волнующие и влекущие,—
Это пальцы творцов!

Из угла мастерской на лобастого молодого мастера смотрит обезьяна. Смотрит лукавыми глазами. Это его руки, руки умельца, сотворили чудо: из большого чурбака

красного гвинейского дерева, тяжелого и твердого как кремень, вырезали эту обезьяну с такими чертовски умными человеческими глазами!

Мастер Юсуф молод — ему всего лишь двадцать пять лет. Но сколько прекрасных статуэток и скульптур создали его быстрые, проворные пальцы!

Он с детских лет учился тонкому ремеслу у своего отца, теперь старого человека, уважаемого всем мастеровым людом Канкана.

Мастерская Юсуфа, как и мастерские других кустарей, отличается от жилой хижины лишь тем, что в этой круглой, с двумя выходами мазанке нет вещей домашнего обихода, а стоит верстак с небольшим токарным станочком да вдоль стен горкой свалены чурбачки красного дерева — заготовки для будущих творений.

Посреди мастерской на козлиной шкуре сидит, поджав под себя ноги, кучерявый подросток — ученик Юсуфа. В жестких завитушках его черных, с синевой волос поблескивают, будто снежинки, стружки-искорки слоновой кости.

Хмурый, нелюдимый паренек — он ни разу не поднял на меня своих глаз — трудится над смешным гиппопотамом. У гиппопотама маленькие заплывшие глазки и устрашающе разинутая пасть.

Красное дерево неподатливо, и паренек то и дело проводит голой рукой по влажному от испарины лбу.

Юсуф, подняв от антилопы худое скуластое лицо, лицо нервное, вдохновенное, что-то негромко говорит ученику. Тот слушает мастера внимательно. Пальцы его, державшие статуэтку и напильник, не шевелятся. Но вот он кивает головой и снова берется за работу...

Побывал я и в других мастерских. И везде видел чудесные, поражающие изяществом и выдумкой статуэтки, маски, браслеты, броши.

В одной из мастерских я обратил внимание на скульптуру гвинейца. Мужественное, открытое лицо. Во взгляде — прямота и смелость.

Спрашиваю мастера:

— Когда вы закончили свою работу?

Мастер, немолодой, видимо, человек с седеющими висками — возраст африканцев трудно определить,— отвечает не сразу.

Чуть улыбаясь твердыми, выразительными губами, он проводит ладонью по верстаку. А потом говорит, глядя на черную, так понравившуюся мне скульптуру:

— Я начал ее после Освобождения. А закончил совсем недавно. Это лицо человека независимой Гвинеи!

...Как и Конакри, Канкан — город-сад. Второй город после столицы. Возвращаюсь в отель под вечер.

По обеим сторонам широких улиц стоят сейбы — родичи баобаба. Высота деревьев тридцать — сорок метров. Чтобы эти исполины были устойчивы, разумная природа дала им могучие корни-подпорки. Высокие подпорки-доски поддерживают толстые стволы сейб со всех сторон.

И хотя улицы все сплошь в густой тени, в городе гнетуще душно.

Иду и все думаю и думаю о прославленных мастерах Канкана, об их золотых руках с мозолистыми, шероховатыми ладонями и такими тонкими, чувствительными пальцами... Мои ладони еще и сейчас хранят теплоту их дружеских, сердечных рукопожатий.

БОСФОР

Всю ночь наш теплоход простоял на якоре в Босфоре. Здесь самое узкое место пролива, почти со всех сторон окруженное лесистыми горами.

Вдоль набережной европейского берега теснятся двух-трехэтажные дома с узкими фасадами. По горам разбросаны домики поменьше, и многие из них до того ветхи, что думается, дунь, и они развалятся. По асфальтированной набережной изредка пробегают автомобили — сюда на теплоход доносятся их хриплые гудки. Тут же на берегу стоит одноэтажный ресторан с открытой верандой.

Воздух на Босфоре чист и прозрачен, и косые закатные лучи солнца, скользя по застывшей голубовато-опаловой воде, кажутся столбами из мягко сияющей золотой пыли.

Солнце заходит за черные кипарисы на вершинах Балканских гор, и тучки, только что мешавшие ему смотреть на землю, куда-то исчезают. Краски заката тихи и спокойны: бледно-палевые, малахитовые разводы. А над головой небо синее, бледное, с еле проступившими на нем острыми звездочками. Улетели на покой чайки, все кружившие вокруг теплохода.

Быстро опускаются мягкие сумерки, и всюду вокруг вспыхивают неяркие огни. В половине восьмого по местному времени уже совсем темно. Со стороны моря потянуло ветерком, и почерневшая вода Босфора покрылась рябью.

Я стою на самой верхней, шлюпочной палубе, где нет ни души, и, облокотившись о борт, смотрю на тяжелую смоляную воду, недавно так веселившую глаз своей нежной голубизной, на берег, где лишь в пустом ресторане много огней — призрачно-синих, располагающих к меланхолии.

Неожиданно неподалеку от меня за шлюпкой кто-то глуховато произносит:

Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем...

Домики на склонах гор почти все тонут во мраке. Вдруг высоко-высоко, чуть ли не у самой вершины холма, вспыхивает одинокий грустный огонек. Он мерцает, как звездочка на небе, и порой мне кажется, что это в какой-то полузаброшенной хибарке горит свечка. Кто ее зажег? Что делает этот человек при таком тусклом освещении: читает ли книгу, или творит молитву, или просто занимается какими-то будничными делами?..

ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ

Когда вот теперь, дома, я вспоминаю прославленную землю Эллады, то в моем воображении отчетливо и зримо встают белокаменные Афины, теряющиеся в лиловой дымке знойного дня, точь-в-точь какими я видел их с Акрополя, скалы древности.

Вижу и голубой пламень ничем не запятнанного неба, бездонного, как пропасть, на фоне которого нежно и мягко вырисовываются руины мраморных храмов и громады рифленых колонн Парфенона, поражающие своей необычной, обожженной желтизной,— такого цвета бывает только топленое молоко.

Уже вечером, тихим и приятно влажным, возвращались в порт Пирей, где нас ожидал теплоход.

Ехали по светлым асфальтированным улицам, мимо зеркальных витрин магазинов, мимо жилых домов с под-

нятыми железными жалюзи на окнах. По тротуарам не спеша прохаживались гречанки: среди них немало красивых и стройных. Прямо перед дверями ресторанов на улице сидели за столиками мужчины, они потягивали через соломинки сухое вино, разбавленное холодной водой.

Иногда навстречу нашим автобусам с бешеной скоростью проносились на урчащих мотоциклах американские военные полицейские в белых касках.

Но вот мы выезжаем за город, и мимо окон автобуса мелькают в тихом однообразии пальмы, оливковые садики, от которых веет слабым волнующим ароматом еще не остывшей от зноя земли и свежего сена.

И вдруг слева открывается привольная панорама сверкающего огнями Пирейского порта с уходящим в синюю мглу морским заливом. В остекленевшей, как бы завороженной воде гавани отражаются и здания порта, и его огни, словно обозначился на дне морском греческий град Китеж.

И хотя было уже довольно поздно, но в порту рядом с теплоходом нас терпеливо поджидали уличные торговцы, больше похожие на добрых бродяг.

Разложив на легких складных столиках свой немудреный товар, всегда соблазняющий путешественников,— амфоры, тарелочки с рисунками на мифологические сюжеты, открытки, статуэтки из мраморного песка, медные чеканные ларцы,— они жестами и улыбками зазывали покупателей.

Подхожу к одному из столиков, где особенно бойко торгует седой грек с прокопченным морщинистым лицом и умными глазами.

Как-то невзначай взгляд задерживается на одной статуэтке. С юношеских лет знакомая по музеям Венера Милосская. Смотрю, и что-то поражает меня в этой хрупкой статуэтке, но что — сразу не догадываюсь.

Заметив мой недоумевающий взгляд, торговец начинает быстро-быстро говорить, и на лице его появляется какая-то виноватая улыбка. Случайно рядом со мной оказался один из служащих местной туристской фирмы. Он-то и переводит слова бедного торговца.

— Венера с острова Милос, господа, далеко отсюда. Вы ее можете видеть только в Париже... Не обижайтесь на греков, они ни при чем.

Не помню, как очутилась в моих руках статуэтка. И только тут начинаю понимать, что меня в ней поразило. Выражение лица. Оно чуть-чуть другое, чем у той, из Лувра. У богини любви афинского торговца какое-то необыкновенно грустное лицо. А губы змеятся в горькой улыбке.

Молча ставлю статуэтку на место. Мне почему-то не хочется везти домой эту грустную Венеру с такой горькой улыбкой на античном лице.

ЛУНА ЗА БОРТОМ

Уже с утра припекает солнце. Кругом до самого горизонта разлито густое синее-синее масло.

Мы снова в Средиземном море. А позади Черное, Мраморное, Эгейское.

Теплоход все еще идет вдоль берегов Греции.

Впереди, чуть вправо, остров. Он кремовато-белый, воздушный. Смотришь, и кажется, будто тебе все это пригрезилось: так неясны и смутны его очертания в светлой дымке солнечного сентябрьского утра.

Острова разбросаны и слева от нас. Самый большой из них, высокий, гористый, протянулся на несколько километров. А в стороне от него еще три еле видных из воды фиолетовых пятнышка. Но они остаются уже за кормой, а вот одинокий остров впереди все ближе и ближе. В бинокль отчетливо видны обнаженные известняковые уступы, бедная растительность на косогорах и крошечное селеньице в голубовато-сиреневой лощине.

Стоило только миновать и этот остров, стоило только ему остаться позади теплохода, как его снова окутывает светлая дымка и снова он кажется пригрезившимся.

Смотрю на остров, таявший за кормой, точно ком сахара в кипятке, а на глаза набегает непрошеная слеза и сердце сжимает тупая, ноющая боль. Отчего это?

А впереди начинают смутно вырисовываться другие острова-призраки. И тебя уже волнует предстоящая с ними встреча, и глаза твои высыхают и устремляются туда, вперед, и ты окончательно забываешь о только что пропавшем за кормой острове, которого уж никогда в жизни больше не увидишь...

Кто-то трогает меня за локоть. Молодой шахтер из Донбасса, успевший прославиться на теплоходе своими прыж-

ками в купальном бассейне, предлагает мне посмотреть за борт.

— Гляньте-ка скорее, луна за бортом!

Мимо теплохода по синей воде, в которую чья-то щедрая рука бухнула уж не знаю сколько тонн синьки, и на самом деле проплывает большая золотисто-бронзовая круглая луна.

А через минуту, покачиваясь на волне, мимо нас проносится вторая луна, потом третья, потом четвертая...

— Медузы,— говорит шахтер.— Правда, похожи на луну?

А за бортом опять плывет, должно быть уже десятый, золотисто-бронзовый диск с такими же темными крапинками и пятнышками, как у настоящей луны.

НЕАПОЛЬ

(«Конец света»)

В Неаполитанский залив наш теплоход вошел на рассвете, когда жаркое итальянское солнце еще только собиралось подниматься из-за Везувия.

И Неаполь вначале меня разочаровал. Возможно, потому, что с детских лет привык видеть на открытках этот город Италии в блеске какого-то неестественного, экзотического великолепия.

Я увидел Неаполь будничным, таким, какой он есть на самом деле. Над улицами города, широким амфитеатром сбегавшими к морю, нависли слоистые розовато-седые дымы. Дымы эти, словно липкий туман, заволакивали и весь оловянно-тусклый залив. И тянулись они не из кратера Везувия — «ужаса и гордости» Неаполя, а из заводских и фабричных труб. А «вечно дымящийся» Везувий (так о нем написано в иных книгах) уже не дымит с 1944 года.

Даже в середине дня, когда наши автобусы с невероятной быстротой мчались в Сорренто по одной из самых красивых дорог Италии, петлявшей по уступам гор и узким ущельям с разверзавшимися то справа, то слева пропастями, даже в этот полдневный час над Неаполем висели сиреневые дымы.

Вид на город открывался справа, когда мы проезжали по самому краю скалы, обрывавшейся в море, мимо из-

вестных — опять по тем же открыткам — пиний, средиземноморских сосен с тонкими голыми стволами и широкими зелеными зонтами из веток с колючими иголками.

Но зато каким чудесным показался мне Неаполь вечером, весь в гирляндах разноцветных мигающих и трепещущих огней! Эти гирлянды полукруг за полукругом поднимались все выше и выше, чуть ли не до самого неба — густо-синего и такого ворсисто-мягкого, что хотелось протянуть руку и погладить его.

Было это в сумерках, когда мы возвращались в Неаполь с острова Капри на дачном пароходике «Искья», названного так по имени другого итальянского острова.

А потом снова в автобусах мы проехали через весь город вдоль набережной и стали подниматься в гору.

Машины шли не быстро, взбираясь с террасы на террасу, и перед нами с каждым подъемом открывалась все шире и шире подковообразная пропасть, залитая сверкающими огнями.

На самой вершине горы автобусы остановились у загородного ресторана — здесь мы должны были ужинать. Мои товарищи по автобусу уже скрылись в гостеприимно распахнутых дверях с нависшими над ними виноградными лозами, а я все стоял на террасе и смотрел вниз на ликующую, трепещущую живыми огнями пропасть, которая расхлестнулась до самого моря.

А море отсюда уже не было видно. Оно только угадывалось — огромное, иссиня-черное, сливавшееся с таким же огромным, иссиня-черным небом.

И казалось, что там, в кромешной тьме, где сливаются воедино и море и небо, конец света.

ПОМПЕИ И КОКА-КОЛА

Помпеи! Вот он, этот город, над которым девятнадцать веков назад внезапно разразилась катастрофа! Вряд ли есть на земле еще другое место, где можно было бы увидеть жизнь наших предков такой, какой она была в те далекие времена, такой, какой она была в день потрясающей трагедии.

Ходим по площадям и улицам древнего города, расчищенным археологами от многометрового слоя слежавшихся столетиями земли и пепла.

Рассеянно слушаю объяснения гида и думаю. И порой оторопь охватывает душу. Вот она, чужая, страшно далекая жизнь, смотрит на тебя из тьмы веков.

А наш гид, узкоплечий, неопределенных лет итальянец, идет все дальше и дальше. Ноги порой тонут в сером пепле, в том самом пепле, который похоронил Помпеи.

Вот термы — общественные бани, где древние римляне применяли калориферное отопление, а вот вдоль улиц проложены оловянные трубы, по которым поступала в жилища вода.

Заходишь в дом, красивый и просторный, а в нем осталось все так, как было когда-то при хозяине: лепные карнизы под потолком, на стенах фрески искусной работы, глиняные амфоры для вина, мраморные скульптуры...

И хотя добросовестный гид уже спешит сообщить, что в этой вилле когда-то наслаждался всеми благами жизни знатный патриций, тебе и без объяснений все понятно.

А вот другой дом — с низкими потолками без украшений и неоштукатуренными стенами. Здесь и утварь проста и груба, и жил в этой лачуге, конечно, не патриций, какой-нибудь ремесленник.

Большая площадь. Полуразрушенные здания с колоннами. Гид показывает храм богини Фортуны, здания суда, торговых рядов.

И вдруг на площади появляются странные-престранные экземпляры рода человеческого.

По раскопкам Помпеи бродило много иностранцев, но никто на них не обращал никакого внимания — люди как люди.

Но вот эти, только что остановившиеся неподалеку от нас... Невольно хотелось спросить: откуда они? Прямо с пляжа заявились сюда или с какого-то необычного костюмированного бала-маскарада?

Две дамы — молодая и старая — обе сухие как воблы. И та и другая в ярких свитерах без рукавов и коротких полосатых штаниках. Позади стоит, копаясь в фотоаппарате, мальчишка лет пятнадцати, уже успевший не в меру разжиреть. Он тоже в шортах и короткой рубашке навыпуск, разрисованной какими-то фантастическими картинками.

— Янки,— вздыхает наш гид, и лицо его еще больше мрачнеет.— Удивляюсь, почему они носильщиков себе не наняли.— Перехватив чей-то недоумевающий взгляд, он

раздраженно добавляет: — А вы разве не видели при входе сюда наших безработных парней? Они даже идут на это... чтобы таскать на своих спинах богатых янки...

А в это время совсем юная итальянка, видимо гид, что-то объясняет американцам.

Вдруг мальчишка, перестав возиться с аппаратом, о чем-то громко спрашивает молодую американку. Девушка-гид краснеет и смолкает.

На землистом лице нашего гида появляется презрительная усмешка.

— Этот... господин спрашивает свою мамашу, где здесь у древних римлян продавалась кока-кола... Он думает, вероятно, что уже тогда существовали Соединенные Штаты и что уже тогда янки наводняли мир своими прохладительными напитками!

Гид сердито ударяет палкой по булыжнику мостовой и торопится поскорее уйти с площади. В эту минуту он забывает даже про нас, своих подопечных.

ГИБРАЛТАР

Была уже ночь, темная, мглистая, когда мы подходили к воротам в Атлантический океан — Гибралтарскому проливу.

На теплоходе никто не спал. Все ждали Гибралтар, всем хотелось поглядеть на британскую военно-морскую крепость. Англичане здесь чувствуют себя хозяевами, мы успели в этом убедиться.

Уже в Средиземном море нам повстречались серые, грузно сидевшие в воде английские военные суда: крейсер и авианосец. Они легли в дрейф и, усиленно дымя трубами, стали спрашивать нас, кто мы такие, куда и зачем идем...

Пролив приближается. И справа и слева уже видны огоньки. Справа от нас южная оконечность Пиренейского полуострова, а слева — Марокко, Северо-Западная Африка.

С каждой минутой огоньков впереди становится больше, они светлеют, набирают силу. Но берегов еще не видно. Огоньки висят между небом и морем, выкрашенными в черный цвет будто самим нечистым духом.

Из горловины пролива навстречу дует свежий, крепкосоленый ветер Атлантики.

Проходит еще полчаса, и мы вступаем в Гибралтарский пролив. Впиваюсь глазами в южную мглистую тьму и еле различаю контуры огромного, словно вставшего на дыбы, горного кряжа.

Вот она, британская твердыня. Гора вся, в несколько рядов прошита слабыми, затененными огоньками. Мрачной, настороженной тишиной окутана эта гора.

У носа теплохода резвятся дельфины. Они то обгоняют нас, то снова возвращаются и крутятся колесом у самого борта, как настоящие акробаты.

Не знаю почему, но только здесь, в Гибралтаре, эти мирные животные кажутся мне похожими на торпеды.

ЧЕРЕПАХИ

Как-то раз за бортом я увидел огромную черепаху. Вытянув вперед тонкую шею, черепаха безбоязненно плыла вблизи теплохода, неторопливо перебирая лапами. А вслед за ней плыло ее потомство — четыре маленькие черепашки.

Малыши изо всех сил работали лапками, стараясь не отстать от матери. Покачиваясь на волнах, они были потешны, эти черепашки, похожие на зарумянившиеся колобки.

За первой дружной семейкой проплыла вторая — в том же порядке: мать впереди, дети позади.

Зову товарища, сидящего в шезлонге и усердно изучающего путеводитель по Франции. Мне хочется, чтобы и он посмотрел на потешных, милых черепах.

Тот нехотя подходит. И мы стоим у борта целых полчаса, не отводя глаз от воды, но черепахи, как назло, больше не появляются.

— Ну и фантазер же ты, право! — укоризненно вздыхает товарищ, когда ему надоедает смотреть на море.— Вечно что-нибудь да придумает! То луну в море увидит, то еще какую-нибудь нелепицу. А почему вот я ничего не вижу?

И он опускается в свой шезлонг и закрывается от меня путеводителем.

Мне делается как-то неловко. Но скажите, пожалуйста, разве я виноват, что черепахи больше не появляются?

ОЗОРНАЯ ЗВЕЗДОЧКА

Впереди, у самого горизонта, спустя несколько минут после заката солнца внезапно блеснула яркая звездочка. Блеснула и пропала. А через секунду она снова мигнула и снова пропала.

И было что-то манящее и радостное в этой одинокой, но такой озорной звездочке. Она как бы звала вперед и только вперед. И наш теплоход шел прямо на эту звездочку.

— Вы не знаете, что это там за звездочка, которая так приветливо нам мигает? — спросил я проходившего мимо помощника капитана.

— Знаю,— улыбнулся тот.— Это французский маяк Бретань. Мы уже входим в Английский канал. А завтра в полдень будем в Гавре.

Моряк ушел, а я все смотрел и смотрел на веселую озорную звездочку и никак не мог оторвать от нее глаз.

МАЛЬЧИШКИ ГАВРА

На исходе первая половина дня, а мы все еще плывем по Английскому каналу. Берегов ни справа, ни слева не видно — кругом туман. Вода и небо точно отлиты из стали. Воздух влажен, но не холодно.

Когда же все-таки покажется Гавр? Когда кончится липкий белесый туман?

И вдруг слева сквозь светлую, редеющую мглу еле вырисовывается, будто видение, обрывистый скалистый мыс. А спустя минут десять уже отчетливо виден уходящий вдаль холмистый французский берег. Еще немного погодя перед нами открывается панорама Гавра — крупнейшего порта Франции.

Вдоль набережной стоят высокие дома с красными черепичными крышами, на зеленых холмах между плодовыми деревьями виднеются маленькие, уютные коттеджи.

Солнце, не жаркое, но улыбчивое и ласковое, появляется так неприметно и тихо прямо над нашим теплоходом, что его многие не сразу замечают.

Наше судно входит в порт, и теперь с обеих сторон тянутся берега.

Невдалеке от левого берега стоит на якоре маленькая,

ну прямо игрушечная, лодочка. В ней сидят двое — плечистый рабочий в тельняшке и хлопчатобумажной куртке и белоголовая девчурка лет восьми. Девчурка в пушистом лимонного цвета свитере. Она точно большой смирный цыпленок.

Отец с дочкой рыбачат, закинув в воду удочки.

А по берегу бегают вихрастые, в засученных до колен штанах бедовые мальчишки, которым до всего есть дело. Они строят какое-то важное сооружение: возможно, мост через реку, возможно, гидроэлектростанцию.

Смотрю на этих веселых проказников, грязных, сопливых, шлепающих по воде босыми ногами, и спрашиваю себя: ну чем не наши, волжские ребята?

СЕНА И ВОЛГА

Первый раз я увидел Сену ночью. В эту первую нашу ночь в Париже мы чуть ли не до утра бродили по знаменитому городу с такой большой историей.

В начале третьего, возвращаясь с Монмартра, мы вышли на одну из просторных площадей Парижа — Конкорд. Большая и светлая, с египетским обелиском в центре и белыми статуями по окружности, аллегорически изображающими города Франции, она была в этот час почти безлюдной. Лишь дорогие, роскошные машины изредка проносились по площади, направляясь на Елисейские поля.

Перешли площадь, обогнули Тюильри, бывший королевский парк, и спустились к набережной Сены.

Пересекаю набережную и останавливаюсь около каменного барьера.

Смотрю вниз и вижу, как в зеркале, огни фонарей и кудрявые головы могучих платанов — они, точно часовые, стоят по обоим берегам Сены. И кажется, будто перед тобой не полноводная река, а тишайшее озеро. Но это только так кажется.

Вот вниз медленно падает, кружась, большой пожелтевший лист. Едва он касается зеркала воды, как его подхватывает течение и несет к освещенному огнями мосту.

Мои товарищи ушли вперед — им не терпится поскорее увидеть темный, мрачный фасад Лувра, а я не спешу их догонять.

Шагаю вдоль потемневшего от времени парапета и все смотрю и смотрю на Сену — такую тихую и кроткую. А под ногами шуршат опавшие листья платанов. Они напоминают мне листья осокорей, которых так много на берегах родной мне Волги.

ПОЦЕЛУЙ

В Париже осень. Прелесть парижской осени особенно ощутима в задумчивых, желтеющих садах и парках.

На второй день нашего пребывания в Париже, под вечер, я проходил через парк Тюильри, когда-то созданный для Екатерины Медичи.

И хотя мне надо было торопиться, но я тотчас об этом забыл, едва только вошел в широкую аллею с неяркими солнечными бликами на дорожках.

То тут, то там бесшумно падают на игольчатую, еще зеленую травку желтеющие листья платанов. А вот апельсиновые деревья как будто и в зиму собираются оставаться в своем пышном глянцевито-ярком, неувядающем наряде.

На минуту останавливаюсь около бронзового Геркулеса, поражающего дракона, и не спеша иду дальше.

В парке большое оживление. В открытых летних кафе отдыхают после работы пожилые парижане за стаканом вина и газетой. Молодые мамаши, поудобнее усевшись на скамейках, вяжут шерстяные кофты и шапочки, а их малыши играют рядом в мяч, пускают в бассейне кораблики. Ребячий смех — веселый и звонкий — далеко разносится по парку.

А листья с деревьев все падают и падают, тихо кружась.

На одной из скамеек, спиной к расторопным мамашам, успевающим и говорить и вязать, сидят влюбленные: безусый юнец и такая же юная, беспрестанно краснеющая девочка.

Обняв подружку за плечо и млея от счастья, паренек что-то негромко говорит, все ближе и ближе наклоняясь к ее рдеющей щеке. Наконец он набирается решимости и

быстро, горячо целует ее, тихо охающую от неожиданности.

А желтеющие листья все падают и падают на землю. Но влюбленные их не замечают... Для кого-то наступила осень, а для них расцветает весна.

В ПОДВАЛАХ ЛЕТЫ

На фронтоне Пантеона, над колоннадой, начертано: «Великим людям — признательная Отчизна».

В этом огромном здании с высоким куполом, издали похожем на обсерваторию, покоится прах знаменитых деятелей Франции.

Располневший, краснощекий служитель в черной суконной форме, всем своим видом напоминающий тюремщика, бряцая ключами, ведет нас в подвалы некрополя.

Холодно и мрачно, словно в могильном склепе. Тусклый, неживой свет еле освещает коридор с узкими дверями. За этими дверями в гробницах прах известных ученых, писателей, маршалов, президентов.

Показывая на закрытые двери, служитель громко выкрикивает имена похороненных здесь французов.

Медленно и молча идем все дальше и дальше по мрачному холодному коридору с одинаковыми, как в тюремных камерах, дверями.

Но вот около одной двери я надолго, как пригвожденный, останавливаюсь. Смотрю в крошечное окошко и вижу две простые, из серого камня гробницы.

Они стоят в узкой, со сводчатым потолком усыпальнице напротив друг друга. На них нет ни украшений, ни барельефов.

«Виктор Гюго» — начертано на гробнице слева. «Золя» — начертано на гробнице справа.

ХИМЕРЫ

Нотр-Дам — собор Парижской богоматери.

Здесь все волнует и поражает. И как-то сами собой на память приходят страстные, патетические слова Виктора Гюго, назвавшего этот шедевр — создание веков — огром-

ной каменной симфонией, колоссальным творением и человека и народа.

Внутри храма все строго и просто. Потемневшие от копоти столетий белокаменные стены, колонны, уходящие ввысь, к стрельчатому своду, тонувшему в каком-то таинственном, пещерном мраке. Огромная готическая розетка над главным входом с цветными витражами.

Но особенно трудно оторвать взгляд от фасада великого средневекового колосса. Стрельчатые порталы, узорчатые карнизы, статуи королей в нишах, резные, чеканные барельефы, высокие и легкие аркады галерей, массивные башни.

Какую-то мрачную прелесть придают Нотр-Даму сажа и копоть, въедавшиеся веками в камень порталов, в углубления и впадины карнизов и барельефов.

Хожу вокруг храма и, задрав вверх голову, смотрю на гигантские ярусы, воздвигнутые один над другим и представляющие собой великолепную гармонию.

Страшные химеры, горгоны и рогатые демоны венчают высокие карнизы боковых стен собора.

У химер выпучены глаза и раскрыты прожорливые пасти с загнутыми клювами. Вот-вот, кажется, они набросятся на снующую вокруг собора разношерстную, разноязыкую толпу.

А тут и разноплеменные туристы, и старые монашенки в черном, с одутловатыми, постными лицами, гнусаво призывающие подавать пожертвования, и молодые лощеные сутенеры, предлагающие с дьявольски милой улыбкой порнографические открытки, и полицейские, с равнодушием каменных королей ничего не желающие замечать.

Стоит на секунду закрыть уставшие глаза, как я уже вижу вокруг себя монахинь с головами химер, сутенеров с рогами дьяволов и горгон с постными лицами Христовых дев...

АЛЫЕ ГВОЗДИКИ

Пер-Лашез. Здесь нет ни гранитных надгробий, ни мраморных памятников, ни чугунных часовен с витиеватыми украшениями, которых так много в этом огромном мертвом городе с улицами и кварталами.

Здесь все просто. Простота эта не нарочита, и она трогает до слез.

Стена. Старая, потемневшая от дождей и копоти кирпичная кладбищенская стена. И к ней прикреплена небольшая серая цементная доска. Скупая надпись:

ПОГИБШИМ КОММУНАРАМ
21—28 МАЯ 1871

А под доской, у основания стены, алые, словно капли крови, гвоздички.

У этой вот стены были расстреляны последние защитники Коммуны.

Медленно иду к выходу. Рассеянно гляжу на разные памятники и часовни, а перед глазами стоят алые скромные гвоздики.

СЕРДЦЕ ФРАНЦИИ

Мы на автомобильном заводе Рено. На этом гиганте трудится более тридцати тысяч рабочих.

Идем по цехам, мимо станков, мимо конвейеров, и отовсюду на нас устремляются приветливые глаза друзей.

Один просто кивает, другой поднимает над головой руку, третий расплывается в щедрой, сияющей улыбке, а четвертый торопливо выбегает из-за станка и крепко, по-рабочему жмет наши руки.

В эти трогательные часы, проведенные в гостях у рабочего класса Франции, мы часто слышали задушевное слово «камарад» — слово, объединяющее все народы земного шара.

В сборочном цехе, с конвейера которого сходят уже готовые машины, к нам подошел коренастый, средних лет человек с густыми, тронутыми сединой усами.

— Мы вас с утра ждем,— улыбаясь, сказал рабочий, узнав, что один из наших товарищей говорит по-французски.— Передайте...— Он на секунду запнулся от волнения.— Скажите там, в России... мы всегда с вами.— Он опять помолчал, приложив к груди свою заскорузлую, в старых ссадинах руку, и добавил:— Вот здесь бьется настоящее сердце Франции!

С годами можно многое забыть. Но никогда из моей памяти не исчезнут бесследно воспоминания о встречах с рабочими завода. Рено, под грубыми блузами которых бьется настоящее, горячее сердце простого народа Франции.

РОЗЫ С ШИПАМИ

В Париже мы были недолго. Но даже в эти считанные дни много увидели и много узнали. И самое главное, самое ценное — мы увезли из Франции веру в то, что здесь у нас осталось много надежных, искренних друзей.

Но в Париже мы встречали не только друзей. Случались и другие встречи.

Как-то к нашему автобусу, стоявшему у отеля «Модерн» на площади Республики, подошла невысокого роста брюнетка в непроницаемо черных очках. Она, эта дама, видимо, вообще обожала черный цвет.

День выдался необыкновенно жаркий, но дама была во всем черном: черная шляпа, черный костюм, черные перчатки. Только разбухший портфель был почему-то коричневым.

Назвав себя корреспонденткой французской газеты (какой именно — предусмотрительно не сообщила), эта дама в черном, плохо изъясняясь по-русски, принялась рассказывать какие-то нелепые гнусности о Советском Союзе.

Около машины нас было шестеро, и все мы наперебой стали приглашать французскую корреспондентку приехать к нам в Россию и своими глазами посмотреть на жизнь советских людей.

Но скоро мы поняли, что эта дама не хочет знать подлинной правды о нашем народе. Тогда мы от нее отвернулись. А через час и совсем забыли про нее.

А через несколько дней на вокзале перед отъездом в Гавр мы вдруг увидели даму в черном среди наших многочисленных парижских друзей, пришедших с цветами провожать гостей из России.

Дама в черном доставала из своего пузатого портфеля розы и предлагала их отъезжающим.

Мы прошли мимо. Нас не растрогали ее цветы. Мы знали, что эти розы с шипами.

В АМСТЕРДАМЕ

Голландцы называют Амстердам «Венецией Севера». Красивый этот город не похож ни на один из тех, которые мне довелось видеть за границей.

В Амстердаме больше сорока каналов и несколько сот мостов. По городу мы разъезжали на катерах с прозрачными целлулоидными крышами.

Плывешь по каналу, а по бокам тянутся неширокие тротуары, вдоль которых стоят высокие серые дома. У этих домов узкий, в три-четыре окна фасад. Передние колеса легковых машин, стоящих у подъездов домов, чуть ли не свисают с набережной — так она узка. А на некоторых каналах дома стоят прямо в воде.

Вода в каналах зеленая, вся запорошенная опадающими с деревьев листьями. Листья горят на воде, как золотые монеты.

Кое-где по каналам плавают утки. Они не боятся нашего катера и только жмутся к зеленовато-осклизлым каменным стенам.

Мы проплываем по одной из главных улиц Амстердама. Многие дома на этой улице являются памятниками седой старины: они построены в семнадцатом и восемнадцатом веках.

Гид обращает наше внимание на красивый, многооконный особняк с большим гербом.

— В этом доме,— говорит гид,— живет портной принца Бернарда.

Немного погодя катер завернул направо, и мы увидели целое скопище странных суденышек, стоящих у набережной. У этих беструбных «кораблей» будто кто-то отпилил и корму и нос. Здесь, оказывается, обитают голландцы, у которых нет над головой крыши.

Гид говорит, что даже такой домик-суденышко стоит дорого и не каждая рабочая семья в состоянии его купить или снять.

А катер несется все дальше и дальше, сворачивая то влево, то вправо, и на зеленой мутной воде каналов все так же покачиваются желтые осенние листья.

Светит солнце, и под целлулоидным колпаком делается жарко, как летом. Но я думаю о зиме, о морозах, о де-

тишках с бледными, прозрачными лицами, с доверчивым любопытством смотрящих на мир из окон домиков-суденышек.

КИЛЬСКИЙ КАНАЛ

Весь день наш теплоход шел Кильским каналом. Переход по каналу — самый безопасный и кратчайший путь из Северного в Балтийское море.

Теплоход шел медленно, иногда останавливаясь в специальных бухтах, чтобы пропустить караван встречных судов.

Здесь можно увидеть суда разных стран: норвежские, американские, финские, голландские, английские, индийские, французские, шведские. На нас с живым интересом смотрят рыбаки и пассажиры встречных кораблей. Многие из них охотно отвечают на наши приветствия, многие сами первыми начинают махать руками, фуражками.

А справа и слева тянутся земли Западной Германии. Леса, поля, фермы, перелески.

Вон на левом берегу крестьянин пашет рыжие скудные супески. Сильные кони, запряженные в плуг, понуро машут головами. А по другому берегу тянутся трубы нефтепровода, словно ползет, извиваясь, сказочный полоз.

В двенадцать часов дня прошли под первым мостом, перекинутым с одного берега канала на другой (всего через Кильский канал переброшено четыре моста).

Зрелище захватывающее. Все ближе и ближе узорчатая арка моста. Но грот-мачта кажется значительно выше ее. Мост совсем уже близок, а мачта... Она сейчас разлетится в щепки, едва лишь соприкоснется с железной аркой! Но в самую последнюю секунду мачта словно сокращается в длину и преспокойно проходит под аркой. Та же картина повторяется и с кормовым флагштоком.

К середине дня солнышко стало так припекать, что в солярии на корме теплохода появилось много любителей солнечных ванн. А вдоль бортов все по-прежнему тянется немецкая земля. Местами пейзаж на канале прямо-таки подмосковный: березки, сосенки, рябинник.

Вечером, в начале шестого, шлюзовались в городе Киле. Город расположен по ту и другую сторону канала. Старые,

прокопченные кирпичные дома с черепичными островерхими крышами, темная худосочная зелень.

У причальной стенки собралось много немцев. Среди встречающих советский теплоход все больше видишь юные лица. Девочки и пареньки, видимо школьники, толпой бегают вдоль борта нашего теплохода и выпрашивают сувениры. И наши люди с исконно русской щедростью дарят юным немцам монеты, значки, открытки с видами Москвы, Киева, Ленинграда и других городов Советского Союза.

Ребята смеются и, толкая друг друга, подбирают упавшие на асфальт двугривенные и пятиалтынные, благодарят за подарки.

Взрослые немцы вначале стоят в стороне и несколько отчужденно смотрят на все происходящее вокруг. Но вот к борту теплохода решительным шагом направляется пожилая дама в белой панаме. Между ней и пассажирами, знающими немецкий язык, завязывается оживленная беседа.

А через несколько минут руки немцев, стоявших до этого в стороне, тоже тянутся за сувенирами. Не устоял от соблазна обменяться сувенирами даже молодой полицейский в черном мундире, «гуляющий» по набережной. Ему кто-то вручает альбом с видами Кремля.

Полицейский улыбается, благодарит и тотчас бежит в ближайшую лавочку. Он возвращается с открытками, изображающими город Киль, и раздает их пассажирам теплохода.

И только один немец, чернявый узколицый парень, остается в стороне от этого, по всему видать, важного события для жителей Киля. На русских он смотрит исподлобья, хмуро. Я видел, как он несколько раз подходил к школьникам, разглядывающим советские открытки, и что-то сердито им говорил. Но ребята отмахивались от него, весело между собой переговариваясь.

Стоявшая рядом со мной у борта теплохода ленинградка спросила румяную рыжую девчонку, о чем с ним говорил этот необщительный парень.

— Он ругает нас... Говорит, чтобы не брали от вас сувениры,— сообщила девчурка и улыбнулась во все лицо.— А ну его!..

Но вот шлюзование кончилось, теплоход отваливает от стенки и направляется к выходу из канала.

Немцы, и старые и юные, горячо прощаются с нами. Чернявый молодчик, которому не по душе пришлась эта встреча, стоит по-прежнему в стороне, скрестив на груди руки. Но на него никто не обращает внимания. Немцы машут нам косынками, шляпами.

А впереди в дымке наступающих сумерек расстилаются перед нами просторы Балтики.

ЛЕБЕДИ

От берегов Швеции, страны рек и озер, мы отошли на рассвете двадцать девятого сентября.

Днем накануне ознакомились с шведской столицей Стокгольмом, а вечером до позднего часа были на приеме в городской ратуше.

Утром не хотелось рано вставать, но я себя приневолил и уже в семь часов бродил по чистой пустынной палубе.

Наш теплоход идет по узкому фиорду, между нескончаемыми рядами островов и островков.

Они хмуры, каменисты, в зарослях сосняка. На многих островах стоят дачи — небольшие стандартные коттеджи. Дачи ярко раскрашены. Видимо, людям хотелось как-то оживить этот неласковый северный пейзаж, но такой по-своему красивый.

Теплоход проходит вблизи тонкой, как ниточка, сосенки с курчавой верхушкой, непонятно как выросшей на голом камне, окруженном со всех сторон водой.

Кое-где по заливам и бухточкам кружат белые пушистые комки. Это лебеди. Они плавают парами — царственно гордые, словно подвластные только вечности.

Выходим из фиорда, и Балтийское море встречает нас крутой волной. Низовой ветер срывает с белых гребней пену и, пыля, уносит ее куда-то назад.

И чем дальше отходим от берегов Швеции, тем забористее дует свежий, прохватывающий до костей ветер, тем сильнее расходятся волны, зеленые, с чернью.

С высоты безоблачного линючего неба глядит негреющее солнце. Воздух кристально чист и прозрачен: от самого горизонта видны бегущие нам навстречу кипенно-белые

буруны. Смотришь, и кажется, будто на море опустилась несметная стая лебедей.

Качка усиливается: палуба то оседает, то упруго поднимается. Но нам, «бывалым путешественникам», избороздившим по разным морям около десяти тысяч километров, теперь уж, кажется, ничего не страшно. Завтра в полдень будем в Ленинграде, на Родине.

А навстречу теплоходу все летят и летят несметные стаи лебедей. Скажите, лебеди, откуда вы? Не вы ли несете на своих вспененных крыльях желанный привет от берегов моей Отчизны?..



ОТКРОВЕНИЯ ЗОИ ИВАНОВОЙ • ПОВЕСТЬ





Почему все парни заглядываются на красивых девчонок? Да разве только одни парни? Сколько раз я со стороны наблюдала за пожилыми мужчинами, мужчинами с сединой во всю голову, прямо-таки на глазах преображавшимися, стоило им завидеть идущую навстречу смазливую девушку!

Ну, а кому нужны неприметные, некрасивые? Даже если у них золотые сердца и золотые руки? Руки вечных тружениц, без маникюра и всяких сверкающих колечек и браслеток?

Существовали бы сейчас монастыри, то мне, пожалуй, стоило постричься в монахини. Честное комсомольское!

Правда, где вы найдете другую такую дуру, которая бы по собственному желанию сбежала из большого волжского города? И ради чего? А чтобы упрятать себя в глухомань, в стародедовский раскольничий поселок. Поселок же этот затаился от всего мира среди первобытно-дикого лесного массива, расхлестнувшегося и туда и сюда на добрую сотню километров... Ой, а я, кажется, начинаю «выражаться» языком «Прожектора лесоруба», нашей районной газетки! Это сюда — в редакцию «Прожектора лесоруба» — так неожиданно забросила меня судьба десять месяцев тому назад. Точнее — десять месяцев и тринадцать дней.

Вгорячах, пожалуй, я хватила через край! От дедовского старообрядческого поселка тут, конечно, давным-давно и в помине ничего не осталось. Как, впрочем, и от «лесного массива на сотню километров вокруг». Богородск до-

вольно-таки славный районный городишко. В Богородске приличный кинотеатр, две школы-десятилетки и множество — зачастую без нужды — всякого рода контор и учреждений. В прошлом году горсовет с помощью леспромхоза — крупнейшего в области — построил даже гостиницу на двадцать пять номеров с рестораном в придачу. Об этой гостинице и ресторане «Журавушка», оборудованном, как хвастался «мэр» города Усенко, «в стиле модерн навыворот», наша газета писала с восторгом несколько раз.

Богородском умиляются командированные, особенно пожилые, и то лишь те из них, которые задерживаются в «райском местечке» не больше недели: «Какая здесь первозданная тишина! А деревянные тротуары? Ну, просто прелесть! А рябинки и черемуха в палисадничках под окнами? Ах, ах!»

Между прочим, и деревянные тротуары, и палисаднички с кустами чахлой черемухи напоминают мне родной Старый Посад. В последние месяцы, особенно с наступлением зимы, я как будто... как будто даже чуть-чуть стала привязываться к этому чужому мне Богородску, возможно, как раз вот за это — за память о канувшем навсегда в прошлое тихом Старом Посаде, с приходом зимы, бывало, как бы погружавшемся в снежное безмолвие, где так непростительно быстро, прямо-таки вскачь, пролетело мое босоногое беззаботное детство.

Живу я неподалеку от редакции, на улице Робеспьера. (В Богородске после революции почти все улицы были переименованы. Тут чуть ли не на каждом шагу то улица Герцена, то переулок Вольтера или Марата. До прошлого года, говорят, существовал даже проезд Канта.)

Комнату мне помогла найти Нюся Стекольникова, наш корректор. Ксения Филипповна, хозяйка просторного дома, сдала мне светелку — уютную комнатку с большим венецианским окном. Сюда, на второй этаж, я поднимаюсь по скрипучей и тоже уютной лесенке.

Когда у нас не выходит газета, я рано возвращаюсь домой.

Зима выдалась метельной, морозной. Перед Новым годом суток трое бесилась непроглядная вьюга. Снежные вихри чуть не сшибали с ног. А потом, хохоча, будто в истерике, уносились прочь, на миг-другой оставляя тебя в по-

кое, среди белого дыма. Едва же отдышишься и сделаешь с трудом десяток шагов, то и дело проваливаясь в сугробы, как опять налетит свирепо ветер, бросая тебе в саднившее лицо пригоршни острых иголок.

На Новый год как обрезало: стихла метель и ударил мороз. Около недели лютовала стужа. И вдруг снова завьюжило. И так весь январь: то морозы каменили землю, то буранило — щедро сыпало да подсыпало сверху и днем и ночью.

Казалось, Богородск вот-вот исчезнет, исчезнет навсегда в этом кромешном снежном аду. Бредешь по самой середине улицы, а домов почти совсем не видно из-за белесо-искристых вздыбленных сугробов.

В городе чуть ли не все дома деревянные, приземистые, солидные. Надвинули избы до оконных карнизов меховые заячьи шапки и затаились, не дышат. Только хитро щурятся: «Нам не впервой и морозы эти и бураны. Мы перетерпим, а там и тепло не за горами!» И кряхтят, стонут по-стариковски. Сколько раз мне доводилось просыпаться ночью от надсадного оханья половиц, треска бревен. Мнилось: они шептались между собой — половицы, стены, двери, шептались на непонятном человеку языке.

Спасаясь от бескормицы, из леса нагрянули отощавшие снегири. Облепят, красногрудые, рябины в палисадниках и весь-то денек — в январе дни безжалостно коротки — лакомятся подмороженными ягодами.

Улицы не успевали чистить от снега, и ноги тонули по щиколотку в белой мякоти, будто ступаешь по необычайно ворсистому небесному ковру.

Мне не холодно в шубе с лисьим воротником, на ногах у меня валенки. И все же я спешу. Спешу домой. Хочется как можно скорее подняться к себе в светелку. Я к ней привязалась за целительную тишину и блаженную теплынь.

Очутившись у себя наверху, я зажигаю настольную лампу. Тут же на столе лежит раскрытая книга. Сбоку на полочке пристроился транзистор. Включаю его, когда передают музыку. Я люблю Рихтера. Чайковский, Шопен, Бетховен... с какой редкой виртуозностью и пленительным обаянием Рихтер исполняет титанов! Если играет Рихтер, я обо всем, обо всем забываю: и о запутанной, полной дра-

матизма прозе Фолкнера, и о письмах читателей, которые собиралась подготовить к сдаче в набор. В первые месяцы работы в редакции, раньше мне совершенно незнакомой, я частенько брала домой разные там статейки, чтобы покумекать над ними в одиночестве.

Часов в семь или восемь вечера меня обычно окликает снизу хозяйка:

— Зоя Витальевна, жду вас чаевничать! Самовар на столе!

Обедаю я всегда в кафе напротив редакции, а завтракаю и ужинаю дома.

Внизу у Ксении Филипповны еще три комнаты и кухня. Все комнаты заставлены громоздкой старинной мебелью — прадедовскими буфетами с причудливыми резными башенками, шестиярусными этажерками и комодами-раскоряками на львиных лапах. А среди всего этого отжившего хлама величаво царствует по-мужски широкоплечая грузная женщина лет шестидесяти с гаком.

Муж Ксении Филипповны, умерший лет пять назад, был главбухом в леспромхозе, и семья жила припеваючи. У моей квартирной хозяйки два сына. Младший, Антоша, в армии, где-то на Дальнем Востоке в погранвойсках служит, а старший, Валетка, когда кончилась война с фашистами, не прожил под родительским кровом и года. Властной матушке пришлась не по нраву фронтовая жена сына — медицинская сестра. И Валетка — в родительницу, видно, крутой нравом,— уехал с женой и только что народившимся карапузом в столицу одной азиатской республики к боевому другу. Еще до войны парень набил руку на малевании вывесок и холстяных ковриков с пышнотелыми русалками и белогрудыми лебедушками, и это ремесло ему пригодилось на новом местожительстве. Тот же фронтовой друг, приютивший у себя временно Валетку с семьей, помог ему пристроиться в художественную мастерскую местного оперного театра. Вначале Валетка раскрашивал декорации, пристально приглядываясь к работе главного художника — выпивохи-забулдыги. Не раз и не два бражничал Валетка с главным, просаживая порой чуть ли не всю свою скудную полумесячную получку. И тот многому научил сметливого парня. А когда художник вконец спился с круга и его уволили из театра, освоившийся с делом Валетка быстрехонько пошел в гору.

В настоящее время он достиг больших высот: главный художник театра. Матушка ежемесячно получает от старшего сына переводы — когда на пятьдесят, когда на семьдесят целковых. Не забывает Валетка, точнее уж Валентин Георгиевич, и матушкины именины. В этот день Ксении Филипповне доставляют от сына и поздравительную телеграмму, и посылку с фруктами. И она до небес превозносит своего «старшого». Светелка до сих пор называется Валеткиной, хотя вот уже больше двадцати лет сын ни разочку не навестил родной город. Не приезжал он и на похороны отца.

Сейчас моя многоречивая Ксения Филипповна (она страшно негодует, когда кто-нибудь из соседей называет ее «теткой Оксей») ждет со дня на день возвращения из армии младшего своего отпрыска — ненаглядного Антошу.

Обычно за вечерним чаем, о чем бы ни начинался у нас разговор, она непременно сведет его на Антошу — «писаного красавчика, вьюношу кроткой ангельской души, застенчивого до ужасти... такой теперь даже девицы не найдешь на всем белом свете».

Правда, на фотографии, которую Ксения Филипповна показывала мне бог знает сколько раз, младший ее сынок не производит неотразимого впечатления: длинная гусиная шея, крупные оттопыренные уши, глубоко запрятанные робкие глаза, еле приметные, поджатые губы, как бы наглухо замкнутые на ключ.

Среди недели заболел Гога-Магога — так мы с корректором Нюсей Стекольниковой за глаза зовем ответственного секретаря Маргариткина, люто ненавидящего свою фамилию. И Пал Палыч — наш старик редактор — попросил меня временно исполнять обязанности секретаря. А какой из меня секретарь, когда я до сих пор шрифты путаю?

В субботу, часов в семь вечера, когда все полосы были сверстаны, получили заявление ТАСС по вьетнамскому вопросу. Ну и началась горячка!

При переверстке полос я допустила несколько промашек. Раздувая сивые усищи, Пал Палыч проворчал, не глядя на меня:

— Не появится в понедельник Комаров — не миновать мне инфаркта... огурцы соленые!

Я промолчала. А выходя из редакторского кабинета, подумала: «А у меня, усатый морж, по-твоему, веревки вместо нервов? Без Комарова и мне будет крышка!»

Комаров — заместитель редактора, на диво мягкий, обходительный человек. Не то что ворчун Пал Палыч. Сегодня Женя последний день гуляет в отпуске. В редакции его все ждут с нетерпением.

В начале десятого, пока ожидали последней полосы из типографии, отделенной от редакционных комнат мрачным студеным коридором, догадливая Нюся вскипятила чай.

— Не огорчайся, Зойк,— сказала она мне в утешение.— Наш Пал Палыч, в сущности, свойский старикан. Вот только нервы... а у кого они сейчас не сдают?

На столике, где обычно лежат пропыленные подшивки «Прожектора лесоруба» за несколько лет, Нюся расстелила чистый лист бумаги, поставила чашки. Появились, словно из-под земли, французская булка, колбаса, печенье.

— Присаживайся,— поощрительно улыбнулась Нюся, заканчивая приготовления к чаепитию.— Колбаса из райкомовского буфета. Советую обратить на нее особое внимание.

Муж Нюси, Владислав Юрьевич, работает заведующим отделом пропаганды райкома партии. Ходят слухи, что на очередной партконференции его изберут членом бюро и он займет пост третьего секретаря.

В разгар нашего «пиршества» в комнату заглянул Пал Палыч. Лицо у старика серое, под глазами лиловатые мешки.

Я, глупая, конечно, смутилась. Смутилась и поперхнулась. А Нюся как ни в чем не бывало воскликнула бойко:

— Не хотите ли, Павел Павлович, подкрепиться? Горячий чай никогда не вреден. К тому же у нас не какой-нибудь, а индийский.

Редактор оживился. Водянисто-тусклые глаза его потеплели.

— Индийский? И крепкий?.. Ну, тогда налейте.

От бутерброда с колбасой и даже от печенья Пал Палыч решительно отказался. Зато чашку черного как деготь, душистого чая он выпил не торопясь, с видимым удовольствием.

Уминая за обе щеки колбасу с булкой, Нюся ухитря-

лась в то же время вести непринужденно «великосветскую беседу» (так она в шутку называет свою пустую болтовню). Рассказала о намерении отца преподнести ей ко дню рождения «Москвича» новой модели, не забыла поинтересоваться у Пал Палыча здоровьем жены, успехами сына, студента Горьковского института инженеров водного транспорта. Тараторила Нюся о чем-то еще, сейчас уж не помню о чем.

Завидую легкому, смелому нраву нашего корректора! Ей и в жизни страшно везет. Дочь директора фабрики меховых изделий в Казани, она с золотой медалью окончила десятилетку. Поехала в Москву поступать в институт кинематографии, провалилась на экзаменах, зато удачливо вышла замуж за выпускника МГУ. На днях, разоткровенничавшись, Нюся призналась мне в их с мужем намерении не задерживаться долго в Богородске — «скучнейшей ссылки для престарелых». Оба они мечтают в ближайшие два-три года перебраться или в Казань, или в Горький.

Поставив на стол пустую чашку, редактор сказал:

— Благодарю. Это самое... целительный напиток. Вы, Стекольникова, должно быть, отменная хозяйка.

Нюся расхохоталась.

— Единственно, что я умею,— заваривать чай. И то отец научил. А так... у меня ведь, Павел Павлович, домработница. Она, тетя Агаша, нас всех троих вынянчила — брата, меня и сестренку. Когда же Владислава направили в Богородск, мама ко мне прикомандировала Агашу.— На какой-то миг Нюся запнулась. А потом с той же подкупающей простодушностью продолжала: — Пожалуй, она не отпустила бы Агашу, да старуха взбунтовалась против собачки. Да, да! Сестренка-девятиклассница завела себе крошечную болонку... Чудо, а не собака, а наша Агаша на дыбы: «Или я,— кричит,— или эта тварь!» Вскипела и Люська: «Пусть собирает свое барахлишко и уходит!» Тут я и воспользовалась перебранкой. «Поедем, говорю, Агаша, со мной».— Улыбаясь, Нюся подняла на редактора свои выразительные васильковые глаза.— Павел Павлович, может, еще налить вам чайку?

— Нет, нет! — Редактор поспешно встал.— Я и так основательно зарядился.

Как я заметил, ему уж давно наскучила трескотня Стекольниковой. Если говорить по-честному — мне тоже.

Тут как раз метранпаж принес сырой оттиск полосы, и наш старик заторопился к себе. От порога он пробормотал скороговоркой:

— А вы, Иванова, это самое... огурцы соленые... не серчайте на меня.

И вышел.

Понижая голос, Нюся ободряюще проворковала:

— Я же тебе говорила: старикан наш не злопамятлив!

Я отмахнулась:

— А ну его!

Нюся снова беззаботно и сыто рассмеялась.

Домой я отправилась в одиннадцать, когда в типографии во всю ивановскую грохотала печатная машина.

Безлюдны улочки и переулочки: ни единой живой души. Даже бродячие собаки куда-то попрятались от стужи. В обросших инеем домах редко где светились окна: несмело, сонно, слезливо.

Фонари на перекрестках не горели, да в них и нужды не было. Над забывшейся от повседневных тревог и потрясений грешной нашей землей полновластно царствовала луна — грустная, отрешенно одинокая. В ее резком бесчувственно белом свете искрились игольчато сугробы. Даже в густой синеве теней, отбрасываемых заборами, мерцали, казалось, голубоватенькие огоньки.

Шла медленно. Куда спешить? Меня никто не ждал. Во всем мире никому-то я не была нужна. Обжигающе-сухой морозный воздух бодрил и успокаивал. Чтобы продлить эту полуночную прогулку, я сделала изрядный крюк: на углу свернула не влево, а вправо и по улице Спартака дотопала до Базарной площади.

Посреди до жалости скучной в этот поздний час площади высился строгий серый обелиск — памятник борцам революции, погибшим в сражениях с колчаковцами. За невысоким штакетником по углам тянулись к звездам худенькие елочки. На вершине самого рослого деревца серебрился снежный шлемик. Шлемик сынишки богатыря.

Потоптавшись недолго у молчаливо-насупленного обелиска, затянутого мохнатым парчовым крепом, я побрела назад.

Возле одного дома кособочилась одряхлевшая липа. Ее

седые перепутанные космы нависали над уютным крылечком, возле которого длинноногий юнец в легонькой коротополой шинельке ученика ремесленного училища прижимал к себе девушку.

Услышав, видимо, мои шаги — снег надсадно визжал под ногами,— девчонка стыдливо зашептала (я отчетливо слышала этот горячий, придушенный шепоток):

— Пусти... кто-то идет! Сеня, ну...

Но Сеня не дал ей даже договорить. Порывисто наклонившись, он исступленно принялся целовать низкорослую свою подружку.

Меня будто ножом полоснули в самое сердце. Ускоряя шаг, я подумала: «Боже мой, какая же она счастливая, эта едва оперившаяся девчонка! А меня... меня ни разу в жизни ни один парень не поцеловал. Даже просто в шутку».

И так мне жалко себя стало, несчастную, так жалко, что я едва не разрыдалась. Не скажу, что мне не приходилось раньше быть невольной свидетельницей такого рода уличных сценок. Приходилось. И они меня когда смешили, когда слегка волновали, а случалось, вызывали в душе возмущение: «Нашли тоже место где виснуть друг на друге! Бесстыдники!» Но вот сейчас... сейчас я не осуждала юнцов, я им завидовала. Жутко как завидовала!

Пока брела до квартиры — по-другому не скажешь, именно брела: ноги заплетались, спотыкаясь на ровном месте,— в душе вроде бы наступило некоторое успокоение. Вернее, на нее нашло забытье.

Высокий шатровый пятистенник Ксении Филипповны даже ночью был приметен среди однообразных, прочерневших от времени изб. А днем он похож на старинный терем. Затейливыми узорами цвели оконные наличники, кружевные подзоры фронтона. У балкончика светелки балясины ограждения витые, а по барьеру прогуливались точеные петушки да курочки.

В палисаднике перед домом стояли две большие березы, между ними кустилась сирень. Тени от берез запутанные, вперехлест, они тянулись до самой середины широкой улицы.

У меня был ключ от парадного крыльца — на случай позднего возвращения. По коридору, освещенному лунным светом — он еле пробивался сквозь оловянно-тусклые мелконькие стеклышки большой рамы с ячейчатым, как соты,

переплетом,— я ступала осторожно, боясь разбудить спавшую всегда чутко хозяйку. Так же осторожно отворила я и кухонную дверь. Отворила и на миг прикрыла варежкой глаза. У потолка под молочно-белым абажуром ярко горела лампочка. На столе же пыхтел натужно самовар, испуская горячий парок, а сама Ксения Филипповна, прислонившись спиной к подтопку, что-то вязала из воздушной поярковой шерсти.

— Вы... вы не меня ли уж поджидали? — спросила я растерянно, снимая с головы заиндевелую шапку.

— Не спится, касатка.— Хозяйка подняла на лоб очки. И пристально посмотрела мне в глаза.— Гостевала, что ли, где, полуночница?

— Гостевала? — Я усмехнулась.— Не хотелось бы в другой раз так гостевать... С газетой была задержка.

Сняла шубку и стала стаскивать с ног валенки. Они на морозе как бы залубенели.

— Ой, батюшки, и беспокойная же у тебя должность.— Ксения Филипповна покачала головой.— Мой-то покойный муженек тоже, случалось, задерживался. Ну, это только во время годового отчета. А у вас — не разберешь-поймешь... когда попало! — Она достала из горнушки шерстяные носки.— Надень на, ноженьки скорее согреются. А валенки на печку... к трубе ближе поставь, там кирпичи-то, поди, еще горячие.

Когда я помыла руки, хозяйка пригласила к столу:

— Горячий чай, к тому же сдобнушки свежие. Ноне пекла. Угощайся!

Я не отказалась ни от чая, ни от пышных сдобнушек. Хотя хандра моя и не прошла, а вот поди ж ты — пока разгуливала по морозцу — проголодалась.

Ксения Филипповна налила чаю и себе. В течение дня она обычно много раз подогревала самовар. Вот и сейчас, пока я не торопясь отхлебывала из стакана обжигающе крутой кипяток, сдобренный жидкой заваркой, хозяйка уже пила вторую чашку. А чашка у нее преогромная, старинная, с румяными целующимися амурчиками.

Вытирая клетчатым платком горошины пота с низкого лба и блаженно отдуваясь, она вдруг сказала:

— Писуличку от Антоши получила: всего один месяц осталось ему служить. Так кумекаю, касатка, через пять-шесть недель быть сыночку под родительским кровом. Сла-

ва тебе, владычица... можно вздохнуть: отслужился! На этих границах-то всегда опасливо. А на Дальнем Востоке сейчас особливо.

Ксения Филипповна осанисто выпрямилась. Самодовольно-чванливая улыбка расплылась по ее крупному, мясистому лицу с удивительно крошечным, пуговкой, носом.

Из овальной табакерки-тавлинки, лежавшей на краю стола справа, под рукой, хозяйка взяла большую щепоть душистого табаку. И основательно, с толком понюхала.

Берестяная табакерка эта старинная. Она вся изукрашена тонкой кружевной резьбой и прорезью. Под прорезь искусный мастер подложил слюду, и отблескивающий фон как-то особенно четко оттенял ажурность рисунка.

Нанюхавшись табачку, Ксения Филипповна долго чихала. Чихала так же с упоением, как и пила чай. А уж потом журчаще запела, щуря хитрущие, рыже-зеленые глаза:

— Теперичко самая пора невестушку Антоше подыскивать. Самая что ни есть сурьезная пора! Да вот загвоздка: где ее, паву, в наше суетное губительное время скоро отыщешь? Невинную и кроткую лебедушку?

Я даже поперхнулась.

— Да вы что, Ксения Филипповна! Он у вас не маленький, Антоша ваш. Двадцать три ему?.. Ну, так приедет, поступит работать и... и сам найдет. Если, конечно, надумает. А потом... откуда вам знать?.. Возможно, у него уже есть...

Перебивая меня, хозяйка замахала руками:

— Не мели не дело, не мели! «Сам найдет»!.. Он сам такое веретено отыщет... потом не возрадуешься! Одни перекосы и щели образуются в молодой его жизни. Вон старшой-то мой... парень головастый был, не этому ровня по умственным понятиям, а чего натворил? Повисла ему на шею в окопах фронтовых продувная доступная бабенка, он и раскис! У меня по сю пору душа не лежит к этой мокрохвостке!

Снова с чувством понюхав, она продолжала:

— Он, Антоша-то мой, пупырчик нежный, стеснительный до крайности, не то что старшой... того война обкатала. А этот — куренок. К тому же тяжелодум и малоречив. Такому любая верти-переверти мозгу закружит. Да я не

допущу! Пока жива — не допущу! Сама буду денно и нощно искать невесту.

Тут хозяйка властно пристукнула по столешнице ладонью. И потянулась за платком... Отчихавшись, она вроде бы пооттаяла, пообмякла сердцем. А в голосе появилась мечтательность.

— Мне бы обзавестись сношенькой скромной, непременно образованной. Антоша-то хотя и рукастый слесарь, да у него всего-навсего восемь классов. Ему надо жену культурную, с высокими понятиями, чтобы с образовательной стороны влияние на него распространяла.

И вдруг — без всякого перехода:

— А ты вот, Зоя Витальевна, чего дремлешь? Замуж не выходишь? Парни-кобели, прости господи, никогда не стареют, даже в сорок лет, а девицы того... свой срок имеют.

Чувствую, как у меня начинает саднить и гореть лицо, ровно его кипятком ошпарили. Не знаю, куда и глаза девать. Но Ксении Филипповне хоть бы что! Она знай себе рубит сплеча:

— Вот-вот, чересчур, касатка, стеснительность чрезвычайную имеешь. К тому же ты, Зоя Витальевна, с мечтательностями... прости меня, грешную. Все в небо смотришь. А они, женихи-королевичи, по земле шастуют! В твои двадцать-то шесть дремать не гоже!

Я больше не могла выдержать этой пытки. Пробормотав какие-то извинения, стремглав бросилась к себе наверх. В один миг одолела крутую лесенку. А захлопнув дверь, упала вниз лицом на кровать. И... и зарыдала.

В то лето — пятнадцатое мое лето — июль выдался необузданный какой-то, а точнее сказать — бешеный! Честное комсомольское!

С утра начинало печь. В полдень же, когда казалось, сгорали дотла даже не спасающие от зноя жидкие тени, уже совсем делалось тошно. Вода в неглубокой в это время года Воложке прогревалась до самого дна. И сколько бы раз ты ни окуналась в эту тепловатую, пахнущую тиной воду, облегчения не наступало.

Стоило же выйти на берег, как вялое тело со всех сторон охватывал нестерпимый жар. Будто бы ты не на берег вышла, а нырнула в пасть гигантской печи. И уж не хо-

телось ни о чем думать, не хотелось даже ногой пошевелить. Душа была ко всему безучастна: и к неоглядной, празднично-радостной, сверкающей реке, распростертой до шаткого в душном мареве Телячьего острова с кудрявой полоской тальников, блекло-серой, точно ошпаренной паром, и к этим вот бугристым, сыпучим пескам с мириадами раскаленных искорок кварца.

Не было отрады и в сосновом бору, с трех сторон подступавшем к Старому Посаду, таком просторном и высоком, насквозь пронзенном дымно-золотыми пиками, совсем задыхающемся от крепкого, сухого смолистого воздуха.

Брякнешься плашмя на пружинисто-игольчатую проскипидаренную подстилку, раскинешь по сторонам руки и долго-долго смотришь неподвижным взглядом в бездонное светло-голубое колодце, разверзшееся в вышине, между раскачивающимися вольно лохматыми макушками столетних великанов.

Если мы с Римкой, подружкой, уходили в лес с утра, то и оставались тут до вечера. Прихваченные с собой книги часто оставались нераскрытыми. Не хотелось и есть. Когда же одолевала жажда, мы ползали на четвереньках по затененным пестро бугоркам и полянкам с горячей поникшей травой, собирая сладкую, сочную землянику — маняще жаркие угольки.

Но вот переваливало за полдень. И на сияющем небе, зацелованном солнцем, вдруг появлялось—откуда? кому это знать!— облако, похожее на преогромный снежный ком. Величавое это творение природы медленно плыло в беспредельной выси, клубясь и меняя очертания. То оно делалось похожим на гривастую голову грозного льва, то на воздушный замок жестокой царицы Тамары. А спустя какое-то незначительное время глянешь вверх, а там, в беспредельном до головокружения воздушном океане, уже разгуливают два облака — такие будто похожие друг на друга и такие несхожие.

И чем ниже клонилось к горизонту солнце, оно пекло беспощаднее, и раскаленный воздух густел, наливался тяжестью. Тускнела белесо и вышина, и по небосводу плавало теперь, теснясь и сталкиваясь, множество облаков.

И тут мы с Риммой, прихватив косынки и книги, улепетывали домой.

Сумерки крыли изнывающую от зноя землю рано, и в окутавшем мир мглистом мраке раздавалось глухое погромыхивание. В первые минуты громыхало где-то далеко-далеко, но с каждым разом грохот этот нарастал, неумолимо приближался. Небо охватывали малиновые сполохи.

Чуть погодя налетал вихревой ветер, обдавая то палящим дыханием, то ледяной стужей. Панически метались из стороны в сторону тополи и березки. Наконец чудовищный взрыв сотрясал все живое и мертвое. Тотчас в кромешной выси появлялись белые змеи — одна проворнее другой. Они жалили и жалили свирепо небо, и оно, не выдержав этих терзаний, сдавалось. Вниз падали редкие, тяжелые, злые слезы. Проходило сколько-то долгих томительных минут, и начинался ливень. От гудящего обломного ливня захлебывалась земля.

И так изо дня в день повторялось одно и то же весь июль. Ходили слухи, что в соседней деревне Васильевке молнией убило пастуха, а в селе Русская Борковка дотла сгорела деревянная школа. Не обошло несчастье стороной и Старый Посад. Купаясь в Воложке как-то во время грозы, утонул баянист Мишка Бryндин — разудалая головушка.

В июле в местном курзале — старомодном, с башенками и галереями театре, построенном еще до революции для увеселения приезжающих пить кумыс легочных больных, разных там чиновников и купчиков,— гастролировал драматический театр Самарска. В антрактах, длившиеся чуть ли не по часу, играл оркестр, и любители танцев могли вдоволь кружиться в просторном фойе.

В репертуаре театра, как нарочно, почему-то были скучнейшие пьесы, и в курзал ходила главным образом молодежь. Покупали билеты на галерку и ждали с нетерпением антракта, чтобы шумной толпой устремиться в фойе, где к этому времени на хорах уже сидели рослые молодцы с начищенными трубами — оркестранты из пожарной команды.

Перед началом второго действия билетерши сами зазывали публику в полупустой партер: надо было поднимать у актеров настроение.

Обычно парни и девушки охотнее всего посещали четырехактные спектакли. И уходили из курзала счастливыми, чуть ли не одуревшими от головокружения.

Однажды тайком от родителей мы с Римкой наконец-то отважились отправиться в сводивший нас с ума курзал. Билеты на галерку купили мы заранее — дней за пять до спектакля. А чтобы не вызывать у чересчур бдительных мамаш каких-либо подозрений, облачились скромненько в ситцевые сарафанчики — в них мы обычно бегали купаться на Воложку.

Постой, постой! Зачем ты вдруг принялась ворошить в памяти все эти — кажущиеся такими далекими и ненужными — отроческие воспоминания?.. Да нет, пожалуй, не зря. Ведь там, в курзале, во время антракта, я увидела е г о. Потом целый год он был для меня, зеленой неоперившейся девчонки, кумиром, совершенством мужской красоты!

Уж после узнала я стороной кой-какие сведения о своем кумире: студент Ленинградской академии художеств, приехал к дяде — ветеринарному врачу — отдыхать и писать этюды. Между прочим, когда-то давным-давно даже великий Репин останавливался в наших Жигулях, где он делал наброски для своих знаменитых «Бурлаков».

Долговязый юноша в черной бархатной куртке, белоснежной сорочке и с холеной русой бородкой, видимо, еще при первом посещении курзала покорил сердца многих провинциальных девиц и своей внешностью, и безукоризненными манерами галантного кавалера.

В этот же вечер он пользовался у слабого пола чрезвычайным, я бы прибавила, обостренным вниманием. Лупоглазые дурешки без стыда и совести липли к заезжему красавцу, чуть ли не сами приглашая его на танцы.

Не знаю, что творилось в Римкиной душе, но в моей все так и перевернулось. Перевернулось в тот самый момент, когда я увидела в толпе молодого человека с бородкой. На какой-то миг мои глаза встретились с его, утопающими в дремотно-длинных ресницах. Но он тотчас отвернулся, даже не заметив меня, и, склонившись над заалевшим ушком своей партнерши, что-то зашептал с непринужденностью гранда. Я же все никак не могла — не могла, да и только! — отвести взгляда от его лица.

Смолк оркестр. К великой моей досаде, он смолк так внезапно, что я вначале растерялась. Опомнившись, я насильно потащила упирающуюся Римку в тот угол фойе, где остановился юноша с бородкой. Римка о чем-то спра-

шивала меня, а я не слышала. То же самое продолжалось и во втором и третьем антрактах.

Я корила себя, осыпала всяческими обидными словами, твердо решая не смотреть больше в сторону смазливого юноши, но воли моей хватало на минуту, от силы — на две. А потом я снова устремляла взгляд на моего «Люсю». Почему молодого человека окрестила «Люсей» — и сама не знала. Но только с этого вечера я его иначе не называла.

В конце последнего антракта, что-то за мной заподозрив, Римка прошипела зло:

— Ты... не рехнулась умом?.. На кого ты пялишь буркалы?

— Вот еще! — не сразу возразила я, страшно возмущенная поведением старых дев, назойливо вертевшихся возле моего Люси.

— Нет, ты определенно рехнулась! — снова зашипела Римка.— Ты... ты...

Вдруг вырвав свою потную руку из моей ледяной, подружка убежала в зал. Весь последний акт она демонстративно от меня отворачивалась.

Но вот кончился спектакль. Публика же, выйдя на крытую веранду, окружавшую курзал, долго еще не расходилась, ожидая, когда приутихнет разбушевавшийся ливень.

Во время странно продолжительных вспышек, когда все вокруг захлебывалось резким, до ломоты в глазах, светом, я ни разу не видела Люсю. Мне не терпелось обежать веранду, но я боялась потерять в толпе все еще дувшуюся на меня Римку.

А дождь хлестал и хлестал. Беснoвались молнии, неистовствовал гром. От иных, особенно устрашающих ударов, казалось, все мы вот-вот провалимся в преисподнюю — вместе с курзалом и стоявшими вблизи тополями.

— Ни дать ни взять — гибель Помпеи! — сказал вдруг кто-то непринужденно весело.

Я повела в сторону головой и не поверила глазам. К широким ступеням деревянного крыльца пробирался Люся. Бархатная куртка его была небрежно распахнута. Ни одна из старых дев, вертевшихся вокруг молодого человека во время длинных антрактов, не решилась пойти с ним рука об руку в кромешную ночь.

А мой Люся как ни в чем не бывало — от него все ша-

рахались, будто от прокаженного,—спокойненько вышел на открытую площадку под обрушившиеся на него тяжелые, холодные потоки и так же спокойненько, не спеша спустился на ядовито-зеленую от молний курчавую лужайку.

«Люся! Ой, Люся, что ты делаешь?» — завопила я про себя, леденея сердцем.

А в следующее мгновенье, точно лишившись рассудка, бросилась по скользким ступеням вслед за ним, уже поглощенным ревущей, как в штормующем океане, темнотой.

Пока неслась сломя голову по лужам вслед за своим Люсей, вся, вся до последней ниточки промокла. Но мне уж на все было наплевать. В жуткие эти минуты меня преследовала одна мысль: «Догнать! Во что бы то ни стало догнать Люсю!»

Наверное, я, полоумная, сшибла бы с ног моего Люсю, с разбегу налетев на него (глаза все еще не освоились с непроглядной тьмой, плескавшей в лицо пригоршни дождя), но тут, на мое счастье, парк внезапно весь вспыхнул дымно-голубым сиянием. А прямо пред моими глазами, в двух-трех шагах, выросло зловеще черное видение — не то человека, не то обуглившегося дерева.

Испуганно айкнув, я закрыла руками лицо, с ужасом думая, что вот-вот подкосятся ноги и я упаду, упаду замертво.

Но тут над моей головой раздался ободряюще-веселый голос:

— Кто... кто так занятно пищит?

И Люся осторожно взял меня за плечи. Я же доверчиво уткнулась лицом ему в грудь.

— Ты плачешь? Тебя обидели?

Превозмогая душившие меня рыдания, я сбивчиво прошептала:

— Нет... никто не обижал. Просто я... я с подружкой повздорила.

Люся засмеялся.

— Э, не велика беда! Помиритесь. А сейчас перестань лить слезы... и без них сплошная кругом мокрядь.

Он провел ладонью по моей голове. И взял под руку.

— Пойдем, козочка. Ты на какой улице живешь?

Как-то сразу обретя душевное равновесие, я всхлипывала все реже и реже. Теперь мне не страшны были ни

бесновавшаяся гроза, ни ливень, не смолкающий ни на минуту. С ним, моим Люсей, я не устрашилась бы и всемирного потопа!

Он снова спросил мой адрес. Я назвала улицу, и мы, выйдя из сквера, не спеша зашагали дальше. И прошли через весь город. Прошли как-то незаметно, потому что Люся всю дорогу весело болтал, стараясь меня рассмешить. Мне же было не до смеху. «Вот попадет тебе дома, беглянка, ох уж и попадет!» — думала я. Когда же в вышине рвалось на куски чугунно-гулкое небо и я вздрагивала, Люся теснее прижимал к себе мой локоть, как бы ободряя: «Не трусь! Со мной и море по колено!» И снова принимался рассказывать всякие забавные истории из жизни студентов — будущих живописцев.

Перед тем как свернуть на Садовую, нам надо было перейти неглубокую канаву, сейчас превратившуюся в бурную горную речушку. Недолго думая, Люся подхватил меня на руки и, чуть разбежавшись, с азартным гиканьем перемахнул через грязный булькающий поток.

— Тут мой дом,— нерадостно обронила я, когда поравнялись с палисадником, смутно белевшим новыми, не крашенными еще планками.

Остановились. Люся поднял мой подбородок, заглянул в глаза.

— Ну как, дереза?

Мне показалось, что вот сейчас, сию минуту, произойдет между нами... произойдет необыкновенное... такое, ради чего не жалко будет и умереть.

Да, я ошиблась. Люся поспешно убрал руку, словно чего-то испугавшись, и так же поспешно зашагал прочь.

И все-таки мне было хорошо. И я не сразу пришла в себя. А когда перевела остановившееся дыхание, Люся совсем растворился в сырой немотной темноте. Лишь тут я удивилась окружавшей меня гробовой тишине. Ливень, оказывается, уже перестал, а черная туча скатилась за Жигулевские горы. И отступала все дальше и дальше. Смутные, глохнувшие сполохи лишь изредка пробегали беззвучно по зубчатым вершинам гор.

В этой блаженной тишине визгливо охнувшая половица в сенях нашего дома напугала меня больше, чем ярившийся недавно гром. А потом гневно распахнулась дверь, и на крыльце кто-то появился — большой, серый,

— Зойка?.. Ты, негодница?— свистящим от негодования голосом прошипела мама.— Марш домой!

Будто на помост для казни, поднималась я по крутым ступеням на высокое крыльцо.

— Ах ты бесстыжая!— причитала плаксиво родительница.— Ах ты сопленосая! Да я тебя... да я с тобой...

Но я уже теперь ничего не боялась.

Неделю мать не выпускала со двора провинившуюся дочь. А меня и не тянуло на улицу, мне и видеть-то никого не хотелось. Все было противно, все было немило. И сама себе казалась я ничтожной пустышкой, ни на что большое в жизни не способной. Зачем я, такая провинциальная глупышка, нужна моему Люсе, быть может, в недалеком будущем знаменитому на весь мир художнику?

В конце огорода у нас стояла старая-престарая амбарушка с разной рухлядью: с рассохшимися бочатами, колченогим стулом, ржавой чугунной печуркой. А под полом находился погреб. Наверно, от погреба в амбарушке даже в самый знойный полдень всегда было отрадно, прохладно. Прохладно и полутемно. В крохотное продолговатое оконце у потолка, белесое от пыли, свет сочился так слабо, что затянутые паутиной углы амбарушки тонули в дегтярной вязкой мгле.

Тут-то вот я и валялась целыми днями на толстой войлочной кошме, расстеленной по некрашеному полу. Иногда здесь отдыхал отец, возвратясь с ночной рыбалки.

Постепенно глаза свыкались с царившим в амбарушке мягким зеленоватым полумраком (под оконцем росла бузина, да такая густолистая, что солнечные лучи застревали в ней, не пробивались в амбарушку). И тогда я видела не только сучковатый потолок, но и не нужный никому теперь дедушкин хомут, пылившийся в дальнем углу.

Я больше лежала на боку, лицом к стене, от нечего делать разглядывая причудливые иероглифы, оставленные на бревне жучком-точильщиком. И чем дольше вглядывалась в разные там закорючки, извилинки, крючочки, как бы оттиснутые на потемневшей от времени гладкой поверхности бревешек, они и в самом деле начинали казаться мне таинственными письменами, дошедшими до наших дней из тьмы веков.

Но вот у меня начинали слипаться веки, и я забывалась тревожным сном. И тогда мне виделся мой Люся. Он бе-

режно нес меня на руках через горный рокочущий поток. У меня от страха сжималось сердце: Люся в любую минуту мог сорваться в пропасть. И боялась я не за себя — за него боялась. Вода же в речке все прибывала и прибывала. Вначале она доходила Люсе до щиколоток, потом — до колен, наконец — до пояса. Берег был уже рядом, когда Люся, не выпуская меня из рук, вдруг начинал неистово, по-петушиному кукарекать, взмахивая пугающе-огромными алыми крыльями. Тут я просыпалась — вся в поту, дыша тяжело и прерывисто, будто поднималась по крутой тропке на вершину Молодецкого кургана в Жигулях.

За стеной и в самом деле кукарекал победно соседский петух. Он каждодневно появлялся у нас на огороде, копошась в огуречных грядках. Заметив красногрудого разбойника, мама бежала через весь двор, размахивая рьяно кухонной утиркой.

«Давай, давай, Петя!— подбадривала я мысленно петуха.— Клюй напропалую сочные пуплятки! Клюй, не теряйся, пока тебя хозяйка не погнала взашей!»

На четвертый или даже на пятый день этого монашеского затворничества мне как-то внезапно пришла в голову совершенно дикая мысль: а что, если мой Люся простудился в ту страшную грозовую ночь, когда мы с ним возвращались из курзала? Простудился и... и умер?

Кое-как натянув на себя измятый сарафанчик, я задами, через близлежащие дворы, прокралась на соседнюю улицу.

Брела по скрипучим деревянным тротуарам, затравленно озираясь по сторонам, ровно блуждала октябрьской ночью по незнакомому городу. Ведь я и знать-то не знала, на какой улице живет Люся, не знала и его имени и фамилии.

И тут — как бы из-под земли выросла — передо мной завиднелась Римка. Беззаботно размахивая клетчатой продуктовой сумкой, она шла не спеша, как бы прогуливаясь по волжской набережной.

Мне не хотелось встречаться в данный момент с подружкой, и я метнулась к узорчатой калиточке домика-терема известного на весь Старый Посад дяди Фрола — умельца на все руки, да уже было поздно.

— Зо-оенька! Здравствуй, Зо-оенька!— запела притор-

но-ласково Римка и понеслась вприпрыжку ко мне.— А я-то думала! Думала...

Хитрущие Римкины глазки — крохотные бусины — так и замаслились от ехидного умиления.

Я молча смотрела на подружку, ожидая от нее какого-нибудь каверзного подвоха. Риммочка на такие штучки была искусная мастерица!

— Сердце мое предчувствовало — убивается моя Зо-енька!— трубкой вытягивая тонкие губы, залепетала сладенько подружка. Девчонки в классе звали Римку за глаза кислогубой.— И как тут не переживать? Уехал вчерась бородатый красавчик к себе в Ленинград. Телеграммой его вызвали: папаша под машину попал.

Взяв себя в руки, я с видимым хладнокровием спросила:

— Какой красавчик? Какой папаша?.. Ты, Римма, что-то завираться начинаешь!

— Да полно тебе, Зо-оенька, скрытничать! Ты что думаешь: я слепая была, когда ты бросилась за ним сломя голову с курзального крыльца?.. Ни убийственной грозы не испугалась, ни жуткого ливня!

Мне захотелось размахнуться и ударить Римку по ее лисьей острой мордочке. Но я сдержалась. Не стала я и реветь. Обойдя Римку, стоявшую на дороге, я поплелась, спотыкаясь, домой.

Римка что-то кричала вслед, да я не оглянулась. Ни разу не оглянулась. Прокравшись на свой двор, юркнула снова в амбарушку, накинув на тяжелую дверь тяжелый крючок. А потом упала вниз лицом на кошму и долго-долго по-щенячьи всхлипывала, закусив зубами уголок подушки.

Говорят, что слезы облегчают душу. Верно ли это? Не знаю. Наплакавшись досыта, я заснула. Крепко-крепко заснула.

Очнулась под вечер. Над дверью была щель, и в нее струился веселый, озорной лучик, точно щедрой струей лился из медогонки молодой медок.

Не знаю, сколько времени пролежала бы я так бездумно, от всего отрешившись, если б в дверь не постучал пятилетний братишка.

— Жойка, а Жойка!— картаво шепелявил Сергунька, пытаясь отворить дверь.— Айда обедать. Мама жовет!

— Иди, Серенький. Сейчас приду,— как можно сердеч-

нее сказала я брату. И, не сдержавшись, вздохнула. Тяжело, всей грудью.

Потом села, поправила растрепанные космы. Тут-то мне и попался на глаза большой — угольником — осколок зеркала. Он с незапамятных времен торчал в пазу стены.

Приподнявшись порывисто, я схватила толстое стекло с водянисто-черной кляксой в нижнем углу. Поднесла к лицу. И в ту же минуту с испугом отшатнулась.

Я и до этого знала, что дурнушка. Жуткая дурнушка. Но вот сейчас... Неужели за эти три-четыре дня я так... так изменилась? Обезьяны, наверно, и то симпатичнее выглядят!

Зажмурилась. И стиснула зубы, чтобы не разреветься.

«Люся, мой ненаглядный Люся!— взмолилась я, немного придя в себя. Я все еще сидела на корточках, прижимая к груди холодное зеркальце.— Как хорошо, что ты уехал. Я теперь буду меньше терзаться. Тебя же я никогда, никогда не забуду. Но и видеть тебя не желаю больше. Ведь я тебе не пара. Тебя будут любить писаные красавицы, а я...»

И, отшвырнув в угол осколок зеркала, я сбросила с двери крючок. На дворовом крыльце стоял отец.

— Ну, ты чего? Особого приглашения ждешь?— проворчал он, как мне показалось, добродушно.— Мой руки — и за стол. А то рыба переварится... Мать нынче уху варила.

«Боже мой, ну зачем ты придумала себе эту пытку?» — возмутилась вдруг я, стремясь выкарабкаться из далеких воспоминаний, точно утопающая из суводи на быстряке. Во рту пересохло, мучила жажда. С трудом встала с кровати, подошла к столику. И залпом выпила стакан воды.

За окном стылое лунное безмолвие. Минуту, другую, третью стояла у окна, а там, на улице, в опаляющей жгучим морозом глухой светлой ночи — ни звука, ни скрипа. Сквозь мохнатые, заиндевелые ветки окоченевших деревьев в окошко заглядывала робко одна-разъединственная звездочка, как бы умоляя впустить ее погреться.

«Кругом тишина, покой, а у тебя в душе ревет буря,— сказала я себе, прислонясь лбом к оконному стеклу — обжигающе-ознобному. Закрыла глаза. И стало жалко себя — нестерпимо жалко.— Выпей, детка, таблетку снотвор-

ного и ложись в постель. Тебе надо просто-напросто выспаться. Хотя, кажись, и повода-то не было... бередить себе душу».

Но тут на меня вдруг сызнова нахлынули воспоминания, закружили, завертели.

После поспешного отъезда Люси я целый год не могла его позабыть. Часто видела в своих тревожных, запутанных снах, а когда, случалось, на меня наваливалась бессонница, я сочиняла в уме письма своему возлюбленному. Ну, что тут поделаешь: ведь это была моя первая любовь, первая и такая глупая, до смешного несерьезная. В своего Люсю влюбилась я с разбега, как в омут головой кинулась.

Я, дурешка, и знать тогда не знала и ведать не ведала, что настоящая моя любовь рядом ходит и частенько я с ней спорю, даже ругаюсь, потом мирюсь, а иной раз и подсмеиваюсь над ней.

Другими глазами я впервые посмотрела на него, на моего одноклассника Андрюшку Снежкова, длиннущего, несуразного мальчишку, осенью следующего года, когда мы пошли в девятый класс.

В сентябре... да, в конце сентября это случилось. Помню, как сейчас: день выдался ветреный, с поразительно странным небом — мутно-желтым, цвета серы.

У меня с утра побаливала голова, уроки еле высидела. А приплелась домой, мать хмурым взглядом будто рублем одарила:

— Переодевайся-ка в домашнее. На Воложку пойдем.

— Зачем?— рассеянно спросила я.

— Разуй гляделки: белья эвон сколько настирала!.. Полоскать надо.

На кухне, у порога, и правда стояли две корзинищи с бельем. И кажется, ничего обидного не было в маминых словах, просто она валилась с ног от усталости, но они меня в этот миг больно укололи.

Бросив на табурет портфель с учебниками, я схватила одну из корзин, самую большую, и вон из дома. Мама что-то прокричала мне вдогонку, но я даже не оглянулась.

Корзинища была страшно тяжела, точно в нее камней наложили. Я с ней просто замаялась, пока тащила до Воложки, то и дело переставляя с одного плеча на другое.

На крутояре, прежде чем спускаться к речке, постояла, отдыхая, у молодого веселого тополька, совсем будто не

ждущего близких холодов. Тут когда-то маяком возвышался над рекой могучий древний тополь. Но как-то в большое половодье разразился ураган, и взбесившиеся волны обрушились на песчаный, сыпучий крутояр, смыли в Воложку, ровно корова языком слизнула, не только старое дерево, но и две хибары, стоявшие у него под боком. От корней-то старика и пошел в рост молодой веселый тополек.

Здесь ветер задувал напористее, холодя приятно разгоряченное, в крапинах пота лицо.

По речке то и дело пробегала свинцовая рябь, словно кто-то наотмашь бросал в воду пригоршни крупной гальки, песчаные отмели льстиво лизали белые крутолобые барашки. Низко, совсем низко над неприветливой Воложкой носились бестолково быстрые, верткие «рыбачки».

«Кэ-эрр! Кэ-эрр!» — пронзительно кричали маленькие беспокойные чайки.

У сырой, буро-коричневой кромки песка стоял долговязый мальчишка и, подбирая из-под ног плоские кругляши, пускал по закипающей воде «блинчики».

Неожиданно резким порывом ветра у меня чуть не сдуло с головы косынку. И в тот же миг я увидела над обрывом белый носовой платок. Как-то странно кувыркаясь, он стремительно летел под откос. Заглянула вниз и тут лишь поняла — падала чайка, оглушенная ветром. А к ней бежал, увязая в песке, мальчишка, бросавший в воду камешки.

Я затаилась, присела возле тополька. Хотелось посмотреть: поймает мальчишка чайку? И не станет ли ее мучить?

Чайка упала под самым обрывом. Она попыталась взлететь, но не смогла. Тут ее и накрыл своими огромными ручищами долговязый мальчишка.

— Ну, егоза, ну, не шали,— сказал мальчишка странно добрым, чуть ворчливым голосом. (Никогда до этого не встречала я добрых мальчишек!) — Кому говорю,— продолжал долговязый, сидя на корточках.— Не воображай, пожалуйста... никто-то тебя не испугался. И есть тебя не собираются. А крыло вот у тебя того... повреждено. Придется домой тебя тащить. Поживешь на готовых харчах, поправишься...

К моему новому изумлению, чайка вдруг совсем присмирела. Ручная стала, да и только!

В это время мальчишка поднялся на ноги, и я обомлела. Предо мной стоял... Андрейка Снежков — ходячая каланча, мой одноклассник.

Андрей не заметил меня, чему я, ошарашенная, была рада. Поправив сбившуюся на глаза фуражку, он зашагал к тропинке, сбегавшей с кручи, бережно прижимая к груди «рыбачка».

Обойдя поспешно тополек, я встала спиной к тропе. Мне не хотелось сейчас встречаться со Снежковым. Андрей же, поднявшись на гору, свернул в противоположную сторону.

С этого дня я и стала присматриваться к Андрею — тихому, застенчивому парню. А потом...

Но... хватит! Хватит на сегодня! Я отошла от окна, разыскала в железной банке из-под вафель какие-то снотворные таблетки. Проглотила сразу две и — в постель...

В редакцию заявляюсь раньше всех. Это у меня вошло в привычку. Вначале я здорово «зашивалась», подолгу кумекая над каждым читательским письмом, над каждой заметкой. И мне волей-неволей надо было или вечерами задерживаться на работе, или приходить в редакцию чем свет. А уж потом я просто полюбила эти тихие ранние часы, когда не трещит над ухом допотопная машинка, не шлепает из комнаты в комнату крикливый Гога-Магога, переваливаясь с боку на бок, как разжиревший пингвин, не являются с просьбами и жалобами разные посетители, иногда нудно-надоедливые.

Нынче я тоже притопала ни свет ни заря. В коридоре и комнатах свежо пахло недавно вымытыми полами — цвета воска, с чуть подпущенным в охру суриком. В распахнутую форточку врывался сухой морозный воздух (ночью было минус тридцать пять!), а от голландки несло знойным жаром африканской пустыни.

Включив настольную лампу, я быстро разобрала почту — центральные газеты и журналы, лично Пал Палычу адресованные письма. А уж потом придвинула к себе всю остальную корреспонденцию. Вначале, как всегда, принялась готовить редактору папку с читательскими письмами.

Вот длинное путаное послание продавщицы из деревни Добывалово. Женщина сетовала на свою горькую жизнь:

муж давно бросил, а сынок, родная кровиночка, к пятнадцати годам совсем отбился от рук. Просит помочь устроить Роберта в колонию для несовершеннолетних. Это кровинку-то родную! Баловала, баловала парня, а теперь пусть другие воспитывают!

На уголке письма написала: «В районо». (По заведенному Пал Палычем обычаю я должна была на каждом письме делать пометку, куда следует его направлять. Он же, редактор, или утверждал мою «резолюцию», или надписывал свою.)

Заведующий клубом Ржавского лесопоселка рассказывал о прошедшем «шибко здорово» шефском концерте учащихся средней школы № 1 Богородска. Эту информацию я рекомендовала в номер.

Потертый, замусоленный пакет. Можно было предположить, что некоторое время его носили в кармане, прежде чем опустили в почтовый ящик. На обратной стороне конверта, наискосок, шла волнистая надпись: «Как по закону — привет почтальону».

Свинарка второго отделения Трошинского совхоза Пелагея Сидоровна Некрасова жаловалась на падеж молодняка.

«Криком душа кричит,— писала она,— но что мы, бабы, можем поделать, когда в помещении гуляют сквозняки, в разбитые окна ветер заносит снег, корма худые, да и те завозят, когда как придется? Случается, целыми сутками поросятки наши остаются голодными».

Письмо было обстоятельное. Видимо, Пелагея Сидоровна долго думала, прежде чем села за стол, взяла в негнущиеся пальцы химический карандаш. Волнуясь, она пропускала в иных словах буквы, что-то зачеркивала...

Глядя на неровные крупные строчки этого неспокойного письма свинарки Некрасовой, родившегося в душевных муках, я вдруг припомнила один недавний визит в редакцию. Припомнила, как несколько дней назад к нам пожаловал не старый еще, но уже огрузневший мужчина в модном новехоньком пальто с бобровым воротником и скрипучих, тоже новых бурках. Не снимая шапки и не здороваясь, он властно спросил, щуря узкие монгольские глаза:

— Редактор у себя?

И проследовал в кабинет Пал Палыча. Примерно через полчаса представительный этот мужчина не спеша, с до-

стойнством удалился. А вскоре из кабинета выглянул редактор и протянул Маргариткину, секретарю редакции, сколотую скрепкой стопку небрежно сложенных листов из большого блокнота.

— Поправьте статью Мокшина. Будем давать в очередной номер.

Гога-Магога подергал себя за красное оттопыренное ухо. (Корректорша Нюся говорит, нашего секретаря каждое утро дерет за уши жена, потому-то они у него вечно пунцовые.) Морщась, он проворчал:

— Мы... полмесяца назад мы целую полосу отвели трошкинцам. Не один же этот совхоз у нас в районе!

Топчась в дверях кабинета, Пал Палыч промямлил, не глядя на секретаря:

— Совхоз новое обязательство взял...

— Да они там старое не выполнили!— резанул Гога-Магога, перебивая редактора.

Пал Палыч болезненно поморщился. Вздохнул:

— Ничего не поделаешь: райком рекомендовал напечатать...

Рывком стащив с плоского носа очки, Маргариткин принялся яростно тереть белоснежным платком и без того чистые стекла. Расплывчатые, студенистые губы его кривились в презрительной усмешке.

Само собой разумеется, пространная статейка Мокшина была напечатана в «Прожекторе лесоруба». Кроме обязательства по повышению сбора зерна, расширению посевных площадей, увеличению поголовья скота, в статье говорилось и о намерении совхоза построить на центральной усадьбе новый клуб, детские ясли и несколько жилых домов со всеми удобствами.

Еще раз внимательно перечитала письмо свинарки. Что с ним делать? Я бы опубликовала его в газете. Но согласится ли на это наш робкий Пал Палыч? Оставлю письмо до Жени Комарова. Сегодня заместитель редактора должен выйти на работу. Посоветуюсь с ним.

Взялась было за новый конверт, да тут приоткрылась слегка дверь, и в неярко освещенную настольной лампой комнату просунулась большая голова в шапке-растопырке.

— Заходите,— кивнула я.

— А нам по личному вопросу... Тоже можно?— простуженным голосом спросила голова.

Не сдержавшись, я улыбнулась.

— Можно и по личному.

Тогда дверь растворилась пошире, и в этот прогал боком пролез плотный кургузый человек в синем ватнике, таких же стеганых брюках и растоптанных валенках — серых, с рыжими подпалинами на голенищах. За лямку, волоком, он втащил в комнату чем-то набитый рюкзак.

— Проходите,— снова кивнула я.—Вот стул— садитесь.

Озираясь недоверчиво, пришедший повертел головой туда-сюда, точно опасаясь, не бросится ли на него затаившаяся на книжном шкафу рысь или, на худой конец, злая собака, и лишь после этого приблизился к моему столу, оставив рюкзак у порога.

Большие настороженные глаза. Настороженные и скорбные. И как будто чуть-чуть заплаканные. Глянула я в эти пугающие девичьи колодцы — синь бездонная, грустная. Даже у самой душу охватила беспричинная тоска.

— Вас как звать?

— Ве... Верой,— ответила девушка и присела на стул. Из-за пазухи достала измятый листок, небрежно сложенный вдвое.

— Я тут написала,— смущенно морща переносицу, начала Вера, не выпуская из рук бумажку. Руки у нее крупные, мужские.— Да уж лучше я поначалу опишу словами... из-за чего все проистекло. Можно?

— Ну конечно.

Я приготовилась слушать, стараясь не глядеть на совестливую девушку.

— На Шутихе... три года оттяпала на Шутихе учетчицей,— сказала Вера, и сказала тяжело как-то, будто задыхаясь от жгучего ветра, наотмашь резанувшего в лицо.— Да только ли учетчицей? Наравне с этими верзилами парнями... рука об руку с ними нянчила частенько неприподъемные бревешки! И никогда не хныкала.— Помолчала, неспокойно глядя на занимавшийся за окном невесело жухло-сизый, с подтеками рассвет.— Разве я думала-гадала раньше... в свои незрелые семнадцать лет, что подамся в несусветную студеную глушь? С воронежских-то вольных просторов?— Опять помолчала.— Девчонкой я красива была. И горда. Парни табуном бегали. Помню, трепались: «Ох и локаторы у этой Верки! Глянет на тебя раз, а сердце испепелит на всю жизнь!» Я на них всё поверх голов

смотрела. Будто и не замечала. Пока один искуситель сам меня не приворожил. Так втюрилась... жизнь за него готова была отдать. А он... он добился своего — и был таков. Пришлось аборт делать. И бежать от позора куда глаза глядят.

Вера поискала в карманах ватника носовой платок. Не нашла. И вытерла глаза варежкой.

— Все твердят: «девичья гордость». Даже в газетах про то пишут. Вот я была гордой, а он наплевал мне в душу. Чего же мне оставалось делать? С чем ее, гордость, жевать?.. Занесла меня нелегкая сюда. Первое время держалась. Тоже отбоя не было от коблов. Один целых полгода увивался. «Оженимся,— пел,— семью заведем. Я хочу пацанят. Чтобы не меньше двух было. Душа в душу будем жить». Цыпонькой звал. Поверила, дура. А этот «семьянин» походил ко мне месяца два — и улизнул. Даже не простился. Тут уж я с горя... и пить стала, и... и доступной чуть ли не каждому столбу стала. Ко дну бы наверняка пошла, да случай один... заставил спохватиться. Не надоела я вам?

Я боялась раскрыть рот, чтобы не разреветься.

— Был у меня в последнее время хахаль. Ну, видно, поднадоела ему. И решил он вместо себя заместителя мне подсунуть — сосунка одного мокрогубого. Достали они спиртяги, напоили меня. А дело на вырубке случилось. В теплушке пили. Полез этот мокрогубый телок меня лапать... Разгневалась тут я и так двинула его по сопатке! Так двинула, что у него из носа потекло. «Отстаньте, говорю, от меня, кобели! Ненавижу вас! Чуму бы на вас азиатскую напустить». Только они оба озверели вконец, выволокли меня из теплушки, дотащили до бульдозера... на просеке бульдозер стоял, связали руки-ноги, в рот — портянку и в кабину бросили. А сами вернулись в теплушку спирт допивать. К утру бы я льдышкой бесчувственной стала, потому как ночью под сорок было. Да не пришлось подохнуть. На мое разнесчастное счастье, подвернулся с соседнего участка вздымщик. Он меня и спас от верной погибели. Тоже молодой парень. Только физиономия лица у него попорченная... ровно бы обгорелая. Это уж я поутру, когда в себя пришла, разглядела, какое у него лицо. Сказывал, народного артиста сын. Из Москвы. Да несчастье произошло в семье. Умерла мать, а отец вскорости

на другой женился. С приплодом взял жену — тоже артистку. А дочка у мачехи уж большая. Вот она возьми да и втюрься в этого белобрысого парня — сводного братца. Он же — никакого ей внимания. Тогда дочь артисточки и плеснула ему в лицо кислотой... После больницы парень вначале где-то на Волге робил, а потом сюда забросила его судьбина. Три дня жил он у нас в поселке — зубы лечил. Скромняга с чувствительными внутренностями. Захотелось мне этому парню — Дмитрием его зовут — какую-то приятность... душу согревающее что-то сделать. Купила я билеты в кино на вечерний сеанс и позвала его. Сначала и слушать не хотел. Краснеет себе, бирюком смотрит. «Пойду, говорит, когда сам захочу». Уговорила все же — я ведь тоже упрямая! Сидит во время сеанса рядом, рукой боится дотронуться. А я и принарядилась: у одной девахи шубку нейлоновую выклянчила на вечер, у другой — шляпу. Сидит себе истукан истуканом, в мою сторону даже не покосится. После сеанса все же проводил до женского общежития. «Зайдем? — говорю.— Чаю попьем. А ежели накатит — найдется что-нибудь и покрепче чаю». А он... а он... а он... никогда ни один парень так не обижал. Лучше бы этот чистоплюй блажной меня не спасал!

Вера порывисто встала. Опять вытерла варежкой слезы. Бледное лицо ее в этот миг было растерянное и жалкое.

— Извините. Зря я на него... Это у меня внутре все еще кипит, а душой... душой я понимаю. Потому-то и уезжаю отсюда.— Усмехнулась криво.— Когда-то была горячей, да вот застудилась в ваших пуржистых землях. Подамся куда-нибудь ближе к солнцу. Прощевайте!

И она чуть ли не бегом бросилась к двери, легко подхватив свой рюкзак.

А когда захлопнулась за девушкой дверь, я какое-то время не могла ни на чем сосредоточиться. На столе лежали не распечатанные письма, московские газеты, а мне ни до чего не хотелось дотрагиваться.

«Сейчас она доберется со своим тяжелым рюкзаком до автовокзала,— думала я, как бы шагая следом за этой Верой по сумрачным еще улицам городка.— Куда она решится податься? В Рюмкино, чтобы сесть на поезд и умчаться далеко-далеко... Скажем, в родные воронежские степи или еще дальше — на Украину? И какая жизнь ее ждет? Не оступится ли сызнова?»

Вздохнув, я пододвинула к себе первую попавшуюся под руки газету. Рассеянно полистала ее. А на четвертой полосе взгляд вдруг зацепился за крохотную заметку:

«ВСПОМНИЛ

Капитан торгового флота американец Кембл позвонил в часовую мастерскую фирмы «Саут-уэст инструмент» в Сан-Педро, штат Калифорния. Он интересовался своими часами, которые оставил там для ремонта. На вопрос о том, когда он оставлял часы, последовал ответ: «В 1927 году». После поисков часы нашлись в сейфе компании. Часы ходят».

Внезапно я встала и прошлась по комнате — от стола до двери и обратно. И тут заметила под стулом, на котором сидела девушка, скрученный в тугую трубочку листик бумаги.

Размашисто, химическим карандашом на листке было написано:

«В редакцию газеты «Прожектор лесоруба». Прошу редакцию пропечатать мое обращение:

Девчонки! Те, которые хотят любить. Будьте всегда неприступными, если даже иные из вас некрасивы! Пусть эти парни не задирают свои носы, пусть не думают, что мы без них пропадем!

Вера Осипкова».

И хотя нынче не было газеты, а наша троица засиделась в редакции чуть ли не до полуночи. Я имею в виду Нюсю Стекольникову, Комарова и себя.

Нюся — как всегда — организовала чай с хрустящими бараночками, осыпанными маком, а Комаров, только-только вернувшийся из отпуска, угостил московскими шоколадными конфетами.

Для меня же самым интересным в этот вечер был его, Жени, рассказ о родном Ярославле — древнем русском городе с многовековой историей. Каждый свой отпуск — на какой бы месяц он ни приходился — Комаров проводил на родине. Краше Ярославля для него нет города на свете.

О Ярославском кремле, о монастырях, соборах, многочисленных церквушечках, дошедших до наших дней из седой старины, он мог увлеченно говорить часами.

И не удивительна эта любовь Комарова к искусству древней Руси — сколько-то лет, не помню сколько, он учился в Москве в Суриковском художественном институте, но потом бросил учебу, уехал в провинцию и стал журналистом. Как-то дотошная Нюся спросила Комарова, когда он однажды мельком упомянул о Суриковском: «Что вас заставило, Евгений Михайлович, оставить институт?» Игриво хихикнув, она добавила: «Уж не роковая ли любовь?»

Смутившись до крайности, Женя взъерошил обеими руками и без того лохматые жесткие волосы. черными сосульками нависавшие на тугой крахмальный ворот белой сорочки, и проговорил негромко, терпеливо-вежливо:

— Случается, Нюся, такое с человеком... не всегда, возможно, но порой случается... когда наступает прозрение. Так и со мной... Вдруг я понял: нет у меня таланта.— Помолчав, он еще тише — с горечью — добавил:— Правда, иные «счастливцы» умеют и без таланта обходиться: заканчивают университеты, консерватории, иные даже становятся учеными. И всю жизнь малюют холсты, поют козлетоном, заведуют кафедрами. Сказал же как-то Леонид Леонов об «ученых» такого сорта: тихо высидят диплом, потом сытно кормятся, накапливают денежки на дачу, автомобиль. У меня был друг... друг детства. Химик. После института женился на сокурснице. Уехали на Север — там платят отлично и один год за два засчитывают. Через десять лет, став кандидатами наук, вернулись в Москву — жена москвичка была,— купили кооперативную квартиру, роскошную дачу, «Волгу». Книг ни у того, ни у другого нет. Да и зачем книги? И без этих кандидатов тоннами издают наукоподобный хлам другие. Живут же они, мои бывшие друзья, припеваючи. И угрызения совести не испытывают.— Комаров вновь помолчал, морщась брезгливо.— Мог бы, конечно, и я закончить Суриковский. Возможно, считали бы способным живописцем, не лишенным даже... дарования. Да я не захотел играть со своей совестью в кошки-мышки. Ну и...

— Вы же на себя наговариваете! — с наигранным жаром воскликнула Нюся, явно желая польстить заместителю редактора.— Вы так... так толково разбираетесь в искусст-

ве. А рисунки ваши? Я же видела, когда приходила вас навестить по осени. Помните, вы болели тогда?

Евгений Михайлович отмахнулся:

— А, бросьте. Не надо!

Вот и сегодня, расправляясь активно с шоколадом, Нюся надумала пошутить над Комаровым. Заглянула пытливо в глаза Жене, дувшему на стакан с горячим чаем, который он переставлял с одной ладони на другую, и вкрадчиво молвила:

— Ты, Зоенька, заметила?.. Наш Евгений Михайлович что-то за время отпуска катастрофически похудел. Уж не зазноба ли его иссушила... эдакая стандартно-модная Ярославна двадцатого века? А?

Наш Комаров покраснел до черноты, покраснел чуть ли не до слез. Собрался было что-то сказать, да поперхнулся чаем и чуть не пролил себе на брюки весь стакан.

Нюся озорновато погрозила заместителю редактора пальчиком:

— В точку... в точку попала!

— Не совсем в точку, а...— Женя метнул глазами в сторону Стекольниковой, потом поставил стакан. И мгновенье-другое как бы мешкал, прикидывая: стоит ли раскрывать душу? И с какой-то лихорадочной поспешностью полез в грудной карман пиджака.

— Посмотрите... занятно, верно?

И глаза его обожгли меня своей кипящей чернотой. На узкой же ладони с длинными нервными пальцами коробилось несколько хрустких фотографий.

На первом снимке изображен барельеф страшно хищного и в то же время празднично нарядного льва. Такого фантастического льва с невиданной гривой, когтями в пол-лапы не сыщешь днем с огнем ни в одном учебнике анатомии! На втором снимке красовалась женственно-пышногрудая жар-птица в обрамлении тяжелых гроздей рябины и легких заморских лиан. А вот человек-конь с натянутым луком в руках. Между прочим, у этого русского кентавра задорно заломлена набекрень войлочная шляпа посадского человека далекого прошлого.

Нюся не дала мне досмотреть все фотографии — вырвала из рук.

— Эти снимки с многоцветных керамических плиток,— пояснил Комаров, потупясь.— Они сделаны по мотивам

керамистов семнадцатого века. Эдакими нарядными изразцами были украшены во многих ярославских храмах панели галерей, порталы, парапеты... Такая, скажу вам, праздничная красочность, такое узорочье.

Женя опять остановил на мне свой взгляд.

— В реставрационной мастерской города работает один смышленый керамист. Парень по уши влюблен в свое дело. У него-то в мастерской и проторчал я недели своего отпуска. А мастерская у Гохи — холодный кирпичный сарай за городом. Когда же он разожжет горн для обжига плиток — ревмя наревешься от дыма. Но я доволен. Расчудесные образцы изготовили мы с ним за это время! Ну, правда, разве не загляденье?

— И что вас заставило торчать в этой коптилке?— Нюся вернула мне фотографии.

— Как — что? — удивился Комаров.— Да пустите в массовое производство эти плиточки — их с руками оторвут туристы! Они так здорово смотрятся, когда повесишь на стену. Ведь это же захватывающая книга... удивительная глиняная книга о наших далеких предках! О нашем Отечестве! Фу-ты... понесло же меня... в риторику.

— Ну и отлично... этот ваш Гоха будет иметь славу, доход от своих плиточек, а вы? — попивая спокойно чай, продолжала наставительно Нюся.— А вы что от этого будете иметь, Евгений свет Михайлович?

— А я...— Отрочески белозубая улыбка сверкнула на смуглом лице Жени.— А я... радоваться буду! И вам с Зоей первым подарю ярославские шедевры!

— Тогда все ясно.— Нюся звонко рассмеялась.— Только когда нам ждать от вас подарки? Лет через сто?

— Не-ет, чуточку пораньше.— Теперь засмеялся и Комаров.

— Вас проводить? — спросил Комаров, пока мы поджидали у крыльца Нюсю, запиравшую редакционную дверь. Эта дверь, обитая черным дерматином, тяжелая, пухлая, напоминала спинку старомодного дивана.

— Спасибо,— ответила я, чуть помешкав.— Люблю ходить одна.— И, еще помолчав, добавила: — Вы лучше Нюсю проводите... она у нас страшная трусиха.

Насмешливо хмыкнув (или мне только показалось?), Евгений Михайлович покачал головой:

— Не думаю. Стекольникова не из робкого десятка. К тому же ее рыцарь уже тут как тут.

Я оглянулась. И правда: от райкома неспешно вышагивал плечистый коротыш в медвежьей дохе. Казалось, муж Нюси, Владислав Юрьевич, с пеленок такой: солидный, представительный, малоречивый. И улыбается не чаще одного раза в год.

Он и сейчас, подойдя к нам, не произнес ни слова, лишь слегка дотронулся рукой до мохнатой шапки.

— Ба-а, мой! — Нюся, справившись с замком, легко, вприскочку, сбежала с массивного крыльца на снег.— А я-то собиралась предложить Зое погадать... кому достанется в провожатые Евгений Михайлович.— Она засмеялась.— Хвать, тебя нелегкая принесла... ох уж эти сверхзаботливые муженьки!

Владислав Юрьевич удивленно вскинул на жену глаза. С серьезной значительностью изрек:

— Значит, лотерея отменяется?

Я поспешно попрощалась:

— Спокойной ночи. Евгению Михайловичу с вами по пути.

И, боясь, как бы меня не окликнули, заспешила на противоположную сторону улицы.

Вот я всегда, глупая, такая: колючая, нелюдимая, мнительная. Мнительная до умопомрачения! Если люди ко мне внимательны, предупредительны, то я бог знает что начинаю думать: и внимательность-то их не искренняя, сострадательная... Дурнушек ведь всегда жалеют. И т. д. и т. п.

К чему мне было сейчас обижать Комарова? Не из предосудительных же побуждений собирался он провожать меня? Не помышлял он, конечно, и о так называемой благотворительности, что ли. Я-то знала Евгения Михайловича: никогда этот человек не был притворщиком и лгуном.

Горело лицо, всю меня бросало то в жар, то в озноб. Нагнувшись, я зачерпнула с гребня сугроба пригоршню тяжелого снега, чтобы приложить его к щекам, и тут только заметила: посерел, отволг снег. И под ногами он уже не скрипел певуче, как утром.

Небо тоже было серое, жухлое. Жухлое и угрюмое, без единой звездочки. Глянула на крутую крышу дома, мимо которого шла, а она вся стеклянными штыками ощетинилась.

«Ой, а ведь нынче первое февраля! — ахнула про себя.— Помню, еще дедушка Игнатий говаривал: «Он, батюшко-то февраль, бокогрей. То водичку подпустит, то морозцем сопельки подберет. Балуется перед веснушкой!»

Поднесла к лицу снег, а он как-то по-особенному пахнет... вроде бы подснежниками.

И тут я вздрогнула. Подснежники! Первые весенние цветы, первые и самые желанные. Никогда мне — ни раньше, ни позже — никто не подносил таких радостно-лиловых, хрупких до звонкости колокольцев, как в тот далекий год, в год окончания десятилетки. Что верно, то верно: все тут истинная правда.

Это произошло в конце марта: я возвращалась поздно из школы после комсомольского собрания. Брела, печально опустив голову, не замечая ни прохожих, ни сиреневых луж... В большую переменку, язвительно ухмыляясь, Борька Липкович объявил всему классу (имея в виду, конечно, главным образом меня): «Па-азвольте, други, об Андрее Каланче новостишку сообщить. Отбыли Снежковы из Старого Посада... извиняюсь, отбыли при таинственных обстоятельствах в направлении туманно-неизвестном!» Закончив свой неудачный, как всегда, витиеватый каламбур, Борька покосился в мою сторону.

После девятого Андрей Снежков поступил в школу электросварщиков при конторе Гидростроя, и я его видела редко, видела мельком. В то лето он как-то сразу до неузнаваемости повзрослел. И от неуклюжего сутулого подростка и в помине ничего не осталось. Появились у Андрея и новые черты в характере: чрезмерная замкнутость и задумчивость.

По весне трагически погиб электросварщик Гидростроя Глеб Петрович Терехов — расчудеснейший человек, квартирант Снежковых. И они оба — и Андрей и его мать — долго не могли прийти в себя от горя: любили Глеба Петровича, как родного.

И вдруг через год после смерти Терехова новость: уехали из Старого Посада Снежковы. Уехал Андрей, уехал

мальчишка, которому я первая назначила свидание, уехал, даже не попрощавшись. И какой мальчишка! Прошло с тех пор более семи лет, а я вот не могу, не могу, да и все тут, забыть своего Андрея...

Вечером того самого дня, когда препротивный Борька Липкович с злорадством объявил об отъезде Снежковых из Старого Посада, меня и подкараулил неподалеку от дома Максим Брусянцев. Он, Максимка, еще раньше Андрея, своего друга, оставил школу — мой родитель помог ему устроиться и на работу, и на курсы электромонтеров. Максим тогда остался единственным кормильцем больной матери — в конце зимы от них ушел отец.

Вот Максимка-то и напугал меня, внезапно заступив дорогу, представ эдаким галантным кавалером. А в руках у него трепетно дрожал, распространяя вокруг запах талого снега и смолкой хвои, букетище подснежников.

— Зойк, тебе! — выдохнул горячо и смущенно Максим.

— Ты слышал: Снежковы уехали,— придя в себя от испуга, накинулась я на Максима.— Это верно? Или очередной треп Борьки Липковича?

Клоня книзу голову, Максим почему-то шепотом обронил:

— Да... уехали. К сестре матери... куда-то под Ульяновск. Там тоже начинается большая стройка.

И Максим, невесело и рассеянно глянув на подснежники, замялся, не зная, что ему теперь с ними делать.

Все еще потрясенная отъездом Андрея, я почти бессознательно взяла из рук Брусянцева цветы, даже не посмотрев на них. Хотела еще о чем-то спросить замирающего от робости Максима, да не успела — он неожиданно сорвался с места и опрометью убежал.

Те-то подснежники Максима я и вспомнила сейчас, поднося к лицу пригоршню отволглого снега, пахнувшего на меня далекой весной.

Застенчивый, тихий Максимка, может, даже и любил тогда меня, а вот Андрей, к которому я так тянулась, тянулась, как слабая былинка к солнцу, ни капельки не имел ко мне никаких чувств. Не потому ли со временем и очерствела я душой? Или я наговариваю на себя лишнего?

Я стряхнула с варежки липкий снег и прибавила шаг.

У ворот дома Ксении Филипповны меня поджидала дочь соседки — востроглазая Лизурка.

С этой востроглазой, шустрой Лизуркой — так ее звали и мать, и все соседи вокруг — у меня было шапочное знакомство.

К моей хозяйке Лизурка почему-то никогда не заходила. Лишь изредка на улице встречала я молодую женщину, так похожую на резвую восьмиклассницу. Лизурка постоянно куда-то спешила.

— С добреньким вечером вас! — пропоет на ходу, сияя глазищами, и уж нет ее.

В воскресные дни, случалось, подойду к окошку, а Лизурка носится прытко по дороге, запрягшись в легкие саночки. А в саночках королевичем восседает, закутанный по самую курносую пуговку, ее сынище.

Видела как-то: на повороте санки опрокинулись и малыш плюхнулся в сугроб. Другая бы мамаша до смерти перепугалась и с причитаниями бросилась бы поднимать дитятку. Лизурка же, глядя на барахтавшегося в снегу сына, беспечно расхохоталась, махая руками.

Вот эта самая неунывающая Лизурка и метнулась ко мне навстречу, едва я поравнялась с калиткой:

— Беда-то какая! На вашу хозяйку беда-то какая свалилась... говорить даже страшно!

У меня клещами сдавило сердце.

— Беда... у Ксении Филипповны? Какая же?

— Ой, и не говорите! — Хлюпая носом, Лизурка схватилась руками за голову.— Сына у нее... младшого... убили.

Я не поверила своим ушам:

— Лиза, ну что это вы...

— В последний будто раз перед концом службы в дозор пошел Антон... И нате вам — диверсанты сунулись через границу.— Лизурка опять всхлипнула.— Письмо от командира заставы пришло. Героем Антошу называет.

Я кинулась было к калитке, но Лизурка схватила меня за руку.

— Ни-ни! К ней теперь никак нельзя. Вроде полоумной сделалась тетка Оксинья. Мама моя с ней. А вы пойдемте к нам. А то у меня Афоня один.

Плелась за Лизуркой, то и дело спотыкаясь. Не слышала я, что она и тараторила скороговоркой, нет-нет да всхлипывая, эта шустрая, обычно такая веселая маленькая мама, похожая на школьницу.

Я начала писать эти свои заметки о Лизурке, поджидавшей меня у калитки дома Ксении Филипповны, лишь спустя дня четыре после случившегося. Нацарапала страничку и бросила... Снова берусь за свою объемистую тетрадь через две недели.

За это время Комаров, Гога-Магога и я подготовили и тиснули в «Прожекторе лесоруба» целую полосу, полосу о нашем земляке Антоне Шустове, погибшем в неравной схватке. На странице были опубликованы и письмо командира заставы, на которой служил сержант Шустов, и заметка мастера ремонтной мастерской, куда пришел после восьмилетки будущий воин, и фотография Ксении Филипповны. Молодые ребята, собиравшиеся весной в армию, обещались быть верными сынами Родины, такими же отважными и мужественными, как их земляк Антон Шустов.

Между прочим, в редакцию до сих пор поступает много писем-откликов на эту нашу подборку о земляке-герое. Похвалила нашу полосу и областная газета.

Но вот сейчас мне снова хочется вернуться к той глухой тревожной полночи, когда соседская Лизурка пригласила меня к себе в дом.

Не слушая мои заверения: «Сыта, ничего не хочу», молодая хозяйка разогрела самовар, достала из печки не остывший еще лапшевник, нарезала сала. •

— Кушайте на здоровьечко, сало-то свое, не покупное: Борьку по осени закололи... восемь пудиков, шельмец, вытянул!

За поздним ужином, чуть успокоившись, Лизурка и рассказала о себе, о своей трудной любви.

После техникума она была направлена в Пермь на машиностроительный завод. На заводе ее сразу же зачислили на должность инженера по технике безопасности. Как потом узнала Лизурка, на эту безответственную, по мнению начальства, должность назначали всегда новичков.

В конце первого месяца работы Лизурка и познакомилась с будущим своим мужем, познакомилась при неприятных обстоятельствах — после одного несчастного случая в инструментальном цехе.

Она, Лизурка, до смерти перепугалась, когда ее срочно вызвали на участок.

— Беги, девка, там, кажись, хлопца пришибло! — ска-

зала рассыльная, сказала странно-равнодушно, торопясь куда-то еще.

И лишь в цехе чуть отлегло от сердца: не убит токарь, жив. Ранен в голову. В медпункте перевязали и домой отправили.

Вгорячах Лизурка собралась было остановить участок до тех пор, пока не поставят ограждение. Но на нее с угрозами обрушился начальник цеха: «Вы с ума спятили? У меня и так горит план!» И Лизурка перепугалась пуще прежнего. А когда составляла акт, прибежал профорг, и тоже с нареканиями: «Без премий хотите оставить рабочий класс? Спасибо за это вам никто не скажет!»

«Что же мне делать?» — взмолилась заплаканная девчонка. Профорг, тертый калач, почесал за ухом и с ленцой в голосе, как бы оказывал превеликое одолжение, посоветовал: «Сходили бы к этому Всеволоду. Парень он покладистый, может, и откажется от больничного. А нам больше ничего и не надо».

Покумекала, покумекала разнесчастная Лизурка и отправилась в поселок разыскивать какого-то Всеволода, совсем незнакомого ей человека.

Когда же увидела пострадавшего с забинтованной головой, смирно лежавшего на койке, снова разревелась.

Смущенный и растерянный, не зная, как ее утешить, бровастый этот парень выпростал из-под одеяла большую свою пятерню и потянул Лизурку за рукав, приглашая присесть.

— Ну, ну... экая же вы чувствительная.— Глуховатый, срывающийся на полушепот голос выдавал его сильное волнение.— Ну, успокойтесь. Сами видите: ничего со мной погибельного не произошло. Так, чуть по башке задело.

Не сразу Лизурка заметила, что ее рука лежит в шероховатой Всеволодовой — такой умиротворенно-надежной. Робко, но в то же время и настойчиво Лизурка попробовала освободить руку из ласковой руки токаря.

— Говорю вам по совести: ни беса мне не больно! Ну, разве что вначале, когда болванкой звездануло... А сейчас нормально,— горячо заверил парень Лизурку, с неохотой выпуская ее руку.— Я же и от бюллетня отказался. Так что ни акта, ничего не надо: морока одна!

А сам все не спускал с пришедшей своих цепких, вприщур, завораживающих глаз.

Была Лизурка у Всеволода дома и на другой день, и на третий. До этого девушка никого не любила, как огня боялась ухажеров. И вдруг нате вам! Скоро и Всеволод, и Лизурка души друг в друге не чаяли.

— Не помыслите, пожалуйста, будто я, растаяв от любви, и про работу свою тогда забыла,— сказала внезапно Лизурка, перебивая сама себя.— Нет, не тут-то было. Я тогда же, по горячим следам, разработала план первоочередных мероприятий по технике безопасности. Кое-что Всеволод подсказал, потом со старыми производственниками советовалась... Месяца через четыре после знакомства отправились мы с Всеволодом в загс, так в это время в инструментальном уже были поставлены надежные ограждения. Ну, а потом и ряд других работ удалось провернуть по заводу. Так в счастье и согласии прожили мы с мужем три с лишнем года. Любил он меня, любил и Афоню. Да только я простить не могла мужу одного попрека. Ушел Всеволод в ночную смену, я наскоро собрала чемодан, подхватила сына и — на поезд. Теперь вот второй год у мамы живу, кладовщицей на складе работаю.

— Чем же вас обидел муж, что вы решились на такую крутую с ним расправу? — спросила я, пораженная смелостью и решительностью этой хрупкой, слабой с виду женщины.

А она, Лизурка, смутно и жалостливо улыбаясь, водила по узору клеенки пальчиком и молчала. Долго молчала.

— Возможно, я тогда и лишку хватила... погорячилась сверх меры,— проговорила она наконец-то в задумчивости.— Вышло так, что одному новичку палец оторвало. Ну и Всеволод прилетел домой и давай орать: «К Сурковикову не бежишь, как ко мне тогда?.. Все ведь знают, каким манером ты со мной конфликт уладила!» Вот... вот чего он мне ляпнул. Потому и уехала: не могла незаслуженную обиду простить мужу. А парень же тот, Сурковиков, ни по моей, ни по чьей другой... только по своей вине без пальца остался... А вы, Зоя Витальевна, так лапшевничек-то наш и не попробовали?

— Спасибо,— отмахнулась я.— Но как же вы дальше, Лиза, собираетесь жить?.. Ведь сыну отец нужен!

Лизурка подняла от стола глаза, и бледное до того лицо ее все так и озарилось.

— Не зря говорят: кому горе, а кому радость. Тетке Оксинье... вон какую жуткую весть письмо доставило, а мне мое — неожиданное воспарение духа. Разыскал-таки нас с Афоней Всеволод! Пишет: прости, прости, прости! И приехать разрешение вымаливает.

— Письмо нынче получили?

— Да. От соседки почтальонша сразу же к нам заскочила. Не хотите ли взглянуть, как почивает мой Афоня?.. Да и нам с вами пора укладываться.

На цыпочках мы прошли в жарко натопленную комнатку, слабо освещенную ночником с оранжевым абажурцем.

На деревянной, огороженной сеткой кроватке сладко спал, сбросив к ногам одеяло и простынку, большеголовый бутуз.

— Весь, как картинка, в отца: и ушки, и бровки, и нос горбылем,— шептала ласково Лизурка, заботливо укрывая сына.— Вот уж обомлеет от радости мой Афоня, когда прискачет отец, вот уж обомлеет!

В простенке между окном и диваном, украшенным ручной вышивкой, я вдруг увидела икону. На меня смотрел испытующе внимательно и в то же время как бы с улыбкой, простодушно-доброй, всепрощающей, необыкновенно лобастый дед с курчавой апостольской бородой. И еще... и еще столько было в этом взгляде народной, чистосердечной мудрости, что я как бы растерялась и не сразу отвела глаза от иконы — охристо-темной, с сияющим тускло, точно из дали веков, золотым нимбом.

— Вы... верующая? — спросила я, запинаясь, Лизурку. Она вся так и вспыхнула.

— Ну, что вы... я комсомолка! В этой комнатухе до прошлого года бабушка жила... после нее образ остался. Помню, говорила старая, будто чудотворная она, эта икона. Из какого-то раскольничьего скита Никола-чудотворец.

— Ваш Никола на моего дедушку похож,— вдруг проговорила я, проговорила даже для себя неожиданно. И это была правда: вот таким или почти таким, как этот мудрый Никола старинного письма, запомнился мне, девятилетней, дед Игнатий, мамин отец — удивительной доброты человек, заядлый сказочник и побасенщик.

Лизурка постелила мне в горенке на кровати, сама же легла в комнате под боком у сына.

Уснула я сразу, едва коснулась головой пуховой подушки. И хотя легли мы невероятно поздно, но в семь утра — по привычке — я уже была на ногах. Одевшись, вышла на кухню.

У Лизурки топилась печь, а сама она раскатывала тесто. На сундуке сидел, перебирая игрушки, Афоня — серьезный и сосредоточенный не по годам малыш.

— И рано встали? — спросила я молодую хозяйку.

— Рано! — кивнула она и зубами подтянула к локтю опустившийся рукав бумазейковой кофты.— Я и к соседке успела слетать.

— Ну и как там Ксения Филипповна?

— Мама сказала: под утро уснула. А до того всю ночь вопила... Все порывалась туда... к Антоше своему. Садитесь, я вам чайку свежего заварила.

Когда же я собралась уходить в редакцию, Лизурка, к тому времени отмывшая от муки приятно полноватые свои руки, сунула мне под мышку какой-то плоский сверток.

— Это вам,— шепнула она мне на ухо.— Пусть этот Никола... дедушку вашего вам напоминает.

— Да что вы такое выдумываете? — заупрямилась я.— Узнает ваша матушка... да и вообще...

— Мама у меня не шибко верующая. К тому же у нее свои иконы есть. Берите, берите! Вместо портрета дедушки он у вас будет — Никола Чудотворный.

Я не смогла отвертеться от Лизуркиного подарка — такого неожиданного для меня. А по дороге в редакцию даже и обрадовалась ему в каком-то роде. У нас дома не было ни одной фотографии дедушки Игнатия, даже самой маленькой. А сейчас вот гляну на этот образ и представлю себе деда. Я его так любила!

Я теперь не без робости и замешательства возвращаюсь домой. Я стала побаиваться своей квартирной хозяйки. Моментами на нее как бы находит. (Лизуркина мать, кроткое, безобидное создание, сказала про Ксению Филипповну с трогательной снисходительностью: «На нее и сетовать-то нельзя: разумом, старая, от горя тронулась».)

Забежала этими днями в обеденный перерыв за деньжатами,— Алла, наборщица типографии, уступила мне шерстяную кофточку, присланную ей из Перми,— а Ксения Филипповна суетится у печки. Не в меру веселая, разнаряженная как на праздник. Увидела меня, руками всплеснула молодо:

— Зоя Витальевна! Бог-то тебя принес! А у меня радость светозарная: Антошу с часу на час жду!

Я так и оторопела. И не знала, что делать — уносить ли ноги вон из дому или сделать вид, будто ничего странного не заметила за своей хозяйкой.

Сказала, отводя в сторону взгляд:

— Я на минутку, Ксения Филипповна... рабочий день еще не кончился.

— Все небось пишешь? Ох уж вы мне писучий народец! — Старуха отерла краем передника руки.— Ну, ну, торопыга! Уж после работы не мешкай. Милости прошу на угощение.

Не помню, как я слетала к себе в светелку, как опрометью выбежала на улицу.

А вечером, прежде чем идти домой, зашла за Лизуркой.

— Проводите меня, пожалуйста. Боязливо что-то идти одной,— призналась я.

Сговорчивая Лизурка будто только и ждала моего приглашения.

— Это мы мигом. Мам, пригляди за Афоней.

Она замотала голову черным, с пунцовыми розами полушалком и так налегке — в домашнем платьице — отправилась «сопровождать» меня.

Большой кухонный стол у Ксении Филипповны был заставлен тарелками с кусками пышных, подрумяненных пирогов, домашними кренделями и ватрушками, вазочками с вареньем.

— А вот и мы, тетечка Окся!— от порога запела смелая Лизурка.— С добреньким вечером вас!

Ксения Филипповна не удивилась незваной гостье. Поклонилась — низко, церемонно. Изрекла:

— Почто без матери? Беги-ка за ней. И своего стригунка прихвати. Ноне двадцатый денек... помянем по христианскому обычаю новопредставленного раба Антона.

И весь вечер была со всеми ласкова, предупредитель-

на. Лишь однажды немного всплакнула, показывая Лизурке фотографию сына.

Как-то в другой раз я застала хозяйку у раскрытого сундука, обитого железом. Она раскладывала вокруг себя на стульях какие-то вещи, белье и сама с собой разговаривала:

— Эту рубашечку Антоша, сокол мой ненаглядный, и надевал-то всего раз... перед самым отъездом на службу. В клуб на танцы ходил.

Заслышав скрип двери, оглянулась, кивнула мне:

— А-а, это ты, касатка. Разбираю Антошино добро. Кое-что Валетке пошлю — может, когда и вспомнит меньшого брата, а другую которую одежку людям раздам.

Показала мне белую матроску с блекло-синим выгоревшим воротником и короткие штаники с аккуратной заплаткой.

— Когда Антоше седьмой пошел... тогда я ему справила костюмчик. Цельными днями, бывало, в моряки играл.

Вздохнув, прибавила слезливо, прижимая к груди детские эти вещички, трогательные своей теперешней ненужностью:

— Себе оставлю. Как живой перед глазами стоит: шустрый, проказливый вьюн. В матросском костюмчике он, отрок, мне ноне днем пригрезился. Прилегла на сундук — голова чтой-то закруговертилась... прилегла на сундук... Ну, толечко-толечко прилегла, а он, Антоша, из кухни и вбегает в горницу. «Маманя,— кричит,— вот и я!» Глянула, и верно: как есть мой Антоша... в отроческом своем безвинном возрасте. Резвый, щеки розанами горят и весь-то здоровьем сияющий. Возрадовалась я, протянула руку, чтобы по головке стриженой сыночка погладить, а уж от слез ничего не вижу. А он, Антоша, сызнова возглашает: «Ну, почто, маманя, ты плачешь? Ты лучше на меня в последний раз погляди. Думаешь, хотелось мне, такому молодому, жизни борения и услады еще не изведывавшему, голову свою сложить?» Приподнялась тут я, вытерла глаза кулаком, а предо мной уж не отрок, а вьюноша... тот Антоша, что на карточке солдатской: в полной военной амуниции, словно бы в сраженье идти собрался. Заголосила отчаянно: «Антоша, кровинка моя!» — и на шею сыну вознамереваюсь броситься, а он отстранился, вырвал

с силой руку свою из моей. И так жутко-непреклонно изрек: «Тебе не положено меня касаться. Но не тужи, не печалься, маменька, скоро мы свидимся». И... и пропал.

Протягивая в мою сторону руку, Ксения Филипповна добавила:

— Вот как вырывался, касатка, даже синяк на руке у меня образовался.

Морщинистое запястье старухи с набухшими венами обхватывала браслетом пунцово-кубовая полоса.

Вздрогнув, я прислонилась к косяку двери. Хотела в волнении спросить Ксению Филипповну: не обожгла ли она кипятком руку, да вовремя сообразила — сейчас ни о чем не надо с ней говорить... Чуть успокоившись, я робко пролепетала:

— Не буду мешать вам... Пойду к себе наверх.

Хозяйка не ответила. Она, видимо, уже забыла про меня, бережно, с любовью разглаживая на коленях форсистый сыновний шарф — алый шелк с черными витушками.

Спустя еще несколько дней, за чаем, Ксения Филипповна вдруг встревоженно проговорила, вперив в меня провалившиеся глубоко, совиные глаза:

— А тебе, Зоя Витальевна, тоже ведь письмецо было. Да не помню, куда я его дела.

— Письмо? — переспросила я. Мне редко писали, обычно лишь из дома от мамы я получала скудные весточки (родители все еще дулись на меня за эту опрометчивую, по их мнению, поездку в несусветную глушь, когда была возможность остаться в Самарске).— Сегодня было письмо?

Хозяйка покачала головой.

— Не-ет, что ты. В то еще утро было... да я в горе-то своем несказанном совсем запамятовала, куда его задевала.

И Ксения Филипповна приумолкла, тугим узелком стянув губы.

За последние эти недели хозяйку как бы подменили. Словно бы и та, прежняя, предо мной была Ксения Филипповна, и в то же время не та — другая, осунувшаяся, совсем «хизнувшая» (по ее же собственному определе-

нию). На низком, бугристом лбу четче обозначались морщины — кровавые запекшиеся ссадины, вокруг глаз круги, словно черные печати, испепелились и тонкие рыбьи губы.

— Мозга за мозгу зашла... Не припомню, да и на тебе! — снова засокрушалась хозяйка, очнувшись от своих невеселых дум. Помолчав, добавила: — Уж шибко не гневайся. Авось в другорядь и просветление наступит... Не должно бесследно сгинуть письмо. Наутро все углы и закоулки обыщу.

Пропавшее письмо она вручила мне через день.

— Еле отыскала. И ума не приложу: к чему я его в подпечек сунула... в корчагу с яичками?

Быстро глянув на помятый конверт, я закусила нижнюю губу. Письмо было от Максима Брусянцева. Он, только он, Максим, так аккуратно выводил буковку за буковкой, точно нанизывал на нитку наливные горошинки. А я-то думала!..

Поблагодарив хозяйку, я проворно поднялась в светелку. Мне не терпелось поскорее прочесть Максимово послание. Авось... авось в нем есть хоть одна строчечка и об Андрее? Моем Андрее?

Наш Пал Палыч лишь вчера вернулся из Перми с областного совещания редакторов районных газет, а уж нынче с утра учинил сотрудникам разнос.

Первого на «исповедь» вызвал Маргариткина. Из своей комнаты я видела приготовления секретаря к встрече с редактором. Вначале Гога-Магога тщательно взбил расческой жиденький хохолок на макушке, затем сунул на слегка вдавленную вишневую переносицу съехавшие к тупому кончику носа очки. На все три пуговицы был застегнут пиджак. А подхватив со стола пухлую папку с длинными черными тесемками, похожими на шнурки от ботинок, Маргариткин осторожно приоткрыл дверь редакторского кабинета и спросил бодрым, петушиным голоском:

— Можно?

Недолгим было свидание секретаря с Пал Палычем. Он выскочил из кабинета как из парной — запыхавшийся, растрепанный, ожесточенно размахивая запотевшими оч-

ками. А немного отдышавшись, Гога-Магога заковылял на мою половину, переваливаясь с боку на бок.

— Просят! — мрачно буркнул он, глядя рассеянно в окно.— Теперь за тебя примется.— Повертел в руках купленный мной недавно сборник рассказов Сергея Воронина.— Ну, хоть было бы за что, черт подери! — продолжал шипуче секретарь.— А то весь сыр-бор зачадил из-за этого фигляра... очковтирателя Мокшина! Зачем, видите ли, мы авторитет крупного хозяйственника подрываем!

— Как... подрываем? — опешила я.

— А вот так: печатаем компрометирующие передового директора совхоза письма!

— Выходит, наш Пал Палыч против правдивого письма свинарки Некрасовой?

Маргариткин только махнул рукой:

— Ступай, кайся!

Хочешь не хочешь, а идти надо. Редактор даже головы не поднял от подшивки газет, когда я вошла в комнату. Молчал, тяжело супясь. А сивые усищи его потешно так топорщились.

Решила и я молчать. Остановилась у стола и жду грома.

Минуту спустя под Пал Палычем прокряхтел постариковски стул. А чуть погодя и сам он заскрипел, все еще не поднимая от стола головы — гладкой, поблескивающей льдисто в жарком луче мартовского солнца:

— Что же это вы... кхм... Зоя Витальевна? Не кто-нибудь, а вы... кхм, кхм... вы персонально в ответе за входящие и выходящие жалобы. И тем более за те, что публикуются в газете.

Меня всю так и перекорежило. Сдерживая себя, я лишь пожала плечами:

— Не понимаю что-то. Конкретно: о чем речь? В чем моя промашка?

Тут редактор укоризненно вскинул на меня серые, водянисто-серые, тусклые глаза.

— Не притворяйтесь! Отлично знаете, о чем речь! Маргариткин, огурцы соленые, наверняка уж растрезвонил, за что мне в райкоме... кхм, кхм... зачем меня в райком вызывали!.. Какую-то неделю не был в редакции, и — нате вам! — натворили!

— Вы имеете в виду письмо свинарки...

— Вот, вот... именно это пись-ме-цо!

— По совету Комарова — вы были в отъезде — я позвонила в совхоз нашему рабкору Висулькину и просила проверить. Через день Висулькин сообщил: «Я только что вернулся с свинофермы второго отделения. Положение на ферме из рук вон. Все факты, приведенные в письме Некрасовой, подтвердились». О разговоре с Висулькиным я доложила Комарову. Ну и Евгений Михайлович...

Редактор перебил меня брюзгливо:

— С Комаровым в райкоме особый разговор будет! А вот вы... вы и без Комарова знаете, что Трошинский совхоз — передовой в районе совхоз. Совхоз, который взял на себя повышенные обязательства!

— Ну и что же? — как можно наивнее спросила я, хотя уж давно готова была взорваться.

— Как это — и что же? — Поперхнувшись, Пал Палыч закашлялся. У него, у бедняги, даже слезы на глазах выступили... Вдруг он устало выдохнул: — Идите!

Вскоре Пал Палыч куда-то незаметно удалился, никому ничего не сказав. А под вечер в райком вызвали Комарова.

Надевая пальто, Евгений Михайлович шутливо проговорил:

— Благословите меня, други. Отправляюсь на суд праведный.

Кончился рабочий день, а Комаров все еще не заявлялся в редакцию. Мы с Гогой-Магогой решили подождать возвращения из райкома заместителя редактора. За это время Маргариткин издымил с десяток сигарет.

К нашему радостному изумлению, Евгений Михайлович прибежал в бодром, приподнятом настроении.

— Меня дожидались? — улыбнулся Комаров, вытирая носовым платком высокий лоб. И снова белым месяцем сверкнула на его смуглом лице улыбка.

— Стружку с вас, по всей видимости, не снимали? — У повеселевшего Маргариткина замаслилось одутловатое лицо.— А мы тут и носы было повесили.

— С какой же это стати? — задорно спросил Комаров. И заходил по узкой «приемной», стиснутой с одной стороны кабинетом редактора, а с другой — нашей с Нюсей комнатой. Здесь наискосок к окну царственно возвышался стол

секретаря — громоздкое черное чудовище, прозванное в редакции катафалком.— Стружку с меня собирался снимать Стекольников,— наконец заговорил Евгений Михайлович.— Кстати, а где его драгоценная половина? Что?.. А-а, ребенок прихворнул... Так вот: Владислав Юрьевич собирался снимать стружку, да мне повезло. Лишь принялся Стекольников толкать речугу о важном значении советской печати и т. д. и т. п., как в его обитель вдруг вошел первый секретарь Костенко. Поздоровался со мной за руку и спрашивает с хитрущей эдакой ухмылкой: «За что вас распекает мой агитпроп?» Доложил я вкратце Костенко суть дела. Выслушал с интересом нашумевшую историю о повышенных обязательствах Трошинского совхоза. Сообщил я и о своей недавней поездке в Трошино... Не выполнили, сказал, ранее взятых обязательств и — бац! — поспешили раструбить о новых — явно невыполнимых. К справедливой же критике руководство совхоза относится нетерпимо. Ну, когда я кончил, Костенко спрашивает Стекольникова: «А что вы на это скажете?» Владислав Юрьевич развел руками: «Я здесь ни при чем. Второй секретарь дал указание напечатать в газете статью Мокшина. Было также рекомендовано всячески... э-э... поддерживать почин совхоза, всесторонне освещать успехи». Тут первый секретарь насмешливой репликой прервал заведующего отделом пропаганды: «Освещать успехи, которых нема?» Владислава Юрьевича даже пот прошиб. Прощаясь со мной, Костенко пообещал: «Я сам разберусь с Трошинским совхозом». Вот, други любезные, и весь инцидент.

Мы с Маргариткиным воспрянули духом. Громко переговариваясь, стали собираться по домам. Но не успела я еще снять с вешалки шубу, как в редакцию пожаловал поздний посетитель.

Этот приземистый, рукастый человек в шубняке нараспашку, не спеша подойдя к двери «приемной», так же не спеша обнажил по-юношески курчавую, но с проседью голову и уж после этого с достоинством пробасил:

— Доброго здоровья вам! Прошу прощенья: в неурочное время беспокойство причиняю.

Глядя в красно-бурое, скуластое лицо вошедшего с поразительно молодо синеющими глазами, я только собралась ответить: «Проходите», но меня опередил Комаров. Он зачем-то убегал в свою крохотную каморку, располо-

женную у самого прохода в типографию, и вот, возвращаясь по коридору обратно, весело зачастил:

— Здравствуйте, здравствуйте!

Остановившийся в дверях посетитель посторонился, пропуская заместителя редактора, а тот, неожиданно взмахнув руками, обнял гостя за крутые плечи:

— Какими судьбами к нам, Илларион Касьяныч?.. Да вы проходите, проходите!

Глянув на Евгения Михайловича чуть суженными глазами, гость посветлел лицом.

— А я вас попервоначалу... не сразу признал, товарищ...

— Комаров,— подсказал заместитель редактора.

— Точно — Комаров,— еще более расплываясь в улыбке, гудел здоровяк Илларион Касьяныч.— Спасибо вам: не погнушались, заглянули в нашу забытую и богом и дьяволом берлогу, когда на той неделе на участок пожаловали... Ну, здравствуйте еще раз!

И он протянул Евгению Михайловичу клешневатую, натруженную руку в черных точках, словно бы утыканную дробинами.

Обращаясь к нам с Гогой-Магогой, Комаров сказал:

— Знакомьтесь: знатный передовик вздымщик химлесхоза Салмин Илларион Касьянович!

— Надо ж... такое прославленье,— сконфузился гость.— Смотрите, я и сбежать могу.

Но Комаров, посмеиваясь, подтолкнул Салмина вперед, приглашая проходить в большую — нашу с Нюсей — комнату. Поравнявшись со мной, Евгений Михайлович шепнул: «Организуем чаек, а?»

Кивнув утвердительно, я помчалась в коридор, где в закутке, за перегородкой, стояли на тумбочке электроплитка и чайник, а в самой тумбочке находились запасы сахара, сушек и чай в железной экзотической баночке с тиграми, слонами, львами и обезьянками.

Когда же заявилась в комнату с бурлящим чайником, Евгений Михайлович и гость до того оживленно беседовали, что не сразу меня и заметили. (Маргариткин давным-давно смотался домой: ему надо было писать в завтрашний номер статью о работе комсомольских организаций района.)

— Он-то — горячий стрепет, душа винтом,— и взбулгачил бригаду, и сорганизовал эту петицию,— говорил Сал-

мин, разминая между пальцами папиросу.— А тут нарочный с участка: езжай, мол, Салма, в Богородск, прибыль у тебя в семейных кадрах объявилась! Раненько я и в путь тронулся. И Дмитрий этот самый прямо-таки силком приневолил меня взять сию грамоту. Сам, слышь, и забежишь в редакцию, потому как другому кому не доверю наше письмо. Вот я и пожаловал к вам, товарищ Комаров, в непригожем виде жалобщика. Сам я, к слову, не терплю разные там кляузы.

Евгений Михайлович спросил:

— Выходит, вас надо поздравлять? С сыном, с дочерью?

Раскуривая папиросу, гость, как мне показалось, нарочно постарался скрыться в облаке едучего дыма.

— С сыном,— прогудел он.— У меня одни сыны плодятся. Пятый по счету.

— Ого! — Заместитель редактора, никогда не куривший ранее, вдруг потянулся к лежавшей на краю стола помятой пачке «Беломора».— Так вам, Илларион Касьяныч, не двухкомнатную, а трехкомнатную квартиру надо!

— Где уж там... от этой-то, нареченной, и то поворот дали!

Я подала чай. Сказала Салмину:

— Поздравляю вас! Какое же имя дали новорожденному?

— Кузьмой будет. В честь деда.

Гостю мой чай понравился. Он выпил подряд три стакана. И все рассказывал и рассказывал с воодушевлением о своем подручном Дмитрии, толковом, работящем малом, книголюбе, фантазере.

— Завяжите узелок,— заметил Комаров, кивая мне. И с силой потушил папиросу в пепельнице.— Почему бы молодого человека не завербовать в наши корреспонденты? Как его фамилия, Илларион Касьяныч?

— А у него и фамилия душевная... по его нраву! — улыбнулся Салмин. И назвал фамилию своего помощника.— Промежду прочим, вы в корень смотрите, товарищ Комаров. Мой Дмитрий запросто может писать вам в газету. Писучий он у нас: нет-нет да в час роздыха чтой-то себе в блокнотину и писанет. В другой раз целый вечер не выпускает из рук самописку. Верно, славный бес, хотя за вожжу приходится порой придерживать.

Меня внезапно осенила догадка: уж не этот ли парень спас от неминуемой смерти несчастную деваху с Шутихи? Ведь ее спасителя, кажется, тоже Дмитрием звали? Я спросила:

— У вашего подопечного нет какого-нибудь... дефекта на лице?

Илларион Касьяныч посмотрел на меня суженными глазами, точно так же, как он глядел на Комарова в самом начале своего появления в редакции.

— Есть изъян, милая девушка. По этой причине наш Дмитрий и забрался в глушь лесную. Из-за изъяна его личности, должно быть, и того... и дерзок, и неуживчив порой бывает.— Помолчав, Салмин добавил, потрогав себя за острый кадык: — Лицо у Димы... попорчено, это верно.

Когда мы проводили гостя, Евгений Михайлович некоторое время потолшился у стола, читая и перечитывая оставленный Салминым документ. Потом сказал:

— Пять лет обещало руководство химлесхоза рабочему квартиру. Наконец летом заверили: «Отстраиваем дом. За тобой двухкомнатная на третьем этаже». А на днях при заселении нового дома Иллариону Касьяновичу кукиш показали. Обещанную ему квартиру отдали Тамарову. Новоиспеченному председателю рабочкома — радетелю интересов рабочего класса.

Побарабанив по крышке стола пальцами, Комаров покосился в мою сторону:

— Что же теперь остается делать передовику производства Салмину с многодетной семьей? Как вы думаете? Ждать еще несколько годков... другого дома? Ведь он уж попривык за пять лет к своему бараку, не так ли?

— А мы... право, не знаю, как нам ему помочь,— растерянно пролепетала я.

Наверно, по-детски наивно, если не глупо, прозвучали мои слова, потому что заместитель редактора неожиданно рассмеялся — зычно, взахлеб.

Но сразу же посерьезнев, Комаров запустил в густущие, жесткие свои волосы обе пятерни, взъерошил их. И решительно заявил:

— Пока я с собой возьму эту бумагу. Завтра позвоню директору лесхоза. Ну, а потом... утро вечера мудренее! Так ведь говаривали наши предки, Зоя Витальевна? А?

Я не успела ответить, как Евгений Михайлович, глянув на часы, заторопился:

— Без трех десять. Лечу в свою келью. Мне в десять должны звонить из Ярославля.

И убежал. А я стала собираться домой.

Около полумесяца назад получила я письмо от Брусянцева. И это неожиданное посланьице незадачливого Максима все еще волнует, будоражит мою душу. Читаю и перечитываю его чуть ли не каждый вечер.

Вот и нынче... Вернувшись домой, напоила чаем Ксению Филипповну, поставила ей на затылок горчичник (у хозяйки повышенное давление) — и к себе в светелку. И сама не помню, как очутился в нетерпеливых моих руках ядовито-желтый конверт с мордастой улыбчивой каменщицей на фоне многоэтажного дома-башни.

Кажется, все-то все заурядно и обыденно было в письме прямодушного Маскима. Правда, кого удивит в век счетно-вычислительных машин, сверхзвуковых лайнеров, дерзновенных полетов чудо-спутников к загадочной Венере историйка о легкомысленно-ветреном папаше? Этот папаша бросил когда-то семью, за темные делишки побывал энное количество лет за решеткой, а теперь вдруг востребовал через суд алименты с сына! Ну, разве так уж редки в жизни подобные историйки? А строчки из письма Максима о Римме, закадычной моей подружке школьных лет, расставшейся с мужем-выпивохой и вновь свившей — уютное на этот раз — гнездышко в купе, с удачливым бессемейным вдовцом из райконторы «Плодоовощ»? Мало ли на свете сходятся и расходятся?

Повздыхала, читая о нашей любимой учительнице, классном руководителе девятого «Б» Елене Михайловне. «Недавно встретил ее на улице и еле узнал,— писал словоохотливо Максим.— Подурнела, постарела наша Елена Михайловна. А помнишь, Зойка, до чего же обворожительно-симпатичной была наша географичка! Сколько вокруг нее увивалось ухажеров! Один химик Юрочка прямотаки не давал проходу (между прочим, этот Юрочка высоко взлетел — преподает сейчас в Самарском пединституте)».

Я тоже помню уморительно-потешного очкарика Юроч-

ку, частенько поджидавшего у школьных осокорей Елену Михайловну. И вот — нате вам — одинокая, постаревшая... Все с тем же объемистым портфелем, битком набитым ребячьими тетрадками, каждое раннее утро отправляется в школу наша, и уж не наша теперь, Елена Михайловна. Максим писал и о том, что полгода назад вместе с другими учителями района Елена Михайловна была награждена орденом. Жаль, что я узнала об этом поздно, а то поздравила бы любимую учительницу телеграммой.

В конце письма Максим горевал о кончине матери-страдалицы... Более десяти лет она была прикована к постели, мать многотерпеливого Максима. И он, заботливый сын, окружил ее вниманием и лаской, хотя порой и вздохнуть некогда было: работа, учеба, домашние дела.

«Теперь я остался один. Прихожу в свою комнату и не с кем словом обмолвиться, не о ком позаботиться... ведь я так привык за эти годы оберегать мать как малое дитя! Все чаще и чаще думаю: а не махнуть ли мне куда-нибудь на край света? Чтобы забыть и свое горе, и всякие свои разочарования? Наверно, я зажился в Старом Посаде. Сейчас город наш чуть ли не перещеголял областной Самарск и многоэтажными домами, и гранитной набережной, и ультрасовременным кинотеатром, и чистотой асфальтированных улиц. И все же я охотно бы снялся с якоря... помани кто-то, замаячь на горизонте улыбчивая звездочка».

Максиму я тоже посочувствовала в душе, как уже не раз до этого, перечитывая письмо, а потом, торопливо перевернув листок, заглянула в конец, где он скороговоркой (какая жалость!) писал об Андрее Снежкове. Андрей работал под Саратовом на Балаковской ГЭС. Уже года четыре, оказывается, он женат. Читала равнодушно-скупые эти строчки — так мне думалось — и не верила: нескладный Андрюха, ходячая каланча, и... глава семейства! Боже ты мой! Обзавелся женой, дочерью. Глянуть бы хоть со стороны на это счастливое семейство!

Между прочим, тоже скороговоркой, точно запыхавшись, ничего не забывающий Максим сообщил, что дружок даже фотокарточку ему прислал, с которой надменно-равнодушно взирает на мир земной привлекательная брюнетка с модной прической, круглолицая девчурка с полуоткрытым от удивления ртом и большеносый улыбающийся глава рода Снежковых Андрей!

Заметила: у меня дрожат руки. Неужели... неужели я дико завидую чужому счастью? И до сих пор не могу спокойно думать об этом — сейчас таком далеком мне — человеке? О человеке, для которого я совсем не существую? Но — теперь всё! Никаких надежд. И мне надо... если уж не возненавидеть его лютой ненавистью, то хотя бы забыть. Забыть навсегда!

Сжимая кулаки, твердо решаю — не прикасаться больше к этому письму. Ни-ни! Даже под ножом! А Максиму Брусянцеву, выцыганившему у матери мой адрес, как-нибудь отпишу. А может, и нет. Ничего заранее не знаю.

Сунула письмо в толстенный том одного удачливого современного литератора, заброшенный мной из-за немыслимой скучищи, и принялась разбирать постель. Пора, пора уж и на боковую: перевалило за двенадцать.

Но мне не спалось. Ворочалась с боку на бок, зачем-то прикрывала ухо малюсенькой подушечкой, хотя и так все вокруг заполняла тишина — пугающе-жуткая. Даже крепко-крепко смеживала веки, надеясь так скорее заснуть. Ничего не помогало. В голову лезла всякая всячина-перевсячина. Например, хотелось узнать, растут ли на острове Пасхи арбузы. А потом припомнилась к чему-то любимая мной когда-то песенка:

Называют меня некрасивою,
Так зачем же он ходит за мной
И в осеннюю пору дождливую
Провожает с работы домой?

Кажется, я тянула ее себе под нос и в тот ветреный мартовский вечер, когда поджидала в пустом, таинственно-темном классе Андрея, чтобы вручить ему письма Борьки Липковича.

А зачем, зачем я собиралась тогда отдать Снежкову те гнусно-льстивые, таящие в себе трусливую угрозу писульки мелкого пакостника? Да, зачем?

Откинув с уха горячую подушечку, я улеглась на спину, вытянув во всю длину кровати ноги. И посмотрела в потолок. Иногда я подолгу разглядываю дощатый потолок светелки. Это случается обычно в выходные, если появляется желание полежать с книгой. Тогда-то темные, цвета дубовой коры, сучки на потолке начинают казаться или ликами святых, или головами животных и птиц. Но сейчас в

комнате было так сумрачно, что и потолок-то еле угадывался в вышине.

Ах, да, вспомнила: как-то я пригласила Андрюху в кино, а он в ответ проворчал сердито... будто я, гоняясь за Борькой, дошла до того, что сама пишу ему любовные записочки. Вот-вот. Потому-то я и попросила в тот вечер Снежкова подняться на третий этаж после комсомольского собрания.

Теперь в моей цепкой памяти все всплыло до мельчайших подробностей. Я стояла в гулком классе у окна, поджидая Андрея. От нечего делать смотрела на мглистые, в дымке, Жигули, где тогда начиналась большая стройка, и негромко пела:

И куда ни пойду, обязательно
Повстречаю его на пути,
Он в глаза мне посмотрит внимательно,
Скажет: «Лучше тебя не найти».

В этот-то миг и вошел в класс Андрей, да так осторожно, как бы крадучись, что я не сразу услышала старческое оханье прикрываемой им двери.

В те годы необыкновенно популярной была эта песенка о некрасивой девахе, за которой тем не менее навязчивой тенью волочился эдакий стеснительный малый, заботливо прикрывавший своим пиджаком в дождь или ветер плечи непривлекательной с виду возлюбленной.

Сейчас почему-то забыли, решительно забыли сентиментально-грустный гимн не теряющих надежды на любовь дурнушек. Или перевелись на свете некрасивые девчонки? Вряд ли. Просто они, дурнушки, вроде меня, потеряли всякую веру... Ведь и без них столько красивых!

Но разве они, смазливые, все счастливы? Возьмем нашу Елену Михайловну. Я, бывало, с завистью засматривалась на учительницу географии. Да и не одна я — все девчонки класса, положительно все, были в нее влюблены. А вот не повезло же, видно, Елене Михайловне в личной жизни. И красота оказалась ни при чем... Выходит, кроме красоты надо что-то еще иметь за душой?

Приподнявшись, я включила лампу под абажуром, стоящую у меня в головах на тумбочке, и взяла книгу Сергея Воронина. В этом сборнике меня особенно как-то задел за живое великолепный, на мой, конечно, взгляд, рассказ...

Вот он, этот рассказ с таким замысловатым названием: «Зимовка у подножия Чигирикандры».

В рассказе всего-навсего восемь небольших страничек, а по глубине человеческих чувств, знанию жизни он не уступает иному пухлому роману. Честное комсомольское — без преувеличений!

Безлюдная тайга. Зимовка у большой сопки с отвесными склонами — Чигирикандры. Трескучие морозы. Тяжелая, полная лишений жизнь изыскателей. Среди геологов была и она, Шура,— высокая, нескладная, с мужским крупным носом девушка. В ту счастливую для Шуры зиму ей исполнилось двадцать шесть. Как мне сейчас. И ее никто не любил. Добавлю опять же — как и меня.

Однажды поздним вечером на зимовку забрел Василий — тоже изыскатель, но из другого отряда. Попросился переночевать. Шура не отказала. Даже накормила мало разговорчивого парня. А потом... потом он спросил:

«— Ты бы, наверно, уже спала, если бы я не пришел?

— Наверно.

— Так ложись.

Она задула свечу и стала раздеваться».

Немного погодя Василий опять спросил:

«— А я где лягу?

Она ничего не ответила. И тогда, сбросив одежду, он пошел к ней».

Невозможно пересказать этот рассказ. Я пыталась представить себя на месте Шуры, пыталась уж не один раз, и не могла.

«Несколько позднее, чуть ли не враждебно, он спросил ее:

— Чего ж ты не сказала, что у тебя никого не было?

— Никого не было,— тихо ответила она.

— Теперь это я и без тебя знаю,— раздражаясь все больше, сказал он.

— А почему ты сердишься?

Он не ответил.

— А я знала, что так у нас будет,— сказала она, и в голосе ее слышалась улыбка».

К весне все изыскания были закончены. И Василию думалось: теперь-то самое время порвать эту связь. Но так случилось, что и Василий и Шура возвращались домой в одном поезде. Она, умница, все понимая, не мешала ему

играть в преферанс, читать. В Ленинграде, на вокзале, они расстались. Как чужие. Почти как чужие. Шура вместо того, чтобы заплакать, рассмеялась, крепко пожимая бесчувственную руку Василия.

И, казалось, всё. Автору можно ставить точку. Кто возразит, что такие истории в жизни не бывают? Но дома затосковал Василий. Ни товарищи, ни рестораны не могли заглушить какой-то большой внутренней пустоты. И, вдруг вспомнив, что у него случайно остался адрес Шуры, Василий мчится к ней на Литейный. (Ни разу не была в Ленинграде, интересно, красив этот Литейный? Наверно, красив. В Ленинграде, по-моему, все улицы и проспекты красивы.)

«Он легко отыскал ее дом. Ее квартиру. И позвонил. Дверь тут же открылась, будто его ждали. В дверях стояла она и смеялась.

— Ты чего смеешься?— спросил он.

— А я знала, что ты придешь.

— Это почему же еще?— как всегда злясь на ее смех, грубо спросил он.

— Да потому, что я люблю тебя!

И это прозвучало как Чигирикандра!»

Не успела закрыть книгу, а на страничку — кап, кап. Упали, одна за другой, две слезинки. Ох уж эти мне слезы! Но сейчас они появились не от горя, нет, нет. Легкие, светлые они были: я радовалась от всей души за неизвестную мне Шуру, цельную, смелую девушку, большая, сильная любовь которой, преодолев все преграды, победила!

Так, с мокрыми ресницами, не успев даже выключить свет, я куда-то ухнулась. Ухнулась с приятно щемящим замиранием сердца. И всю ночь проспала каменным сном.

Утром, по дороге в редакцию, забежала на почту. И, недолго думая, отправила Максиму в Старый Посад такую телеграмму: «Получила письмо спасибо Пришли фото Андрея Зоя».

Чудилось: это безликое серенькое утро не предвещает ничего хорошего. Но денек повеселел, разгулялся, и разгулялся на диво яро.

В обеденный перерыв, когда мы с Комаровым отправились перекусить в кафе через дорогу, наш Богородск, осъявленный нестерпимо горячим солнцем, думалось, весь поплыл. Стекольникова с нами не пошла в кафе, и я не жалела. Почему-то в последнее время у меня к ней душа не лежит.

С крыш дружно капало. Золотые, полновесные бусины дырявили снег — мелкий, зернистый, словно бы сквозь сито просеянный. А вся середина улицы превратилась в озеро расплавленной бирюзы.

— Да-а, потоп!— смеялся Евгений Михайлович, помогая мне перебраться через лужу.— Сюда, сюда ставьте ногу... Не бойтесь, кочка надежная.

— А у меня голова закружилась,— призналась я, с облегчением ступая на деревянный тротуар.— Глянула вниз... и почудилось — бездонная глубина подо мной!

— Бывает,— кивнул сговорчиво Комаров.

У кафе, в палисаднике, стояла радостно розовеющая березка. У самого комля стройного деревца уже образовалась лунка: снег кольцом стаял до самой земли, и она, земля, курилась на солнце легким парком.

— Леший баню затопил,— заметил Евгений Михайлович, окинув взглядом березку.— Бабушка, бывало, все так говорила... Сокодвижение началось.— И тотчас, без перехода, добавил: — А не закатиться ли нам, Зоя Витальевна, в «Журавушку»? А? Признаюсь, мне до чертиков надоела эта забегаловка!

— Выдумали!— испугалась я.— За час мы не успеем пообедать, да и... к чему? В рестораны как будто по праздникам ходят.

— А у нас сегодня как раз праздник: Герасим-грачевник,— упорствовал Комаров, обнажая в улыбке нестерпимо белые свои зубы.— Грач с утра зиму расклевал, потому и мокрядь несусветная. А во-вторых... во-вторых, была получка. Наконец-то я при деньгах после отпуска!

И он решительно подхватил меня под руку.

Чтобы сократить путь, мы свернули с Интернациональной в какой-то заброшенный переулок. И чуть не утонули.

Стоило наступить на твердый с виду, зашершавившийся наст, как он трескался, похрустывая, и нога по щиколотку проваливалась в снежницу. Мне в резиновых ботиках

было нипочем, а вот Евгению Михайловичу каково в ботинках? Но он не унывал, упрямо продолжая идти вперед.

По-видимому, здесь всю зиму не чистили снег. Торосистые сугробы и заледенелые глыбы тянулись горными хребтами по обеим сторонам переулка.

Возле одного дома с резным петухом на коньке шустрый дед с лихими буденновскими усищами бойко орудовал большой деревянной лопатой, кромсая на куски осевший сугроб, точно мраморную глыбу. Поддевая такой же лопатой увесистые кубы, внук-подросток бросал их в плетушку на полозьях.

— С весной вас, труженики! — поздоровался Комаров, когда мы поравнялись с дедом и его внуком.— Не запарились?

— Своя ноша не тянет! — осклабился дед.— Погреб снегом набиваем... самая пора!

И осадил назад облезлый малахай.

— Передохни, Ванятка!

С размаху воткнув в сугроб лопату, Ванятка тоже сдвинул набекрень шапку. По его розовеющему, слегка заветревшему лицу струился светлый жаркий пот.

— Завидую,— вздохнул Евгений Михайлович немного погодя. И оглянулся на оставшихся позади старика с внуком.— С таким бы азартом покидал сейчас в погреб снежок. А потом спрыгнул бы в творило и утаптывать стал.

— Приходилось? — поинтересовалась я.

— А как же! Не по-барски рос... без фруктовых соков и мороженого. Все приходилось делать: и дрова колоть, и воду из колодца таскать. А летом, в деревеньке у бабушки, и траву косил, и с ребятами в ночное закатывался. Здорово было... право слово!

На крыше кособоко-убогой избенки стоял, растопырив ноги, препотешный пестробокий козленок.

— Бэ-э! Бэ-э! — канючил он жалобно на весь переулок.

Комаров прищелкнул языком:

— Занесла же тебя нелегкая!

Схватив полные пригоршни липкого водянистого снега, проворно скомкал его и, размахнувшись, запустил в козленка.

Снежок шлепнулся в ногах у пострела, окатив его синими брызгами. Взвившись на дыбы, козленок прыгнул на приткнутый к избенке сараишко, а с него — во двор.

И тут распахнулась калитка, и в нее выглянула горбоносая, вислощекая старуха.

— Шпаси тебя, владычича! — прошамкала старая, глядя на Евгения Михайловича поразительно веселыми, девичьими глазами.— Чаша два уговаривала бесенка спуштиться с выси, а он знай себе коварничает.

— Рад, бабуся, что угодил! — улыбнулся Комаров.

Когда мы наконец-то выбрались из переулка, утопающего в снежном месиве и голубых, небесных лужах, на проспект Маркса, Евгений Михайлович спросил:

— Вы хотите знать о результатах моего разговора с Карпенко? Управляющим химлесхоза?

— Да,— кивнула я.— Мне давно хотелось узнать у вас...

— Звонил ему утром. Говорит: «Под давлением свыше отдал предназначенную Салмину квартиру. Стекольников из райкома распорядился. Не очень-то хорошо, конечно, получилось.— Это все Карпенко оправдывался.— Но у меня другого выхода не было. Придется Салмину еще подождать»... Вот так-то, Зоя Витальевна.

— Значит,— начала было я и замолчала. Сама не знаю — почему.

Уже показалась вдали новая гостиница с пристроенным к ней рестораном «Журавушка». Тут Евгений Михайлович заговорил снова, морща лоб и глядя куда-то в сторону, точно он чего-то совестился:

— Сами понимаете, какая сложилась ситуация.

Помолчал.

— Повесил трубку и спрашиваю себя: «Что делать?» Пораскинул туда-сюда мозгами и решил — отправлю-ка письмо рабочих в областную газету. Там, в промышленном отделе, меня знают. Само собой, приписочку сделал. Замечу в скобках: Карпенко я ни слова, ни полслова не сказал о лежавшей у меня на столе жалобе... Не одобряете мои действия или как?

— Почему не одобряю? — сказала я.— Очень даже одобряю. Так хочется помочь этому Салмину с семьей! Кстати, меня уже пытали: не поступил ли в редакцию сигнал... или что-то в этом роде...

— Да что вы? — воскликнул с живостью Комаров.— Разумеется, интересовалась Стекольникова?

— Она.

— Понятно. Карпенко после моего звонка, не мешкая ни минуты, звякнул Владиславу Юрьевичу в райком. А тот — жене... цепная реакция!

— Похоже.

— Что же вы ответили Стекольниковой?

— Сказала: ко мне никаких жалоб на неправильное распределение квартир не поступало.

— Умница!

— Но так ведь и есть, Евгений Михайлович! Я ни на вот столечко не соврала Нюсе!

Ресторан ослепил нас огромными окнами во всю стену. Остановившись у лестницы, Комаров шутливо-церемонно поклонился:

— Прошу, мисс Зоя!

И покраснел, покраснел, как мальчишка.

В «Журавушке» чинная продымленно-золотистая тишина. Занято было не больше трех-четырех столиков.

Мы прошли в дальний угол и сели напротив пустующей эстрады. Я с любопытством огляделась по сторонам.

Сизовато-трепещущие столбы света, властно врываясь в эти чудовищные окна, отражались, дробясь на мириады сверкающих искр, в расставленных на столах приборах, бокалах, в стеклянных колпаках новомодных люстр и настенных бра, придавая продолговатой зале необычную праздничность.

— Вы разве здесь не бывали? — спросил Евгений Михайлович.

— В начале зимы забегала раз, когда проходил слет лесорубов. Надо было интервью взять.

— Напрасно! Столько денег вбухали в эти вот колонны и окна-витрины, а вы, Зоя Витальевна, того... предпочитаете довольствоваться всякого рода сомнительными харчевнями.

Мы оба засмеялись. Подошла молоденькая официантка.

— В вашу сторону, Зоя Витальевна, упорно поглядывает один молодой человек. Из-за столика у противоположной стены. Их там трое,— сказал немного погодя Евгений Михайлович.

Я пожала плечами.

— Меня в Богородске никто не знает. Возможно, это вас разглядывают?

— Нет, не меня.

А минутой позже к нашему столу не спеша подошел раскошный брюнет с холеным лицом.

— Извините,— поклонился он.— Мне показалось, что я встретил землячку с Волги.— И уставился на меня нагловато-выпуклыми глазами.— Вы не Зоя Иванова? Простите, не знаю отчества...

— Борис?.. Липкович?— совсем тихо, чуть ли не с испугом, произнесла я.

— Он самый!— Брюнет заулыбался как-то вымученно и угодливо.— Такой случай! Совершенно редкостный, сказал бы я, случай! Встретил землячку... и где? Невероятно!

— Знакомьтесь, Евгений Михайлович,— оправившись от смущения, обратилась я к Комарову.— Мы с Борисом...

Но Липкович, почему-то пунцовея, перебил меня:

— С товарищем Комаровым в каком-то роде я уже знаком. В райкоме на совещании на днях сидели рядом.

И запнулся.

— Садись, Борис,— сказала я.— Жаль, что мы уже закругляемся.

— Нет, нет... меня ждут. Я на секундочку,— скороговоркой произнес Липкович, присаживаясь тем не менее к столу.— Должен внести некоторую ясность, Зоя... э-э...

— Просто Зоя.

— Спасибо. Я, знаешь ли, осенью женился. Ну и... ну и при регистрации взял себе фамилию жены. Она настояла. «У тебя, милый,— сказала,— неблагозвучная фамилия».

Борис достал платок и вытер со лба испарину.

— А мне, признаюсь, и самому моя фамилия... всю жизнь как кость поперек горла.

Внимательно разглядывая все более и более смущающегося Бориса, Евгений Михайлович кашлянул в кулак.

— Одобряю!— кивнул он головой.— Не все же, черт побери, женам носить мужнины фамилии! Как-никак, у нас равноправие! И...

— Да, да, да,— зачастил Борис, пытаясь улыбнуться. И повернувшись ко мне:— Ваш покорный слуга Тамаров!

Я чуть не выронила из рук вилку. А Борис, делая вид, будто ничего не замечает, с наигранной растроганностью продолжал:

— Приглашаю, Зоя, заходить к нам. У меня гостеприимная жена. Ну, в общем и целом, созвонимся. Непременно надо повидаться!

Липкович-Тамаров встал.

— Извините, меня ждут.

Уже отойдя от нашего столика, оглянулся и помахал нежно так ручкой.

Первое, что я сказала, когда Борис скрылся с моих глаз:

— Ну, скажите на милость, откуда у него появились эти пышные кудри?

— А что, разве раньше их не было?— насмешливо сощурился Комаров.

— Вот именно — не было!

— Не удивляйтесь. Ваш находчивый землячок наверняка факир... факир зыбкого атомного века. Ему ничего не стоит сменить фамилию, заменить шевелюру и, может быть, переменить при необходимости свои убеждения! Честное комсомольское!— выражаюсь вашей излюбленной поговоркой... Он что-нибудь кончал, этот Тамаров, кроме десятилетки?

— Да. Строительный институт... Вот уж не думала, что Липкович...

— Тамаров,— поправил меня Евгений Михайлович.

— Да, Тамаров,— машинально кивнула я.— Совершенно... совершенно невероятная... нелепая встреча!

— Еще древний философ изрек: мир тесен...

— Простите.— Я встала и заторопилась к выходу. Мне было не до шуток.

Комаров догнал меня уже на улице. Всю дорогу я молчала. Евгений Михайлович тоже не проронил ни слова. И я была благодарна ему за это.

Вечером слушала Рихтера. Концерт пианиста транслировали из Большого зала Московской консерватории. Сонаты Бетховена, в том числе и «Патетическая», Гайдн, Дебюсси... Отрешилась от всего на свете. Забыла и робкого Пал Палыча, и хитрущую Нюсю, и Липковича-Тамарова к ним в придачу!

Только вчера переступила порог своей светелки. Весь апрель и даже Майские праздники провалялась в больнице с крупозным воспалением легких.

До сих пор гадаю: где и когда так сильно простыла? Во время ли поездки в Порубки (там я участвовала в рабкоровском рейде по проверке бытового обслуживания рабочих лесопункта)? Или по возвращении в Богородск? После партийного собрания? Ведь тогда я чуть ли не до рассвета бродила под секучим дождем по ночному городу.

Должно быть, в Порубках я схватила легкий грипп, а дома во время ночного бдения под дождем добавила себе болезни (как раз на следующий день, под вечер, у меня и подскочила температура до сорока).

Ну, коли я заговорила о партсобрании, доставившем мне столько горьких переживаний, вкратце расскажу о нем, чтобы никогда больше к этому не возвращаться.

Если бы в то безнадежно-серое, с ленцой, февральское утро, такое сейчас, мнится, далекое, дышавшее в лицо мягкой сыростью, знала я, какие неприятности обрушатся на мою головушку из-за иконы Николы-чудотворца, ну, разве приняла бы я от соседской Лизурки ее подарок? Но откуда мне было знать все это заранее!

А вот та самая икона, которую видели в то утро в редакции Комаров и Стекольникова, и фигурировала в грязной анонимке. Неизвестный, не пожелавший из трусости назвать себя, писал: «Кандидат в члены партии Иванова является верующей в бога, держит в квартире иконы, и такой, с позволения сказать, двуличной особе не место ни в партии, ни в советской печати». Да, так и настрочил: не место ни в партии, ни в советской печати!

На собрании мне пришлось рассказать все как было тогда: и про свою вынужденную ночевку у соседей, и про Николу, поразившего меня сходством с дедом Игнатием, и про добросердечную Лизурку, чуть ли не насильно принудившую меня взять икону. Рассказала и про то, как, заявившись в редакцию, я показала икону Стекольниковой и Комарову, которые были поражены тонкой работой древнего мастера.

Маргариткин и Комаров в своих выступлениях отмели вздорные обвинения анонима. К тому же Евгений Михайлович спросил Ивкина, секретаря нашей парторганизации, печатника типографии, зачем он вынес на обсуждение недостойный серьезного внимания «документ».

Но сам Ивкин, желчный, чахоточный человек, с длинным, точно кормовое весло, носом, поддерживаемый Сте-

кольниковой, заявил ни больше, ни меньше как следующее: раз Иванова приняла в подарок предмет религиозного культа, значит, она верит в бога!

И тогда, к моему глубокому изумлению, взял слово наш редактор. Негромко, то и дело покашливая, Пал Палыч решительно встал на сторону Комарова и Маргариткина. И внес предложение: рекомендовать Ивановой вернуть дарительнице ее подарок. И на том поставить точку.

Ивкин и Стекольникова, требовавшие вынесения мне строгого выговора, пошли на попятный. Я же пообещала наутро вернуть соседке ее икону.

В больнице, во время выздоровления, у меня было много времени обдумать всю эту, с виду такую никчемную, историйку с гнусной анонимкой. И я теперь почти уверена в том, что донос в парторганизацию нацарапан по наущению Стекольниковой после того, как в областной газете было опубликовано письмо рабочих химлесхоза. А оно, это письмо, столько наделало шуму в Богородске! Гораздо больше, чем жалоба свинарки Некрасовой в «Прожекторе лесоруба», хотя после нашего выступления работа Трошинского совхоза и подверглась резкой критике на бюро райкома.

Хитрец Липкович-Тамаров, занявший обещанную вздымщику Салмину квартиру, поспешно оставил ее «по собственной инициативе», переехав в снятый на время частный дом, о чем он уведомил редакцию областной газеты. Нам он прислал копию.

Ну, а при чем здесь Стекольникова, спросят меня? А она-то, наша корректорша, оказывается, находится в прямом родстве с женой Бориса. Да, да: жена Липковича-Тамарова двоюродная сестра Стекольниковой! И Борис попал в Богородск на тепленькое местечко при содействии четы Стекольниковых. Они и заподозрили, видимо, меня и Комарова чуть ли не в организации коллективного письма рабочих химлесхоза в защиту своего товарища, Салмина. Но на Евгения Михайловича у Стекольниковых пока не поднялась рука, а мне решили насолить. Так думаю я... Но хватит об этом! Достаточно потрепали мне нервы, достаточно пролила я слез.

В больнице меня не оставляли друзья. К радостному моему удивлению, друзей у меня оказалось довольно-таки много.

Не раз навещал и Евгений Михайлович. Он всегда приносил интересные книги, свежие номера журналов. Забегала и застенчивая Алла, наборщица типографии. Эта ласковая, быстроглазая коза-дереза собирается поступать в заочный полиграфический институт, и я зимой частенько занималась с ней по русскому языку и литературе. Бывала и Ольга Степановна, жена Пал Палыча, добродушная толстуха. Она пичкала меня всякими сластями, а однажды, в воскресенье, принесла курник. Этим сдобным, поджаристым пирогом, еще дышавшим печным зноем, я угостила всех своих соседок по палате.

По-матерински опекала Ксения Филипповна. Она никогда не приходила с пустыми руками, хотя я и умоляла ее не беспокоиться: кормили в больнице сносно, к тому же аппетита у меня никакого не было.

В начале апреля приезжал Валентин Георгиевич, старший сын квартирной хозяйки. Гостил он у матери недолго, но и это мимолетное его пребывание под родительским кровом взбодрило старую.

Каждый раз, заявляясь ко мне в палату в узком и коротком больничном халате, делавшем ее до смешного похожей на повариху из кафе напротив редакции, Ксения Филипповна, степенно сложив на коленях землистые руки, громким шепотом рассказывала о своем Валетке: и каким солидным и вальяжным он теперь выглядит, и какое на нем было модное заграничное пальто, а костюм из дорогой шерсти — черной, в искорку. Подробно описывала она и подарки, привезенные старшим.

— Апельсинчиков, касатка, принесла тебе,— шептала Ксения Филипповна, расплываясь в улыбке — самодовольно-горделивой.— Нет, нет, и не моги отказываться: из собственного сада Валетки фрукты — один к одному, а душистости, ароматности — прямо-таки райской! Кушай на здоровьечко! А еще компотику сварила — из куражки. Курага эта тоже первокачественная, без червоточного изъяна. Питайся, Зоя Витальевна, поправляйся! А то эвон какая стала... одна видимая прозрачность! У меня-то теперь после Антоши... Валетка да ты... акромя никого из близких нет.

Перед отъездом в Пермь приходила попрощаться соседская Лизурка. Она вся светилась весенним, солнечным счастьем. И как ей было не ликовать: помирилась с му-

жем, своим Всеволодом. Привез муж и приветы с завода. Там не забыли исполнительную, прилежную Лизурку. И завтра, забрав Афоню, не отходившего от бати даже на час, они все трое отправляются снова в Пермь.

Пожелала Лизурке большого счастья. Когда она ушла, вздохнула с облегчением. Мне все эти полчаса, проведенные Лизуркой у моей койки, было мучительно стыдно за свой поступок — возвращение ей от души преподнесенного подарка — Николы-чудотворца.

Праздничным сюрпризом оказался для меня первомайский номер нашей скромной газеты, торжественно врученный Евгением Михайловичем вместе с букетиком хрупкой ветреницы. На третьей странице «Прожектора лесоруба» был опубликован рассказ молодого вздымщика Дмитрия, подручного Салмина.

Трогательной непосредственностью подкупал этот первый литературный опыт молодого рабочего. В зарисовке повествовалось об ученике оператора волжского нефтеперегонного завода, полюбившего такую же юную, как и он, девчонку с глазами-омутами. Герою казалось, что худенькая, быстроногая Леночка, самая красивая, самая добрая на свете девушка, отвечает ему такой же горячей преданностью, такой же пылкой любовью. Но вот с Кириллом случилась беда. Когда тушил цистерну с нефтью, вспыхнувшую во время грозы, у него обгорело лицо. И милая, обаятельная Леночка вдруг отвернулась от своего Кирилла. Она даже ни разочку не навестила его в больнице... Я чуть не всплакнула, читая рассказ. Уж не о себе ли, подумала, написал автор?

Но, тсс... кто-то пришел: слышен снизу приглушенный разговор. Не ко мне ли? А вот и зычный, вопрошающий возглас Ксении Филипповны:

— Зоя Витальевна! Ты не спишь, касатка?.. Гость к тебе пожаловал!

Прежде чем ответить, надо скорее сунуть под подушку тетрадь.

Уверена: если б в мою светелку поднялся... ну, скажем, египетский фараон Рамсес II, я бы и то не была поражена до такой степени, как при появлении франтоватого Липковича-Тамарова. Честное комсомольское!

А Борис, ни мало не смущаясь, с улыбочкой, по приятельски-добродушной, бодро так проговорил:

— Высоко забралась... Здравствуй, болящая! Только вчера чисто случайно узнал... а то бы непременно-обязательно в больнице навестил. Извини уж грешного!

И, ужасно фасоня, преподнес с полупоклоном коробку шоколада, обвязанную пурпурной ленточкой.

— Не надо, хотя ты и сногсшибательно любезен... Не избалована богатыми приношениями,— это я, ошеломленная, сказала, не приглашая непрошеного гостя даже присесть. Я и вправду была так ошеломлена, что не поправила даже всклокоченных волос на голове. Ровным счетом мне было наплевать, как я выгляжу и что подумает обо мне лощеный Липкович-Тамаров.

Он же, продувная бестия, не замечая будто моей холодности, небрежно сунув коробку на стол и щурясь слегка от солнца, по-хозяйски смело врывавшегося в окно, изучающе окинул цепким, быстрым взглядом всю комнату, все ее простенки и углы.

Было еще утро — не больше девяти, а оно, майское солнце, уже честно работало: грело застудившуюся землю, ласкало деревья и робкую, беззащитную травку, вылезшую на свет божий из щелявых тротуаров, улыбалось всему живому и даже вот ему — Липковичу-Тамарову. Про себя отметила, к великой досаде, что бывший мой одноклассник имеет довольно-таки смазливую внешность.

— Милая комнатка... просто картиночка,— заключил покровительственно Борис, поворачиваясь ко мне все с той же благодушно-липкой улыбочкой на чувственных губах. И бесцеремонно прочно уселся на круглый, покрытый плюшевой накидкой табурет. Спросил участливо, положив ногу на ногу: — Ну, как теперь себя чувствуешь? Помогла медицина?

— Послезавтра на работу,— это я ответила с неохотой. Надо ж было что-то говорить. Хотя и непрошеный, а все же гость.

Поправляя галстук — весь в серебристых блестках,— точно выставляя его напоказ, и по-прежнему не замечая моего к нему нерасположения, Борис снова пустился словоблудить, стараясь придать голосу искреннюю, чуть ли не интимную задушевность:

— Я, конечно, не забыл, Зоя, твоей ко мне... как бы

точнее?.. ну, неприязни, что ли. Я имею в виду наши школьные годы. Надо полагать, у тебя были на то основания. Что поделаешь: мальчишки в переходном возрасте немало всяких шалостей совершают. А с девочками, случается, несправедливо дерзки бывают. И я сейчас о многом сожалею. Не всегда у меня складывались добрые отношения с некоторыми одноклассниками. Скажем, с Максимом Брусянцевым, и с этим... Андреем... забыл его фамилию! Вертится вот на уме, а...

— Зачем врешь? — Это я перебила Бориса. Мне даже смотреть на него было тошно.— Ты же прекрасно помнишь его фамилию! И никогда — слышишь! — никогда не забудешь.

Удивилась своему голосу: я почти кричала.

— Ты его... все еще любишь? — это он спросил сочувственно-снисходительно.— Вспомнил-таки: Снежкова?

— Какое твое дело? — Я уже по-настоящему озлобленно кричала, не в силах себя одернуть.— Какое, спрашиваю, твое дело?

— Не надо, Зоя Витальевна, расстраиваться.— Это он, Борис, опять проговорил.— Извини... я не хотел... честное благородное слово, не хотел...

И замолчал, так и не сказав, чего он не хотел. Уставился на стену над кроватью. Как раз над кроватью и висела икона Николы-чудотворца, подарок доброй Лизурки.

Еще совсем недавно, просыпаясь по утрам, я какое-то время, прежде чем вставать, смотрела на умного, лобастого старца, поразительно похожего на дедушку Игоню.

Вдруг я сказала — самой на удивленье:

— Видишь, в стене еще гвоздик торчит? Над кроватью, куда ты воззрился? Видишь теперь? Икона висела, из-за которой меня на партсобрании прорабатывали. Ты, догадываюсь, в курсе?

В упор посмотрела Борису в лицо — такое сейчас бледное, смятое какое-то. Но Липкович-Тамаров отвел торопливо глаза — выпуклые, расплывчато-пустые, с морщинками преждевременной старости под нижними веками.

— Молчишь? — снова раздраженно громко спросила я. — Надо полагать, ты затем и притопал, чтобы... чтобы разнюхать: не висит ли у меня в переднем углу иконостас? С десятком икон? Не так ли?

Гость вымученно заулыбался:

— Вот видишь, землячка!.. Ты все еще с прежним недоверием относишься ко мне. А ведь надо бы старое забыть. Когда я приметил тебя в ресторане... хочешь — верь, хочешь — нет... я натурально, искренним образом обрадовался! «Ба, подумал, кого неожиданно вижу! Зоеньку Иванову!» Честное благородное, так и подумал: «Зоеньку Иванову!» А насчет какой-то там иконы... считаю нелепым недоразумением... это ваше собрание. Так же как и ту историю, в какую я попал по вине Карпенко... со злополучной квартирой. На всю область ославили, а я-то и знать ничего не знал о том, что она другому предназначалась.

— Но ты не прогадал.— Это я колюче вставила.— Вместо двухкомнатной, слышала, перед маем трехкомнатную отхватил!

— Квартира осталась после главного инженера Вихляева.— Это Борис смиренно продолжал.— Вихляева в Сыктывкар перебросили. А назначенный на его место Пестряков собственный дом имеет. Так что я сейчас никому не перешел дорогу... Но оставим все это.— Он пожевал губами, как бы собираясь в это время с мыслями.— Пришел я к тебе, Зоя Витальевна, не затем, чтобы что-то высматривать... как ты выразилась, а с чувством дружеской заботы. Случайно узнав о твоем нездоровье... вернее, о том, что ты перенесла воспаление легких в тяжелой форме, подумал: «Моей землячке недурственно бы сейчас погреться под южным солнцем!» А к нам в рабочком как раз путевки в Крым поступили. Понимаешь? Вот и навестил тебя с благим предложением. Если твой редактор позвонит Карпенко... мы с превеликой охотой уступим редакции одну путевочку. И через каких-то там десяток деньков ты будешь блаженствовать на Черном море! Верно, недурственно получится?

Во мне все кипело. Я задыхалась. И не знала, что делать: схватить ли с тумбочки настольную лампу и запустить ею в этого преподлого кривляку? Или плюнуть ему в бесстыжие, нахальные зенки?

Выручила Ксения Филипповна. Остановившись в дверях светелки, она отдышалась и запела, по-кошачьи щуря хитрые рыжевато-зеленые глаза:

— Зоя Витальевна, а не угостить ли нам дорогого гостечка чайком? У меня и самовар на полном взводе. Ты уж, касатка, не сумлевайся... я мигом соберу на стол!

И крупное, мясистое лицо ее с махоньким, пуговкой, носиком все так и замаслилось от приветливости и благожелательства.

Липкович-Тамаров не успел еще и рта открыть, когда я сказала — вежливо и холодно:

— Спасибо, Ксения Филипповна. Гость торопится. Проводите его, пожалуйста. А я, возможно, вздремну.

Борису ничего другого не оставалось, как поспешно встать и так же поспешно удалиться.

Шикарную же коробку с шоколадом я отнесла в редакцию, когда вышла на работу. И угощала конфетами всех, кто бы ни заходил в нашу комнату. Даже Стекольникову — подчеркнуто любезно. Лишь сама к ним не притронулась.

У меня радость. Большая-пребольшая (так любила говорить я маленькой): прислал наконец-то Максим фото Андрея!

Вскрыла конверт, а из него на стол выпала глянцевито-скользкая, размером с открытку, фотография. Это уж потом я слегка удивилась, что в конверте даже писульки в пару строк не оказалось. После догадалась и о том, что присланная карточка переснята с той, семейной, о которой писал Максим. В тот же миг, когда коробящаяся слегка фотография пружинисто выскользнула из конверта и я увидела открытое, по-деревенски простовато-бесхитростное лицо Андрея, меня будто ударило током. И я припала губами к холодному глянцу снимка, содрогаясь от неистовой нежности к моему Андрею.

Мне все было дорого в этом человеке: и его глаза — доверчивые, добрые, и большие оттопыренные уши, и все еще по-мальчишески непокорно дыбившиеся на макушке волосы, и эти вот грубые, как у наших пращуров, сильные и надежные руки, которых он, глупый, видимо, стеснялся, неловко пряча между коленями...

Долго сидела я так, не поднимая от стола лица, словно бы в забытьи блаженном, а перед зажмуренными глазами проплывали — бессвязно, обрывок за обрывком — воспоминания, одно милее другого.

...Я его встретила на улице. Он возвращался из артели «Красный мебельщик», где наш класс проходил производ-

ственную практику. Андрей до сих пор не знал, кто ему подсунул в «Лунный камень» записку. Я страдала от его равнодушия ко мне и в то же время радовалась... радовалась его, Андрея, недогадливости. Меня даже сейчас бросало в дрожь, стоило завидеть Андрея. Я сгорала от стыда, сгорала от нестерпимой сердечной боли.

Вот и в этот раз... я обрадовалась, встретив его случайно на улице, и в то же время безумно испугалась. Все во мне дрожало, когда я, стараясь казаться невозмутимо спокойной, позвала Андрея в кино (мы с Римкой и в самом деле собирались пойти в кинотеатр на дневной сеанс). Смотрела на него по-собачьи преданными глазами, прося судьбу: «Заставь, заставь его послушаться меня!»

Но Андрей досадливо отмахнулся, сказав, что у него нет времени. Я же все канючила, вымученно улыбаясь:

— Ну, не хмурься, Андрейка, погляди солнышком!.. Правда, сходим, а? У нас три билета (тут я врала)... одна девочка собиралась, а потом передумала. Не пропадать же билету!

Завидев подбегавшую Римку, поспешно добавила:

— Риммочка, вот и компаньон нам! Только ломается что-то...

И тут совсем неожиданно Андрей пробурчал уступчиво:

— Ладно уж... пойдемте!

Воспрянув духом, я без промедленья вознеслась на седьмое небо!

В кинотеатре хотела посадить Андрея в середочку — между собой и Римкой. Но они друг друга терпеть не могли, и Андрей сел на первый от края стул. Рядом с ним — я, а справа от меня — надувшая губы Римка.

Демонстрировали какую-то пустопорожнюю, совсем не смешную комедию — я смотрела на экран рассеянно. Наслаждалась же не кинокартиной, а близостью Андрея. Как бы невзначай положила я руку рядом с его рукой (стулья стояли вплотную один к одному, и так же плотно друг к другу сидели и зрители). Андрей даже не заметил, что наши руки слегка касаются, я же вся млела от этой тайной близости к нему, будившей во мне первые, пока еще не совсем осознанные чувства...

После сеанса, выходя из полутемного, душного зала на мартовский забористый сквозняк, я украдкой прижала к губам свою руку, еще горячую от прикосновения его руки.

А в другой раз, тоже, по-моему, в марте, на исходе марта — этого последнего года нашего совместного учения, мы брели лениво из школы по отмягшей дороге. Мы — это Колька Мышечкин (или Мишечкин? — точно не помню сейчас), Римка, Андрюха и я. Вдруг из Гончарного переулка резво выбежал Донька Авилов с футбольным мячом.

— Полюбуйтесь: герой! — ядовито покривилась желчная Римка.— На уроках его нет, а баклуши бить мастер!

— Так уж и баклуши! — беззаботно рассмеялся Донька.— Мать не отпустила в школу. У нас Милочка заболела... врача жду.

И гаркнул мальчишкам, подбрасывая вверх мяч:

— Сыграем, робя?

Колька сразу же сунул перекосившейся Римке портфель с книгами. И похлопал азартно в ладоши:

— А ну подбрось!

Андрей огляделся по сторонам, ища сухое местечко, куда бы положить полевую сумку (я тогда не раз думала: откуда у него эта старая, залоснившаяся сумка?). Но тут я сказала:

— Давай уж... подержу.

Он отдал мне, покорной, не только разбухшую от книг и тетрадей сумку, но и пиджак с шапкой в придачу.

— Раз напросилась, так держи! — сказал он с ухмылкой. И, как бы чего-то застыдившись, тотчас отвернулся, побежал за пролетевшим мимо мячом. Мяч шлепнулся в лужу. Обжигающими искрами взметнулись к небу крупные брызги.

По высокому же небу, высокому по-весеннему, синевы необыкновенной — мартовской, проплывали озабоченно-угрюмые, прямо-таки нездешние диковинные облака, порой заслоняя могильной своей чернотой солнце. И тогда становилось вокруг ощутимо прохладно. Но уж в следующую минуту опять показывалось над землей доброе светило, и тебя обдавало блаженным зноем.

В одну из таких райских минут я вдруг наклонилась, не отдавая себе отчета, что делаю, и уткнулась лицом в перевернутую вверх тульей старую шапчонку Андрея. И миг-другой жадно вдыхала запах его волос.

Никогда не забуду и тот пестрый, празднично-солнечный денек, когда на Черном мысу я ломала пламенеющие,

будто раскаленные в горне железные прутья, гибкие ветки вербовника с замохнатившимися барашками.

От исконно первобытных запахов — оттаявшей земли, забрызганных зеленью бугров, клейких веток — у меня чуть-чуть кружилась голова. А возможно, она кружилась еще от другого? Через два часа я условилась с Максимом Брусянцевым встретиться на плацу, чтобы вместе пойти в больницу к Андрею.

Две недели назад произошла эта трагедия на Волге, когда утонул в майне Глеб Петрович Терехов, а нашего Андрюху вытащили из воды чуть ли не полумертвым. Целых две недели я просила небо: «Помоги ему выздороветь! Помоги ему встать на ноги!» И вот сегодня мы с Максимом будем в больнице, и я увижу Андрея. Говорят, ему разрешили уже вставать с постели.

Я волновалась. Волновалась безумно. И все ломала и ломала с восторгом податливый вербовник. Одна тонкая веточка хороша, а другая еще пригожее. Не заметила даже, какой ворох очутился у меня в руках!

Села на пригретый солнышком бугорок в игольчатой изумрудной травке и стала разбирать свой веник. А когда составила букет, прижалась лицом к пушистым барашкам — прохладно-свежим, с горьковатым миндальным ароматом.

Больница стояла на холме у дубков — за городом. Не помню, о чем мы говорили с невеселым Максимом, шлепая по раствороженной в жарких ручейках дороге, зигзагами поднимавшейся в гору. Кажется, о многом и ни о чем значительном. Отвечала на его вопросы, сама про что-то спрашивала, а думала, думала лишь об одном — о предстоящей встрече с ним, Андреем, таким глухим, равнодушным к моим тревожным, унизительно-заискивающим взглядам, маленьким хитростям, когда я, словно бы случайно, встречалась с ним нос к носу.

Тешила себя надеждой: после болезни, возможно, прозреет он, откроются наконец у него глаза? И он... страшно даже думать... И от этого вот страха, видимо, и ополоумела я, когда подошли мы к старым больничным воротам, сложенным из прокаленного кирпича — багрово-сургучного цвета.

Внезапно сунув в руки Максима вербу, я понеслась по

склону вниз, легко и быстро, точно летела в пропасть, совсем не слушая его оторопело-удивленного оклика:

— Зойка! Да куда ты?.. Постой, антилопа быстроногая!

...Много еще всяких — бередящих сердце — картин проплывало перед моим взором, может, для кого-то пустых, вздорных, пока я сидела склонившись над присланной фотографией. Но для меня все эти воспоминания, даже крупицы какие-то, связанные с Андреем, были самыми сокровенными, самыми бесценными!

Два дня провела на лесосплаве.

В эту зиму выпали обильные снега, а весна пришла дружная, веселая, и малая петлявая речушка, по которой сплавлялся лес, сейчас взыграла, выплеснулась из берегов.

Материалу собрала на две статейки. Одну из них вчерне набросала вечером, засидевшись в нарядной до часу ночи. Писала при свете керосиновой лампы. Назойливые комары мельтешили перед глазами, больно жалили руки, лицо, шею, но работалось споро, и я не очень-то обращала на них внимание.

Здесь же, в нарядной, и заночевала на голом топчане. Разбудили меня на рассвете неистово голосистые соловьи. Вряд ли еще когда удастся услышать такое до жути ликующее пение! Честное комсомольское!

Часам к одиннадцати утра я прикончила все свои дела и в ожидании попутного грузовичка в Богородск присела на лавку под старой корявой ветлой у крутояра.

Внизу, под глинистым обрывом, бежала, лихо играя на стрежне солнечными бликами, полноводная речка. Во всю свою зыбучую ширину была она усеяна бревнами и ноздреватыми шапками пены. Местные жители зовут эту пену «цветом».

Левый отложистый берег затопила снулая, пузырившаяся вода — где на километр, а где и на два. Она подкралась вплотную даже к деревеньке на гриве, под сенью могучих берез. Затоплена была чуть ли не по самую крышу банешка в низинке, на спуске к реке, а махонькая, как бы кружевная деревянная церквушка в стороне — за выгоном — оказалась совершенно отрезанной от суши.

К острову-пятачку с древней той церковкой прибило сот пять бревен. Если в ближайший день бревна не оттащат на фарватер, а паводок спадет, они обмелеют.

А сколько еще останется в ериках, среди лугов заготовленного зимой строительного леса? Дно реки заиливается, бревна разлагаются, отравляют воды. Вот об этих и других бедах и промашках на сплаве я и писала вчера до полуночи в нарядной.

У тенистой ветлы остановился невзрачного вида плосколицый старик. Пегая — с рыжиной — востренькая бороденка его, казалось, век была нечесана.

— Это ты, дочка, в Богородск оказию поджидаешь?— спросил старик, приподнимая над непорочно розовой лысиной войлочную шляпу.

— Да,— кивнула я.

— Ну, так и мы обождем.

И, бросив на лавку брезентовый плащ, уселся рядом со мной. Багажа у него никакого не было.

«Не очень вежливо, наверно, сидеть молча»,— подумала я.

— Вы к кому-то в гости?— спросила.— Или живете в Богородске?

Старик тотчас встрепенулся, словно он только и ждал моего вопроса.

— Сынище у меня в городу,— бойко заговорил он.— Девица сманила, с которой до службы погуливал. Она, разлучница, язви ее в печенку, в Богородск в ателью швейную пристроилась. Такая краля: себе на уме с горошком! Ну и мой Емеля сразу же взбрыкнул, как из армии возвернулся: «Не останусь дома! К Надежде подамся!» Бабка в слезы — у нас еще бабка жива, матушка моя. Сто осьмой с Алексея божьего человека пошел. Ну, это самое, бабка в слезы, старуха моя скулит, Глашка, замужняя дочь, коровой ревет. Сплошное водополье! А он, мохнорылый, железная душа, на своем стоит: «Уеду, и все тут! Не могу без Надежки дня прожить!» Ровно Надежка эта болтами к сердцу прикрутила губошлепа. И перед Октябрьской мотонул в Богородск.

Поглаживая ладонями острые свои колени, старик ухмыльнулся в редкие усы. И чуть ли не с восторгом хвастливо сказал:

— Отчаянный! Весь в батю! Три грамоты получил в части и опять же значок за отличие. В нутре любой машины... случая не было, чтобы заблудился. К нему еду. Навестить.

Придвинувшись ко мне ближе и обдавая запахом мяты и крепкой махорки, зачастил в нетерпении, весело щурясь:

— Загодя до возвращения Емели из войска купил я билетик вещественной лотереи. Я и допрежь тратился — когда штучки три, а когда и пяток покупал. Да все впустую! Так что старуха моя роптать принялась: «Хватит, мол, денежки сорить! Из ума, похоже, ветрогон, выжил!» Ну и я охладел. А тут меня вроде как осенило: «Тридцать копеек не деньги. А вдруг на сыновнее счастье и того... выпадет стоящий выигрыш?» Купил билет — и ни гугу. Припрятал подальше. И уж забыл про него даже, про билетик-то. А вот вчерась несется Аленка, почтарша, несется на велосипеде и булгачит: «Люди добрые, таблица! Проверяйте, кто выиграл!» Пошел под вечер в Совет, будто по делу, чтобы в эту самую таблицу заглянуть.

Снова погладил старый колени. И, озираясь по сторонам, прошептал мне на ухо:

— Счастье-то, дочка... и сам не кумекаешь, когда оно бухнется тебе в руки! Ей-ей, не хвастаю: «Москвич» выпал на билетик-то! Повезло этому паршивцу Емельке! Ох-хо-хо-хо!

Я не успела ничего сказать — подошел бригадир, мужчина необыкновенной высоты, вечно хмурый, малоречивый.

— Я тебе, старая калоша!— погрозил он деду, даже не улыбнувшись.— Она, бабка-то, бороденку тебе останную выдерет! Будешь знать тогда, как к молодкам прицеливаться!

Старик заливисто рассмеялся, мотая туда-сюда головой.

— Это вестимо... было время, брат, и драла! Перья летели!

Обращаясь ко мне, бригадир процедил сквозь зубы:

— Могу порадовать: вечером, не раньше, пойдет в Богородск машина.

— Ой, что вы?— вырвалось у меня.

Мрачный этот человек лишь пожал острыми плечами, намереваясь идти по своим делам.

Вдруг меня осенила одна мысль.

— Постойте,— сказала я.— Вы не знаете, где тут находятся вздымщики? Мне бы хотелось повидать Салмина.

Бригадир уставился на меня глубоко провалившимися глазами так, будто впервые увидел.

— Иллариона Касьяныча?.. Как не знать, знаю! Во-он в том массиве его монашеская обитель.

Приставив к губам рупором сложенные руки, он зычно прокричал:

— Э-эй, Маклай! Вернись-ка сюда! Сюда, Маклай!

Я встала и посмотрела на просеку, начинавшуюся чуть в стороне от временного этого табора — десятка вагончиков на колесах. Из-за березки вывернулся человек. Остановился, поглядел в нашу сторону.

— Сюда стартуй!— снова прокричал требовательно бригадир.— Да живее, нече прохлаждаться!

Немного погодя к ветле приблизился вразвалочку тонкий, легкий малый, странно похожий на индейца: горбоносый, узкоглазый. Черные, с отливом, прямые волосы челкой падали на лоб цвета спелого ореха.

— Здрасте! — нехотя обронил он и бесцеремонно так оглядел меня с головы до ног.

— Ты, Маклай, на вырубку?— Бригадир достал из кисета щепоть крупной махорки.— Али еще...

— Знаешь, а спрашиваешь!— гонористо перебил бригадира парень и отставил правую ногу в резиновом сапожке с подвернутым голенищем. На плечах у него была наброшена небрежно нейлоновая куртка пурпурно-алого цвета.— Кроме вырубки куда тут сунешься?

Скрутив не спеша цигарку и так же не спеша послюнявив конец газетного обрывка, бригадир прикурил от зажигалки. Казалось, он забыл и про меня, и про этого экзотического парня, прислушиваясь лишь к доносившемуся из-под берега протяжному бабьему голосу:

— Ми-итри-ий! Брига-адир.... пес тебя за хвост!

Уже повернувшись к нам спиной, уже на ходу, ходячая эта жердь вдруг бросила жестко через плечо:

— В целости и сохранности доставь к Салмину... данную корреспондентшу!

— Да я,— начал было парень, но бригадир прицыкнул:

— Тебе по пути! И больше не вякай, мухомор!

И зашагал озабоченно крупно к пристани. А подойдя к изволоку, обернулся, махнул мне широко рукой:

— Часам к шести... К шести вертайтесь! А то на машину опоздаете!

— Фигура! — сплюнул парень, зверовато сверкая белками.— Наполеон местного значения!

Я сказала, примирительно улыбаясь:

— Если вам так уж трудно... покажите дорогу, я сама найду.

Ершистый этот парень презрительно фыркнул:

— Да я скорее доведу, чем буду разъяснения давать! Пошли, ежели готовы.

Старик приподнял над головой шляпу:

— До шести, дочка! Не задерживайся. Вместе-то веселее будет трястись.

— Веселее! — кивнула я деду. Взяв легкую свою сумку, припустилась догонять провожатого.

— Вы, товарищ Маклай,— начала я, поравнявшись с парнем, шагавшим легко и споро,— вы на валке леса работаете?

— Маклай? Ха-ха-ха-ха! — расхохотался он, запрокинув назад гривастую свою голову.— Товарищ Маклай?

И снова заржал по-дикарски.

Я недоуменно проговорила, чувствуя, как горячая кровь прихлынула к щекам:

— Чего же тут смешного?

— Маклай — не фамилия моя, а кличка,— разъяснил парень, вытирая кулаком глаза.— В честь Миклухи-Маклая! Великого путешественника! Не верите? Точно! А зовут меня Ювалом — тут все Ванькой. А фамилия — ежели доподлинно все хотите знать — Шепкалов. Ненец я.

— А... а откуда этот... Маклай взялся? — не удержавшись, снова спросила я.

— Ввиду моих странствий. С пятнадцати лет... куда только круговращенье космоса меня не забрасывало. По всей стране блудил.

— Вы хотели сказать: блуждали?

— Нет — блудил! — упрямо, как бы с вызовом, повторил парень.— Вкалывал в Братске, на целине работал, бороздил Белое море. Даже на Дальний Восток шайтан както занес. И где видел несправедливость, жадность... мой дух на дыбы вставал. Там всегда разные истории проделывал! В Тбилиси, к примеру, отправляюсь вечером на рынок и всему частному сектору в бочках с вином коловоротом дыры наверчу. К утру — будьте спокойненьки! — пустыми окажутся бочки! В Гурьеве... в Гурьеве с бра-

коньерами-хапугами боролся: лодки ко дну пускал! Раз еле ноги унес.— Ювал беспечно усмехнулся.— Про все мои похождения скоро не расскажешь!.. Вот они, здешние бродяги, и приклеили мне эту прозвищу — Маклай. Правда, после того, как я им книжку читал про Миклуху-Маклая.

Помолчав, спросил:

— А вы из какой газеты?

— Из районной.

— Салмина будете расписывать?

— Не собираюсь.

— И не надо. У них в бригаде свой сочинитель объявился.

— Вы его знаете?

— Димку-то? Еще бы! — Нагибая голову, Ювал поднырнул под сосновую лапу, нависшую над тропой. Несколько минут назад мы свернули с разбитой, ухабистой дороги на юркую тропу, змеившуюся по окрайке соснового бора.— Осторожнее, фасад личности можете попортить! — предупредил он.— И под ноги смотрите. Тут корни и кочки... на каждом шаге.

— Расскажите мне что-нибудь про вашего Дмитрия,— попросила я.

— А чего про него сказывать? Человек... и есть человек!

Вдруг Ювал замер на месте, предостерегающе подняв руку. Я тоже остановилась. И задрала голову к нависшей над нами первозданно зеленой путанице.

Тишина. Девственная тишина. Лишь где-то далеко-далеко куковала кукушка.

— Посмотрите на вершину вон той сосны,— одними губами сказал Ювал.— Видите маленько?

— Нет,— тоже шепотом ответила я.— Одни ветки.

Ювал сказал:

— А там, на вершине, белка. Хвост колечком и умывается. Чистюля!

— У вас и зрение! — подивилась я.

— Ночью тоже как днем все вижу,— похвастался он.— У меня никталопия.

— Что, что?

— Особое свойство глаз... видеть в темноте.

Обернувшись ко мне, Ювал спросил:

— А кто такие были расстеадорес?
— И понятия не имею.
— А гекатомба? Сезострис? Обсидиан?
— Что с вами? — засмеялась я смущенно.— Откуда вы...

Но парень не стал меня слушать. Снисходительно поморщившись, он снова зашагал по тропе, сбегавшей в низину к небольшому озерку.

В прозрачно чистой — лесной — воде озера отражалось высокое зачарованное небо и вершины невозмутимо спокойных сосен, как бы осененных неведомой нам неземной мудростью.

Мы уже миновали это одичалое озерко, в загадочную глубь которого хотелось смотреть, смотреть и смотреть, ни о чем не думая, когда Ювал брюзжаще протянул:

— Вы разные институты кончали. В газете людей уму-разуму учите. А у нашего Дмитрия восемь классов за плечами. Но спросите-ка его, чего он не знает? Эти разные Сезострисы и Спинозы... от его зубов как семечная шелуха отлетают! Не вру!

Я молчала. Умолк и странный этот парень. Но ненадолго. Чуть погодя он запел фальшиво:

Называют меня некрасивою,
Так зачем же он ходит за мной...

Вся вздрогнув, я вскричала взволнованно:
— Ювал! Миклуха-Маклай! Откуда вы знаете эту песенку?

Сорвав длинную тонкую травинку, парень пожевал ее и уж потом ответил сумрачно:
— Димка... его любимая.

Прошли еще с километр. Ювал остановился и сказал:
— Вам вправо, мне влево.
— По этой тропе? — спросила я.
— Да. Тут совсем-совсем близко.

Парень собрался было идти дальше, но уж по своей стежке, еле приметной в высокой траве, но я схватила его за рукав.

— Минутку. Скажите, а здесь... на лесоучастке... вы еще не блудили?

Ювал выпятил нижнюю губу.

— Много будете знать, скоро... на луну попадете... товарищ корреспондентша!

И, резко повернувшись ко мне спиной, так, что с правого его плеча соскользнула куртка, ходко зашагал прочь.

...Вздымщики ютились в небольшом зимовье — срубовой избе с низкими сенцами.

Илларион Касьянович Салмин сидел в тени сеней на широкой устойчивой скамье и острым ножичком вырезал замысловатый узор на ясеневой палке.

— Здравствуйте,— сказала я, приближаясь к зимовью.

Салмин глянул на меня вопросительно чуть сощуренными глазами. Одет он был по-домашнему: просторная сатиновая косоворотка без пояса, синие диагоналевые галифе. На босых ногах разношенные чувяки.

Замедляя шаг, спросила:

— Не узнаете?

— Кажись, признаю,— не совсем уверенно промолвил Салмин. Отряхнув с колен завитки стружек, встал. Вдруг скуластое, медно-бурое его лицо посветлело.— Здравствуйте, здравствуйте! Присаживайтесь, барышня из редакции. А то с дороги поустали. Очень даже удачно вы... в самый как раз наш выходной пожаловали, а то и не застали бы ни души. Дворец-то наш цельными днями пустует.

Я присела на скамью, поставив к ногам сумку.

— Чем прикажете вас потчевать? Чайком с сушеной земляничкой али грибной похлебкой?

— Ни тем, ни другим. Я недавно завтракала. Вы вот садитесь, Илларион Касьяныч. И расскажите, как ваша семья... довольна ли квартирой?

— И не говорите! — Салмин взмахнул большой прочерневшей рукой, снова присаживаясь на скамью.— Жинка балакает: «Мы, Касьянушко, только теперь свет увидели! Не жизнь, а настоящий ро̀ман!» Я уж писал товарищу Комарову — благодарил за подмогу.

Взглянув на растворенную дверь в сени, завешенную марлевым пологом, полюбопытствовала:

— Вы один?

— Молодцы мои в поселок закатились. Еще с вечера. А Дмитрий... этот по рани на тракт улепетнул. Гостью провожать отправился. Татьяной ее зовут. Такая, скажу вам, скромница. И работящая. Все полы нам перемыла,

всю посуду. Приезжала навестить нашего отшельника. Школьные товарищи Димы — они в армии сейчас — просили Танюшу прокатиться. Издалека деваха-то. Чуть ли не из-под самой Москвы. Вместе они учились. Забыл, как деревня прозывается, откуда Дмитрий.

— Как из деревни? — переспросила я и прихлопнула на руке раздувшегося от крови комара.— А мне кто-то говорил: из Москвы ваш Дмитрий, сын народного артиста...

— Пустое! Это он понарошке... любопытствующим всякую напраслину возводит на себя.

Не удержавшись, я разочарованно протянула:

— А я ведь только из-за него шла. Хотела познакомиться.

Салмин задумчиво посмотрел на стрекочущую надоедливо сороку, восседавшую на трухлявом пеньке через полянку. Вздохнул. Потом закурил.

— Душа у него — песня. Но человек он для общения трудный. Не сразу ладит с людьми. Может из-за пустячка раскипятиться. Или, случается, насупится, сбычится, и слова не добьешься. Прямо Печорин! Он и Татьянку спервоначала чуть взашей не прогнал. Ка-ак взовьется: «Ты зачем? Тебя кто звал?» Не будь меня в этот час дома, она, голубка, может, и сбежала бы. Это уж он потом отмяк.

Снова вздохнув, Илларион Касьянович вдруг встал, развел руками:

— Не гневайтесь шибко. Побегу самоварчик налажу. Редкостных гостей и встречать надо по-ладному!

Чай мы пили в прохладной, продуваемой сквознячком избе с нарами до потолка. В переднем углу бросалась в глаза одна постель: байковое одеяльце заправлено без единой морщинки, подушка взбита, в изголовье — репродукция с картины Джованни Беллини «Мадонна с младенцем». Над постелью же висела затейливая самодельная полочка, тесно заставленная книгами.

Я уставилась вопросительно на Салмина, пившего с блюда душистый, обжигающий губы чай, и он кивнул утвердительно:

— Его угол!.. А вы медком, медком сотовым побалуйтесь. Он у нас свой, не купленный. Пять ульев в бригаде. Угощайтесь на здоровье!

Уже после чая подошла я к подвесной полочке. И бы-

ла поражена разнообразным названием книг. Вот запись из моего дорожного блокнота: «Анатомия», «Минералогия», «Вторая древнейшая профессия» Роберта Сильвестра, однотомники Пушкина и Лескова, «Календарь природы», «Высшая математика», «Архитектурные памятники русского Севера»... Пожалуй, хватит и этих перечислений.

Повернувшись к Салмину, все еще попивавшему чаек, я спросила, не теряя еще надежды:

— А фотографии Дмитрия... нет у вас под рукой?

Илларион Касьянович покачал головой.

— Ни одной не видел. Прежние он не держит, а в теперешнем своем виде... не снимается.

Вдруг спохватившись, Салмин добавил:

— Эта Татьянка... она по секрету показала мне карточку Димы, когда он в восьмой ходил. Приятственный такой парнишечка. Завлекательной внешности для девушек!

Крякнув, Илларион Касьянович взял со спинки самодельного стула полотенце и старательно вытер лицо, шею.

В четыре часа хозяин зимовья проводил меня до тишайшего лесного озерка. А уж от него рукой было подать до табора лесосплавщиков.

Говорливый дед в войлочной шляпе все еще терпеливо, будто петух на нашесте, восседавший на лавочке под ветлой, встретил меня, как родную.

В шесть мы выехали в Богородск на пятитонке, направлявшейся за продуктами.

И везет же мне в последнее время!

Вскоре после возвращения из командировки на лесосплав я получила отпуск. И решила, недолго думая, провести его в путешествии по Каме и Волге. Последние дни мая стояли холодные и дождливые, и на пристани в Перми я свободно купила билет на теплоход, идущий до Астрахани и обратно. У меня одноместная каюта первого класса. Можно ли пожелать себе чего-либо лучшего?

Чуть ли не целыми днями бродила по палубе, любуясь Камой, ее лесистыми берегами, горными кряжами. Камские горы напоминали мне родные Жигули.

Изредка моросило. Откуда-то сверху разъяренным коршуном падал на палубу сырой, прямо-таки октябрь-

ский ветер. Но я не боялась непогоды. Кама была по-своему красива и в эти сумрачные дни.

Лишь в сильный дождь, когда даже на палубе негде было укрыться от студеного косохлеста, я шла в каюту и, устроившись у окна, читала.

Тихо. Тепло. Оторвешься на миг-другой от книги, посмотришь на пегую, вскосмаченную Каму, на еле проступающие за дымкой дождя смутно-синие, точно суровое видение, нелюдимые взгорья, бесконечно чуждые всему живому, и так отрадно станет на душе, что даже... даже всплакнуть захочется. Честное комсомольское!

После Тетюш стало больше солнечных дней.

Вчера записала в свой дорожный блокнот:

«В полнеба полыхает тревожно закат. Барашки, бегущие навстречу пароходу, в косых лучах солнца кажутся золотыми слитками».

В тот же вечер, но позднее, еще нацарапала:

«Черная Волга, и белые ленты пенных волн».

А нынче прочла эти свои каракули и перечеркнула их крест-накрест. Наверно, мне надо бы не в редакции работать, а в школе преподавать русский и литературу. Хотя, откровенно говоря, не испытываю и к школе ни малейшего влечения. Неужели так всю жизнь и не найду себя?

Не хотелось брать в руки ни Голсуорси, ни любоваться пейзажами...

На одной убогой пристаньке горланили до самозабвения подвыпившие лохматые недоросли:

Ах, семечки каленые,
Огурцы соленые! Ах...

По палубе который уж день томно вышагивают две насурмленные девицы, разочарованно и зло косясь на огрузневших пенсионеров, резавшихся в карты.

Как-то, проходя мимо меня, одна из этих расфуфыренных особ жеманно заметила:

— Я, знаете ли, обычно нравлюсь мужчинам с тонким художественным вкусом!

Оглянулась и чуть не прыснула. Девица, так высоко о себе мнившая, была выдра выдрой.

В Старый Посад мы приходили ночью, и я не стала беспокоить маму телеграммой, чтобы она приехала на

пристань повидаться. Постараюсь встретиться с ней на обратном пути. Возможно, к тому времени я чуть-чуть загорю, чуть-чуть посвежею от целительного волжского воздуха, и мама не будет смотреть на свое неудачливое чадо чересчур грустными глазами. Ограничилась лишь тем, что опустила в пристанской почтовый ящик открыточку.

А потом чуть ли не до рассвета стояла на палубе и не спускала глаз с проплывавших мимо Жигулей. Они были по-своему пленительны даже ночью.

Под утро были в Самарске. Здесь теплоход стоял несколько часов, но я так и не поднялась с постели, не глянула даже в окно на город, в котором проучилась целых шесть лет.

Помню Горький с его древним кремлем и памятником Чкалову над головокружительным обрывом. В Казани была всего раз, студенткой, но до сих пор не без сердечного трепета вспоминаю университет — старейший в России, с такими строгими, внушительными колоннами. А трогательно экзотическая башня Саюмбеки на кремлевском холме, разве ее забудешь? Башню замечаешь еще с Волги, когда пароход, плавно разворачиваясь, направляется к дебаркадеру. Нравится мне и зеленый Саратов, и полуазиатская Астрахань, когда-то славившаяся обилием всякой рыбы. Лишь вот к Самарску, ничем не хуже других волжских городов, я совершенно равнодушна. Почему? И сама не знаю.

Поднялась рано. Стояла на самом носу теплохода и, щурясь, глядела на огненно-рубиновый диск солнца, выкатившийся из-за черных холмов. Пылало небо. Пылала спокойная гладь реки с ползущим над водой малиновым туманцем.

Древней Русью повеяло на меня от этой величаво-суровой картины. Мнилось: выплывет сейчас лениво из-за сыпучих нехоженых песков купеческая расшива, а наперерез ей от горного берега устремятся легкие струги удалых молодцов.

Минутой-другой позже из-за белесой косы и на самом деле показалась... только не медлительная купеческая расшива, а быстроходная самоходка — большое сухогрузное судно, птицей летящее нам навстречу.

На нижней палубе теплохода какая-то старушка в белом платке, низко опущенном на лоб, умиленно пропела:

— И матушки мои, скороходка-то какая прыткая!

Узкоглазая девчушка-марийка с толстой косой вдоль спины, приткнувшаяся локоть в локоть к сухонькой этой старушке, весело сказала:

— Не скороходка, баба, а самоходка! Кольча наш... точь-в-точь на такой мотористом служит!

В Саратове случилось непредвиденное.

Расскажу обо всем по порядку. Теперь, спустя дня три, я немного успокоилась. И могу снова взяться за перо.

Итак, перед нами Саратов. Многие пассажиры собирались в город: одни знакомиться с достопримечательностями, другие что-то купить, третьи просто погулять бесцельно по центральным улицам. Для всего времени будет достаточно — по расписанию стоянка теплохода в Саратове пять часов!

Я тоже решила отправиться в город. Вначале хотела побывать в художественном музее, а потом навестить бывшую однокурсницу Нину Левину, работающую здесь в одной из средних школ.

Но перед самым подходом к дебаркадеру по судовому радио вдруг было объявлено, что из-за опоздания в пути стоянка сокращается до двух часов.

«Что же теперь делать? — спрашивала я себя, глядя на медленно приближающийся город, утопающий в молодой яркой зелени.— Есть ли смысл куда-то идти? Не лучше ли посидеть на палубе эти два часа с книгой?»

У дебаркадера стоял трехпалубный красавец «Космонавт Гагарин». К нему-то мы и причалили. Счастливчики с «Гагарина» гуляли, должно быть, по солнечному Саратову: палубы теплохода были безлюдны. Лишь резвушка лет четырех в белом платьице бегала вприскочку по второй палубе, оказавшейся как раз на уровне с нашей. Девочка держала за нитку воздушный шар, стремившийся во что бы то ни стало вырваться из ее рук.

С беспокойством подумала: «Где же родители? Так не долго и до беды... сорвется за борт — она вон какая шустрая!» И почему-то тотчас подумала о другом: «А ведь мне надо бы сойти на берег и починить босоножки».

И, встав с шезлонга, направилась к борту, чтобы спросить курносого матросика, протиравшего тряпицей перила, есть ли поблизости от пристани мастерская по ремонту обуви.

В этот-то миг пробегавшая по палубе «Гагарина» девочка в белом платьице упустила свой оранжевый, с переливами шар. Стремительно и косо шар полетел в сторону нашего теплохода.

Резвушка даже не успела ахнуть или закричать: «Мой шарик, мой шарик!», как он уже был у меня в руках. Это произошло совершенно случайно: я еще не дошла до сетчатого барьера, когда шарик налетел упруго на меня, и я схватила его за нитку.

Придя в себя, девочка заревела — голосисто, с прихлипываниями.

— Сейчас, крошка, принесу я тебе шарик,— сказала я.— Ну, не плачь, я сию минуту... Только стой на том же месте.

И поспешно пошла вниз. Когда я поднялась на палубу «Гагарина», пропахшего соленой рыбой (все пролеты внизу были заставлены огромными бочками), зареванная девочка, увидев меня, побежала навстречу, размахивая пухлыми ручонками.

— Держи крепче свой шарик,— говорила я, приседая на корточки перед светловолосой резвушкой.— И не упускай его больше.

Хлопая длинными мокрыми ресницами, она взяла не без радости ниточку, потянула к себе беспечно подпрыгивающий шар. И все смотрела и смотрела мне в глаза — серьезно-пресерьезно, словно взрослая.

— Рита, что же ты не благодаришь тетю? — сказал кто-то позади меня.

Почему-то вздрогнув, я проворно встала и оглянулась. Напротив меня стоял, улыбаясь смущенно, высокий молодой мужчина с фотоаппаратом в руках.

Видимо, я побледнела или пошатнулась — откуда мне знать? — только он, быстро шагнув, взял меня под локоть. И участливо спросил:

— Вам плохо?.. Присядьте вот на лавку.

Я села, прислонилась спиной к стене. Закрыла глаза. Подумала: «Боже, какая встреча! Только, наверно, в ро-

манах... по произволу авторов... могут происходить такие ошеломляющие встречи».

Пересиливая себя, сказала, все еще не размыкая ресниц:

— Благодарю вас. У меня голова... закружилась.

И еще подумала, прежде чем посмотреть на окружающий мир: «Он меня не узнал. Неужели я так безобразно подурнела?» А сердце стучало, стучало и стучало, мнилось, на всю Волгу.

Андрей, по-прежнему растерянно смущенный, стоял рядом, держа за руку присмиревшую дочь.

— Спасибо,— снова повторила я, пытаясь улыбнуться.— Уж все как будто прошло.

— Не проводить ли вас к врачу? — все так же участливо спросил он.

Я покачала головой. Огляделась боязливо по сторонам. Палуба по-прежнему была безлюдна, свинцово блестя недавно вымытыми полами.

«А где же его жена? — спросила я себя.— Или он только с дочкой?»

И вдруг — сама не знаю, откуда у меня взялась эта отчаянная храбрость,— сказала:

— Извините, возможно, я обозналась. Но мне показалось, будто где-то и когда-то... мы с вами встречались?

Дико как-то, чуть ли не с испугом глянул Андрей мне в лицо, отвел взгляд и снова уставился мне в глаза.

Я заметила: у него задрожали слегка вывернутые губы, все такие же яркие, как и в те — мальчишеские — годы. Наконец он с трудом прошептал:

— Зоя?.. Ты?

И уж громко и радостно (или мне почудилось?):

— Зойка Иванова! Ну и ну, встреча! А я тебя... сразу и не узнал.

Присел передо мной, взял мои ледяные, как бы совсем неживые, руки в свои большие, большие и горячие... Казалось, Андрей весь пропах волжским зноем и скошенной травой.

Наш теплоход простоял у борта «Гагарина», идущего вверх до Москвы, не два, а три часа. И все три часа эти промелькнули для меня, как три секунды.

Мы сидели с Андреем на лавочке и говорили, и говорили. Вспомнили и Старый Посад, и школьные годы, и наших ребят и девчат. Андрей сказал, что месяц назад Максим Брусянцев телеграммой приглашал его в родной город на свадьбу. Женился Максим на Маше Гороховой — была у нас в классе такая неприметная тихоня. Я же в свою очередь рассказала о Липковиче-Тамарове, неожиданно объявившемся у нас в Богородске. Вот уж хохотал Андрей! У него даже нос покраснел. Нос у Андрюхи и раньше, бывало, краснел, когда он или смущался, или ржал до упаду.

Уснула Рита, положив доверчиво свою курчавую головку мне на колени. И вот тут-то Андрей, ссутулившись и помрачнев, вдруг открыл мне свою душу, поведав о горе, свалившемся на него нежданно-негаданно.

— Заявляюсь с работы домой, а на столе записка,— говорил он тяжело и глухо, теребя между пальцами скрипучий ремешок от фотоаппарата.— Я эту ее записку наизусть выучил: «Уезжаю с другим. Не ищи. Я тебя никогда не любила, не люблю и дочь. Не люблю потому, что она от тебя. Можешь отдать ее в детдом и быть свободным. Мне она не нужна. Алевтина».

Андрей умолк. Я тоже молчала, не зная, что говорить. Да и надо ли было что-то говорить?

— Взял отпуск. К матери под Ульяновск еду,— помолчав, сказал Андрей все тем же глухим, не своим голосом.— Она... она не хотела, чтобы мама жила с нами. И мама все эти годы у сестры в совхозе... Везу Ритку туда. Мне ведь... мужское ли это дело хозяйство одному вести, о дочери беспокоиться? За ней глаз да глаз нужен! А мама рада будет, она любит внучку. До осени пусть живет там, а потом...

И он снова замолчал.

По моим щекам текли слезы. И думала я лишь о том, чтобы Андрей не заметил глупые эти слезы старой девы. Но он заметил. Вдруг покосившись в мою сторону, Андрей растерянно пробормотал:

— Ты... что это? А?

И, достав из кармана платок, принялся неумело как-то вытирать мне глаза.

Я сказала через силу:

— Оставь, не надо. Я сама...

Когда над нашим теплоходом раздался басовито второй уже гудок, я отнесла Риту в каюту Андрея. Мне было приятно прижимать к себе это живое существо, такое сейчас беспомощное, такое послушное. Положив спящую девочку на диван, я поцеловала ее с волнением в полуоткрытые губы. Мне казалось, я целую Андрея.

Он проводил меня до сходней, переброшенных с одного борта теплохода на другой. Бежали, перегоняя друг друга, опаздывающие пассажиры. А курносый матросик торопил:

— Пра-аворнее! Пра-аворнее! Мостки убираем!

— Будь здоров, Андрей! — торопясь на свое судно, сказала я скороговоркой и шагнула к мосткам.

Но он поймал меня за руку и в этой шумной толчее, на глазах у посторонних людей, привлек к себе.

— Дай я тебя поцелую, старушка,— сказал он. И поцеловал меня в губы. Поцеловал крепко-крепко.

Астрахань встретила нас азиатской жарищей. Даже плавился жирный, как черная икра, асфальт на тротуарах.

Посасывая брикетик мороженого, я поплелась на почтамт по душным улицам без признаков тени. Я надеялась получить письма.

На глухой стене одного старого обшарпанного дома, неподалеку от почтамта, висел огромный щит-объявление. Я даже остановилась, чтобы его прочитать:

«Астраханский рыбокомбинат выпускает разнообразную продукцию из рыб осетровых пород: икру зернистую, икру паюсную, икру пастеризованную, расфасованную в удобную мелкую тару, балыки осетровые, балыки белужьи, балыки севрюжьи.

Вкусно! Питательно! Покупайте!»

На почтамте, в окошечке «До востребования», меня и на самом деле ждали письма. Целых три.

Одно из писем было от брата Сережи, служившего на флоте, другое от мамы, а третье из Богородска от Комарова.

В письме Евгения Михайловича столько было новостей! Наш старик Пал Палыч собирается уходить на пенсию. Совершенно неожиданно уволилась Стекольникова.

Она уехала в Казань к больной матери. С матерью случился удар, когда арестовали отца, замешанного в крупных махинациях с мехами. По предположению Евгения Михайловича последние дни сидит в райкоме и Владислав Юрьевич — муж Стекольниковой.

Из Ярославля от керамиста Гохи получена посылка с новыми образцами плиток. «Не плитки — одно загляденье! — восторгался Женя.— Вам отложил парочку — самых колоритных».

В конце письма Комаров сообщал о том, что наш молодой литератор Дмитрий прислал в редакцию новый рассказ.

«Этот рассказ, полагаю, не отказались бы опубликовать даже столичные журналы,— писал Евгений Михайлович.— К вашему возвращению мы напечатаем новое произведение Димы. Уверен — у этого парня большое литературное будущее. «Честное комсомольское» — как вы говорите».

В Богородск я возвратилась в конце июня поездом, всего лишь за день до окончания отпуска. И сама себе удивилась: мне казалось, я возвращаюсь в близкие сердцу места, ставшие мне как бы второй родиной. Мне не терпелось подняться в свою тихую светелку, отправиться в редакцию, где так приятно пахнет типографской краской и сигаретами «Дымок», которые беспрерывно курит Маргариткин, увидеть улыбчивого Евгения Михайловича.

В моем столь позднем возвращении в Богородск виновата была мама. Это по ее настойчивой просьбе сошла я с теплохода в Старом Посаде. А свою каюту уступила молодой женщине с мальчиком, знакомой родителей, отправляющейся как раз в Пермь. (Все мама подстроила!)

Дома прожила неделю. Родители были на редкость заботливы и внимательны ко мне. И я не жалела, что мне пришлось добираться до Богородска поездом, да еще с пересадкой.

Ксения Филипповна долго меня обнимала, долго целовала. И даже всплакнула. А потом дала телеграмму.

— Ра-ано поутру принесли сегодня,— сказала хозяйка квартиры.— Читай скорее, касатка. Дай бог, чтобы без неприятностей была. Я ужасть как боюсь этих телеграмм!

Телеграмма была от Андрея. Вот она:

«Выезжаю Ритой Андрей».

Сначала я ничего не поняла. Перечитала телеграмму раз, потом еще раз... и лишь тогда до меня дошло: Андрей, мой Андрей едет в Богородск! Едет ко мне!

И, точно испугавшись чего-то, снова поднесла к увлажнившимся глазам этот будничный серый листок бумаги:

«Выезжаю Ритой Андрей».

Ксения Филипповна тормошила меня за плечо, о чем-то спрашивая, а я не могла вымолвить и слова.

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛЮЧЕЕ ОБЪЯТИЕ. *Рассказы*

ОЗОРНАЯ ЗВЕЗДОЧКА. *Рассказы*

Баныкин Виктор Иванович

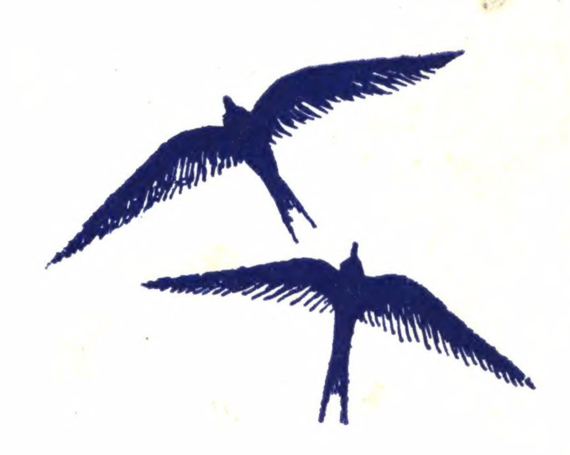
ШАГАЮЩИЕ ДЕРЕВЬЯ

М., «Советский писатель», 1971, 256 стр. План выпуска 1971 г., № 8. Редактор Н. Н. Нефедов. Худож. редактор В. И. Морозов. Техн. редактор А. И. Мордовина. Корректоры: С. Б. Блауштейн и Л. Г. Соловьева. Сдано в набор 23/X 1970 г. Подписано к печати 17/III 1971 г. А 05728. Бумага 84×108[1]/[32] № 2. Печ. л. 8 (13,44). Уч.-изд. л. 12,75. Тираж 30 000 экз. Заказ № 638. Цена 52 коп. Издательство «Советский писатель», Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10. Тульская типография Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109.

7-3-2
8—71

Р 2
Б 23

52 коп.




ВИКТОР БАНЫКИН